Левон Акртян

Башмачник Ростом, Уильям Сароян и другие

Левон Мкртчян

Башмачник Ростом, Уильям Сароян и другие

рассказы, новеллы, эссе

МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985

Художник Валерий ЛОКШИН

Мкртчян Л. М.

М71 Башмачник Ростом, Уильям Сароян и другие: Рассказы, новеллы, эссе. — М.: Советский писатель, 1985, — 320 с.

В книгу известного армянского писателя и литературоведа, лауреата Государственной премии республики Левона Мкртчяна «Башмачник Ростом, Уильям Сароян и другие» вошли рассказы, воспоминания, новеллы и эссе, которые точно и лаконично передают главное в человеке, касается ли это замечательных мастеров кисти — Сарьяна, Галенца, Минаса, писателей — К. Чуковского. Н. Тихонова, У. Сарояна — или простых людей — фаэтонщиков, сапожников, лудильщиков, встречавшихся на жизненном пути писателя.

$$\text{М}\ \frac{4702080200-192}{083(02)-85}\ 261-85$$

ББК 84.Ар7

© Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Я написал эту книгу…

(Вместо вступления)

В притче о двух верблюдах говорится, как один верблюд дал другому пучок пыльной, выжженной травы:

— На, ешь.

— Что ты мне даёшь? Такой травы полно вокруг, — обиделся верблюд.

— Но это же я тебе даю, — гордо вскинул голову верблюд.

Книга может быть удачной или менее удачной. Главное — иметь право сказать: «Но это же я её написал».

Писалась книга по частям и в разное время. По своему жанру это скорее всего автобиографическая проза (рассказы о детстве и отрочестве, воспоминания, записные книжки, путевые заметки).

1
Аттестат зрелости

ысль юмориста о том, что жизнь — это вопрос времени, полна глубокого смысла.

Мне было восемь лет, когда началась война. В нашем маленьком южном городе стали строить бомбоубежища. В соседнем дворе строители откопали пышно зазеленевшее деревце вишни и выбросили его — война. Мы с братом подобрали дерево. Я уселся на ветви, а брат тянул за собой ствол, катал меня по двору. Бабушка отругала нас и поставила деревце в бочку с водой. Бочка стояла рядом с ящиками, в которых был песок. Вода и песок предназначались для тушения пожаров, на случай если бы немцы стали бомбить город, в котором мы жили.

Утром раненое дерево было посажено в нашем небольшом дворике рядом с олеандрами Таисии Николаевны, нашей соседки, женщины бесконечно доброй и богобоязненной. Перед самой войной она куда-то уехала, оставив нам много книг на русском языке и несколько икон. Иконы бабушка берегла, по воскресеньям ставила свечи, а книги, очень ценные, как я теперь понимаю, затерялись в войну.

Вишня, чуть было не ставшая первой в нашем городе жертвой войны, принялась, выросла, давала плоды, очень кислые, с большими косточками и тонкой мякотью.

В те годы я не знал, не ведал, что живу во времена столь значительные, что моя жизнь полна интереснейших событий. И всё-таки из того, что осталось в памяти, кое-что я записал, кое о чём рассказал.

Как я хотел стать человеком

1

От нашего маленького южного города до фронта было далеко, очень далеко, но война пришла в наш город в первый же день. Я с мальчишками, моими сверстниками, стоял на улице под навесом (шёл проливной дождь) и смотрел, как с грохотом куда-то неслись танки. Мы были в восторге от наших танков и были уверены, что сегодня, сейчас, танки настигнут и изничтожат врага.

Вечером пришёл отец.

— Я знаю, что такое война, — сказал он. — Война — это могилы для молодых. В пятнадцатом году я был старше других — меня ранило, а кто был моложе — убило.

Отец был пьян. Он плакал и пел свою любимую песню:

Не дуйте, ветры,
Лучину моей жизни
Не гасите.
Мою жизнь, подобную розе,
Не губите…

Отец был кучером на линейке. Я любил кататься с отцом. Стоило появиться навстречу другой линейке, фаэтону или редкому в те годы автомобилю, он привставал с козел, подтягивал вожжи и, помахивая кнутом в воздухе, кричал:

— Езда право! Езда право!

Это означало, что надо держаться правой стороны дороги. И если встречный кучер или шофёр не понимали этого, отец энергичнее прежнего махал кнутом и останавливал линейку.

2

У нас была белая красивая лошадь. Мягкими губами она чуть притрагивалась к моей ладони и брала дешёвую конфетку, которую я ей украдкой приносил. В первые дни войны вышло постановление — лошадей надо было сдать: они нужны были фронту. Отец всё утро чистил лошадь, отвёл к кузнецу, чтобы тот подковал её.

— Война, могут не так подковать, — волновался отец.

Принимали лошадей в большом дворе ветеринарной больницы. Ветврач Шахбазов, старый интеллигент и старый холостяк, наш дальний родственник, похвалил отца:

— Уста[1] Мукуч, хорошая у тебя лошадь.

Уста Мукуч смахнул слезу, взял меня за руку и, прихрамывая, ушёл со двора.

Вечером пришёл Шахбазов и сказал, что утром лошадей поведут на товарную станцию.

— А я вот приёмник сдал, — вздохнул Шахбазов и рассказал, что у него за приёмником живёт паук. — Пауки музыкальны, — уверял Шахбазов. — На хорошую, мелодичную музыку паук сразу реагирует, выходит послушать.

Запомнилась ещё одна странность Шахбазова. В голодные военные вечера он приходил к нам посидеть и, устроившись у коптилки, тщетно пробовал читать нам байроновского «Дон Жуана» на русском языке.

— Не женился, теперь мучается, книги читает, — жалели у нас дома Шахбазова.

Утром мы с отцом пошли к ветеринарной больнице. Ждали, когда выведут лошадей. Наша белая лошадь узнала нас. Она нервно вскидывала голову и широко открытыми ноздрями шумно захватывала воздух.

— Понимает, что расстаёмся, — говорил отец, поглаживая длинную, упругую шею лошади.

3

В день, когда мы расстались с нашим белым конём, кончилось моё детство…

В первый же год войны нашу школу отвели под жильё беженцам, а нас, учеников, перевели в другую школу, к другой учительнице. Первой моей учительницей была Зинаида Кирилловна Плотникова — красивая молодая женщина. Она любила детей, и дети её любили. Мы учились хорошо, радостно.

— За сына можете не беспокоиться, —с гордостью повторяла мама слова Зинаиды Кирилловны.

В третий класс я перешёл с похвальной грамотой. Но в другой школе и у другой учительницы я стал плохо учиться. Новая учительница, женщина несправедливая и злая, меня невзлюбила особенно. Я не запомнил, как её звали, но при слове «ненастье» (она объясняла это слово и кричала на нас, непонятливых детей) вижу её бледное морщинистое лицо, обильно посыпанное пудрой.

В новой школе, у новой учительницы, я промучился целых два года и был исключён как безнадёжный двоечник. Мама сняла со стены похвальную грамоту, которую я получил во втором классе (грамота была вставлена в простенькую стеклянную раму и окантована синей бумажной ленточкой), и пошла в школу. Вернувшись, мама сказала:

— Директор говорит, это уже прошло. Это, говорит, прошло.

---

[1] Уста — мастер.

Я был счастлив, что избавился от необходимости ходить в школу — туда, где меня никто не любил и где я никого не любил.

4

У меня был друг Юзик. Он тоже не ходил в школу. Он рос без родных. Оказавшись вне школы, я ещё больше сдружился с ним. Какое-то время мы торговали папиросами. Делал их Юзик. Из тонкой бумаги (бумага так и называлась — папиросная) он скатывал гильзы, а из толстой грубой бумаги клеил мундштуки. Гильзы можно было набивать табаком с помощью специального устройства — металлической трубочки. Но трубочка часто рвала гильзы. Поэтому Юзик скатывал табак в новую хрустящую рублёвку и ловко выстреливал из неё в гильзу.

Торговали мы вечерами. На углу под часами (место было многолюдное, шумное — рядом вокзал) мы с Юзиком выкрикивали рекламу:

Табак — Самсун,
Папирос — Трапезун!
Штука — рубль,
Три штуки — два рубля!

Оптовикам (тот, кто покупал папиросы сразу на два рубля считался оптовиком!) мы делали скидку — торговали по всем законам большого бизнеса. Здесь же на углу продавали солёные огурцы, варёную кукурузу…

Солёный огурец,
Хороший продавец!..

Горячий кукуруз —
Анан — тавух,
Бабан — хоруз[1], —

кричали такие же, как мы, подростки.

Чистим-блистим, полируем!
По карманам не воруем, —

зазывал клиентов худой Мнац, чистильщик сапог.

5

Оттого что я торговал папиросами, у меня появились деньги, и я стал играть на деньги. По мелочи, но начало было положено — я научился играть в за́ры (игральные кости). Много лет спустя я узнал, что игра в кости делала людей несчастными уже во времена отдалённые.

Жена меня оставила, мать меня ненавидит,
Но мне безразлично всё это.
От игрока не больше пользы,
Чем от дорогой, но вконец одряхлевшей лошади…
Не играй в кости; возделывай своё поле, —

сказано в Ведах.

[1] Мать — курица, отец — петух (*тур.*).

И чтобы я не сбился с пути окончательно, родные определили меня учеником в лудильную мастерскую Арсена, нашего родственника.

Представляя меня Арсену, отец сокрушался, говорил, что меня выгнали из школы, что я совсем отбился от рук, вожусь с мальчишками сомнительной репутации. Арсен слушал и улыбался. Ему нравилось, что я такой непутёвый.

— Хорошо, — сказал он отцу, — если парень расторопный, возьму его.

6

Арсен, круглолицый, краснощёкий мужчина с покалеченной на фронте рукой, имел обыкновение доверчиво улыбаться собеседнику. У него были большие выразительные глаза. Улыбаясь, он смотрел так, словно вот-вот скажет что-то очень важное. Но он молчал. А глаза говорили. Так смотрят умные собаки…

Арсен снимал мастерскую рядом с базаром, на шумной улице жестянщиков и лудильщиков. Длинное, с высоченным потолком помещение выходило в узкий маленький дворик, набитый пустыми винтовочными гильзами. Несколько старых медных казанов валялось в мастерской за горном. Каждое утро я брал один из этих казанов, становился на стул и насаживал на гвоздь, прибитый высоко над дверьми. Двери открывались па улицу и заменяли нам витрину. Люди смотрели на дверь со старым, обгоревшим по краям казаном и приносили нам свою медную утварь для починки и лужения.

На меня была возложена странная обязанность. Ученики, как правило, зазывают клиентов, а я их гнал. Крестьяне раз в год приезжали на день-другой в город и спешили управиться со всеми делами. А я им говорил, что работы у нас много, поэтому посуда будет готова не раньше как через два-три месяца. Назойливых клиентов я отсылал в соседние лудильные мастерские — там сделают быстрее.

Был случай, однако, когда крестьянин согласился ждать три месяца. Он решил, что наша мастерская загружена работой потому, что это образцовая мастерская.

— Если здесь лудят так хорошо, почему бы и не подождать?

Узнав, в чём дело, молчаливый Арсен раскричался:

— Ты что, не видишь, что ребёнок (Арсен показывал на меня) ничего не понимает? Такую посуду мы вообще не берём: категория не та. Понимаешь, не та…

Когда Арсен нервничал, он не договаривал слова, его трудно было понять. Но крестьянин сразу же смекнул, что попал не в ту мастерскую и не к тем людям.

7

Однажды моя бабушка вручила мне для лужения свою медную кружку. И хотя я ей сказал, что у нас много работы, что мы лудим посуду «другой категории», бабушка настояла на своём. Арсен, к моему удивлению, отнёсся к просьбе бабушки спокойно. Он отдал кружку в лудильную мастерскую братьев Триондофилиди.

— Если что ещё надо полудить, принеси. Триондофилиди — хорошие мастера, — сказал Арсен. Сам он не лудил и лудить не умел. Мы разжигали горн, когда надо было приготовить яичницу или поджарить колбасу. — Лудильщик! Разве это ремесло — весь день отмывать чужую грязную посуду. Я тебя научу жить, — говорил Арсен.

Мастерскую он держал для блезиру. Зарабатывал тем, что торговал листовой медью и листовым железом — закупал большими партиями и сбывал их перекупщикам, которые в свою очередь по 10 — 20 листов продавали мастеровым. Вечерами Арсен играл в зары.

— Играй, не бойся! Свежая рука выигрывает, — уверял он.

Когда шла игра на крупные суммы, Арсен мне говорил:

— Сядь рядом, будешь моим глазом!

Быть глазом — значило болеть за играющего, страстно хотеть (и чем больше, чем сильнее ты этого хочешь, тем больше шансов на успех), чтобы брошенные кости легли выигрышно — двумя шестёрками, пятёрками или тройками вверх…

Арсен много пил. Выиграет — пьёт. Проиграет — тем более. У него всегда было много денег. Он их тратил хищно, безумно.

— Из-за этого дерьма человек идёт на всё, — говорил Арсен и сам же шёл на всё — играл, спекулировал.

8

В те годы и в той среде, где я рос (улица, двор и т. д.), «именитых блатных» воспринимали чуть ли не как героев. «Блатная жизнь» представлялась нам, мальчишкам, чем-то возвышенным и желанным. Мы старались подражать именитым, усваивали их жаргон и говорили не «часы», а «бока», не «туфли», а «корочки»… Мы усвоили специфически значение слова «человек»: только признанный блатной мог назвать себя человеком. Чтобы выбиться в люди и иметь право так себя называть, надо было заручиться поддержкой двух-трёх настоящих «человеков».

— Кого ты знаешь из людей? — спрашивали новичка, рискнувшего назвать себя человеком. И если новичок ссылался на имена не очень популярные, следовал ответ: — Они сами фрайера!

Это означало, что в новичке не признали человека, что он — фрайер. Фрайера изгоняли из общества людей, а то и били (в зависимости от того, признавали его вредным или безвредным).

Ох, как я мечтал стать человеком, мечтал о том дне, когда меня спросят: «Кого ты знаешь из людей?», и я смогу назвать известных людей города — Бичико, Хозика, Азата, Мотю…

9

Хозик приходился нам родственником, поэтому я думал о нём с надеждой и особенной нежностью. Я обожал его. Иногда он заходил в мастерскую Арсена посидеть, поговорить. Носил он кожанку, мягкие модные сапоги, плотно обтягивающие икры высоких ног. Он улыбался — и на щеках образовывались ямочки. Он был обаятелен. Глядя на него, можно было принять его за человека в обычном, простом и высоком смысле этого слова. Но он был другим…

Помню, как мой отец советовал родителям Хозика женить его:

— Женится — начнёт работать. Пусть зарабатывает свой хлеб честно, своим трудом.

Хозика женили, а он, как и раньше, не приходил ночами домой, считал себя «человеком» и не работал…

Я так и не удостоился дружбы знаменитых блатных, не стал «человеком». Прошли годы, и мне открылась истина: быть человеком — значит зарабатывать свой хлеб честно, своим трудом.

В этих бесхитростных словах — мудрость веков. В них — вся человеческая мудрость.

В сапожной мастерской

Первые послевоенные годы. Небольшой город на берегу Чёрного моря. Я с отцом в сапожной мастерской Серго Барсегяна. Он, как и мы, родом из Ахалциха. Поэтому отец привёл меня к нему.

— Ремесленник, — говорит отец, — если будет первую половину дня голодным, то к вечеру на хлеб заработает. Ремесло — золотой браслет.

Так отец устраивал меня учеником в мастерскую Барсегяна. В те годы были в моде дамские туфли с толстыми невысокими каблуками и открытым рантом, к которому подошва пришивалась белыми бисеринками стёжки. Заграничная дамская обувь на шпилечках вызывала тогда недоумение. Исстрадавшиеся и обносившиеся за войну женщины, редкие обладательницы посылок, в которых оказывались остроносые дамские туфли с длиннющими тоненькими каблуками, плакали от огорчения, но отказывались носить нелепую обувь.

Сапожники, к которым они обращались за помощью, разглядывали из любопытства странные дамские туфли и объясняли, что нельзя ничего сделать.

* * *

Мастерская Барсегяна, принимавшая заказы по блату на модную дамскую и мужскую обувь, считалась лучшей в городе.

Серго Барсегян заведовал мастерской. Хромовые царские сапоги с прямоугольными приплюснутыми носками, тщательно отутюженные галифе и гимнастёрка, широкий ремень, к которому изящно прилегала кобура с дамским пистолетом (у Барсегяна было официальное разрешение на пистолет), — всего этого было достаточно, чтобы Серго не сидел, а восседал в своей комнате заведующего и чтобы все мы благоговели перед ним.

Сам Серго ничего не шил. Он принимал заказы, а в комнате за перегородкой сидели мастера (около десяти человек) и работали. Серго получал деньги, рассчитывался с мастерами и еженедельно вручал пакет Каландарову, одному из руководителей артели сапожников.

* * *

О Каландарове говорили как об умнейшем человеке. Он был очень популярен среди сапожников. А то, что Каландаров брал взятки, об этом даже никто и не думал, потому что никто не считал, что он — взяточник. Считалось, что платить Каландарову надо, что это само собой разумеющаяся обязанность сапожников.

Каландаров приходил за деньгами по субботам. Высокого роста, пьяный (трезвым его никто и никогда не видел), он всегда напевал что-то невнятное и однообразное. Напевая, он вскидывал руки, прижимал их к груди, словно бы кого обнимал, затем опускал и глубоко задумывался…

Я всё хотел узнать, о чём же он поёт. И однажды мне удалось разобрать слова:

Большегрудая, большезадая,
Дай обнять тебя, дай тебя обнять…

Когда он произносил последние слова «…дай тебя обнять», то театрально вскидывал руки. В это самое время Барсегян протягивал ему пакет с деньгами. Каландаров прерывал пение, окидывал Барсегяна мутным взглядом и, сказав «эвалла» (так он прощался), уходил.

* * *

Серго Барсегян запирался после работы со своими друзьями в мастерской и пил. Дружил он преимущественно с офицерами в отставке. В самый разгар сомнительного веселья

он доставал свой пистолет и стрелял в потолок. Стрелял, чтобы высвободиться от бремени нахлынувших чувств, чтобы не томиться молча. Пальба Барсегяна означала также, что он приветствует своих гостей, что он им рад.

Пил Барсегян много и основательно. Я то и дело бегал за вином в подвал к Васо-бидза, к дяде Васо — опрятному маленькому старичку с белыми пышными усами.

Жил Барсегян недалеко от мастерской. Но ни в обед, ни после работы домой не ходил — либо оставался допоздна в мастерской, либо отправлялся в ресторан «Поплавок». Домой — принести обед или солёных огурчиков — Барсегян посылал меня.

Дома его ждала жена Србуи. Детей у них не было. И когда бы я ни пришёл, Србуи — стареющая, высокого роста женщина с изрытым оспой лицом — сидела в большой прибранной комнате и вязала. В комнате тихо, потому что в доме нет радости. Тишина холодная, глухая к шуму жизни.

В молодости некрасивая Србуи, говорили, была очень богата. Она влюбилась в Серго Барсегяна, а он женился на ней из-за денег и был несчастлив. Србуи стирала для него, варила обеды и ждала его. Всегда ждала и всегда любила. Даже такой, не любящий, Серго был ей нужен. Она очень страдала, что у них нет детей. А Серго прожигал жизнь — пил и стрелял для удовольствия в потолок.

— Умру, пистолет положите со мной в гроб, — просил Серго своих друзей и вспоминал историю похорон своего деда Барсега Микаэлова.

* * *

Дед был полковником русской армии. Когда его хоронили и стали заколачивать гроб, он вдруг пробудился от глубокого сна и выстрелил в крышку гроба. Рассказывая об этом достоверном событии из жизни своего деда, в этом самом месте, когда покойник стрелял, Серго пристально всматривался в собеседника. И если ему казалось, что собеседник не верит, он начинал кричать, он мог избить скептика. А если убеждался, что ему верят, обнимал собеседника, всхлипывал от умиления и продолжал рассказывать о том, что было после выстрела полковника Микаэлова. Поднялся страшный переполох. И вместо поминок был большой праздник. Микаэлов женился. Он сказал непреклонной Назлу, которая пришла оплакивать его смерть, что, как только подумал о жизни без неё, без Назлу, понял, что не может умереть. Назлу расплакалась и позволила Микаэлову поцеловать себя в губы. «А губы у Назлу — как лепестки роз, а груди — как два красных яблока…» — пели на свадьбе. Полковник прожил с Назлу двадцать безмятежных лет и умер, счастливый, в чине генерала.

Овдовев, генеральша прожила ещё двадцать лет.

— Ослепнуть бы мне, — причитала она. — Разве сейчас денщики? Червяки какие-то, а не денщики. Денщики были при генерале Микаэлове. Грудь — горой, усы — чёрная ночь. Вот это были денщики…

Стоило Барсегяну вспомнить о генеральском чине деда Барсега, как он начинал жаловаться на свою судьбу.

— В роду моей жены все были торгашами. Не было ни одного офицера. Во всём роду ни одного майора! — всхлипывал Серго, и все сочувствовали ему, внуку генерала.

* * *

Как ученик Барсегяна, я только и делал, что бегал за вином. Сапожному ремеслу обучал меня мастер Гарегин, человек с жёлтым, больным лицом и добрым, разбитым сердцем.

— От его горя померкнет и солнце, — говорили о Гарегине.

А случилось с ним нечто неслыханное. Жил он со своей женой и ребёнком — мальчиком семи лет — и был счастлив, пока не вздумал купить дом. Домовладелец оказался аферистом и продал Гарегину дом, уже проданный. Первый из покупателей доказал свои права

— у него были документы. А Гарегин остался ни с чем, так как деньги за дом были отданы под честное слово. Пока Гарегин ходил по судам и чего-то добивался, бывший домовладелец соблазнил его жену. Он её увёз в Ростов и жил там с нею на деньги Гарегина. А когда деньги кончились, он её бросил.

В мастерской сочувствовали Гарегину и удивлялись, почему он, фронтовик, храбрый человек, ещё не убил негодяя, разорившего его очаг, почему, наконец, он не убил жену, опозорившую его имя…

Несчастья, однако, не озлобили Гарегина.

— Боль — для человека, — говорил Гарегин и всегда старался чем-то помочь тем из своих ближних, кому было плохо.

У Гарегина был друг, нищий старик Мацак, в прошлом известный фаэтонщик и кутила.

Когда однажды Мацак тяжело заболел, он продал всё, что у него было, продал даже матрас и одеяло, и спал на сене, которое осталось у него от проданных лошадей.

— Если я ещё раз заболею, я не выживу. И всё моё добро пропадёт. Поэтому я всё это продаю, — оправдывался Мацак. Но проходили годы, а Мацак жил себе да жил. И тогда он стал говорить, что, если бы не продал всё, что имел, давно бы заболел и умер. — Надо спать на сене, — научал Мацак. — Внутри сена есть солнце. Если человек спит на сене, наполняется солнцем.

Гарегин любил Мацака и говорил, что это настоящий человек, которому от жизни ничего, кроме жизни, не нужно.

* * *

В первые месяцы своего ученичества я выпрямлял кривые гвозди. Барсегян говорил, что только так я научусь правильно держать молоток. Через полгода я уже умел чинить каблуки. Но, к моему огорчению, мастерская не занималась ремонтом, и для меня не было работы. На улице я видел много-много разных ног в туфлях со сбитыми каблуками. «Почему, — недоумевал я, — эти люди не обратятся к сапожнику, хотя бы ко мне, я бы им бесплатно подбил каблуки, а то ведь обувь портится?»

Мне очень хотелось работать, и Гарегину это нравилось. Когда я научился прилично шить ранты и пришивать к ним подошву, Гарегин доверил мне сшить детские ботинки 32-го размера. Это была первая самостоятельно сшитая мною пара обуви. Я очень старался. Очень.

Заказ был срочный — надо было поспеть к пароходу, который утром следующего дня отправлялся в Одессу.

Ботинки получились прекрасные. Я хотел снять колодки Подносы, верхние срезанные части колодок, вышли легко, но сами колодки не поддавались. Не смог их снять и мастер Гарегин. Не смогли Погос, Шалико, Янико и Петрос. Взялся за ботинки Серго Барсегян — и тоже безрезультатно. На нашей улице было много сапожных мастерских. Пробовали вытащить колодки все знаменитые сапожники из всех мастерских. От излишнего рвения я так прибил подошву к колодкам, что не было никакой возможности отодрать колодки от подошвы.

И каждый, кто пробовал снять колодки и кому это не удавалось, ругал меня.

— Что вы пристали к мальчику? — вступился за меня Ростом, сапожник, известный тем, что снимал мерки, брал задаток, но туфли не шил. И если наивные заказчики интересовались туфлями, Ростом обижался: — Что я, пиначи[1] какой, что ли, чтобы сразу вам туфли сшил? Для работы мне нужен первосортный материал, а сейчас нет хорошей кожи. Есть кожа свиная, которую я в руки не беру.

---

[1] Пиначи — низкопробный сапожник.

Это был человек среднего роста, худой, очень подвижный. На маленьком лице — удивлённые круглые глаза и круглый большой нос. Он так близко подходил к собеседнику, что касался его носом. А если видел у кого простые, не золотые часы, то неизменно спрашивал:

— Часы у вас золотые?

— Нет, простые.

— А у меня вот золотые, — с удовольствием говорил Ростом и доставал из потайного кармана брюк золотые с двумя крышечками старинные часы.

Ростом долго возился с ботинками и, убедившись, что снять колодки из сшитых мною ботинок невозможно, сказал:

— Колодки я сниму, когда придёт заказчица.

Толстая и важная, в очках и с портфелем, она пришла в назначенный час за ботинками. Ростом подошёл к ней близко-близко, слегка коснулся носом крутых её грудей.

— Ботинки готовы, — небрежно заметил Ростом. — Если они вам нравятся, я сейчас сниму колодки, и забирайте их.

Пока женщина смотрела ботинки, Ростом задал ей вопрос о её часах, увы, не золотых, с достоинством показал ей свои золотые часы и, ещё раз коснувшись носом её грудей, взял ботинки и ловко вытащил поднос — часть колодки — из одного ботинка и закинул его в дальний угол мастерской. Затем вытащил поднос из другого ботинка и как будто хотел взяться за сами колодки.

«Как же, — думал я с замиранием сердца, — он их теперь вытащит?»

Но Ростом, просунув пальцы вовнутрь ботинка, насколько это позволяло освободившееся от подноса место, заметил:

— Ботинки ещё не высохли. Без колодок они могут испортиться. Приходите за ними завтра.

— Но мы через час отправляемся.

Ростом задумался.

— Платите за колодки. Всего двадцать рублей! А в дороге ботинки высохнут. В Одессе любой сапожник снимет колодки.

И пока Ростом говорил, он то и дело всовывал поднос в ботинок и вытаскивал его. Он как бы демонстрировал, как легко снять колодки.

Когда женщина ушла и унесла ботинки в тяжёлых колодках, Ростом сказал:

— Интересно, сумеют ли в Одессе снять колодки? В Одессе, говорят, всё могут.

Дядя Яша

В мастерской, где я работал, шили туфли и шапки. Туфли шил мастер Микаэл, человек раздражительный, неразговорчивый. Да и говорить ему было трудно — вечно во рту были зажаты гвозди, которые он истово забивал в колодку. Шапки с широкими-широкими полями шил весёлый и общительный дядя Яша.

В нашем восточном городе покупатели страсть как любили торговаться. Если, скажем, дядя Яша запрашивал за шапку сто рублей, покупатель долго и скептически осматривал шапку, вертел её в руках, ещё и ещё раз примеривал и наконец выдавливал из себя:

— Сорок рублей дам.

Убедившись, что за сорок шапку не дадут, покупатель накидывал по пятёрке — 45, 50, 55! И чтобы дать знать, что пятьдесят пять — это предел его возможностей, покупатель уходил в надежде, что его вот-вот позовут. И если его не звали, доходил до ближайшего угла, сворачивал за угол и, постояв минуту-другую, сам возвращался, отсчитывал шестьдесят рублей, как бы говоря: «Чего же тебе ещё? Запросил сто, даю шестьдесят. Это же больше половины того, что ты запросил!»

Если и за шестьдесят шапку не уступали, покупатель доставал из другого, потайного кармана (их называли пистончиками) мятую трёшку и говорил:

— Вот, на дорогу оставил — бери, как-нибудь доеду…

Долго, очень долго в конце сороковых годов торговали товар. Покупатели и продавцы устраивали чуть ли не целые представления.

— Времени много уходит, — жаловался дядя Яша.

Вскоре он изобрёл простой и прибыльный способ торговли. Теперь он уже никогда не запрашивал круглые цены — сто или, скажем, восемьдесят рублей, а назначал цены словно бы государственные, твёрдые: 79 руб. 60 коп., 63 руб. 15 коп… И покупатели не только не торговались, но ещё и оставляли мастеру рубли с копейками.

Жил дядя Яша — не жаловался. Но когда сын уехал учиться, он решил комнату сына сдать одинокой молодой женщине.

— Сын у меня там снимает комнату. Так я здесь сдал его комнату ровно за столько, сколько он платит там. На еду и одежду посылаю отдельно…

Квартирантка дяди Яши была действительно молодой, но, как оказалось, совсем не одинокой. Скорее наоборот — друзей было слишком много, и она жила шумно и весело.

— У меня девочка растёт, надо что-то придумать, — сокрушался дядя Яша. Однажды он пришёл на работу позже обычного, но в хорошем расположении духа. Он пел:

Ужасно шумно в доме Шнеерсона…

— Договорился с судьёй. Говорят: неси бумаги и три тысячи, мы вашу красавицу выселим, — сообщил дядя Яша и снова запел:

Там женят сына Соломона…

Прошло несколько дней, и снова дядя Яша пришёл на работу позже обычного, но на этот раз был подавлен.

— Знаешь, я взял из суда дело…

Утром, когда в доме был один дядя Яша (жена пошла на рынок, а дочка в школу), квартирантка постучалась, вошла в комнату (она была в дорогом халате), встала посередине, широко распахнула халат и, голенькая, повернулась в одну, в другую стороны — это чтобы всю себя показать.

— Старый хрыч, — сказала она, — у тебя есть деньги, а у меня вот что есть. Посмотрим, кто выиграет дело.

— Знаешь, — вздохнул дядя Яша, — то, что я видел… Ох, то, что я видел… Я сразу понял, что пропадут мои три тысячи. Пошёл утром в суд и взял обратно дело.

…В конце концов дядя Яша отдал пять тысяч красавице квартирантке, и она съехала с квартиры.

— Сама назначила цену, — сказал дядя Яша. — Могла бы потребовать и больше, я, слава богу, её видел!

О Генрихе Гейне, Александре Дейче и о себе

Самые нелепые выражения могут вдруг обрести смысл. Однажды человек, плохо, но бойко говоривший по-русски, сказал мне:

— Мы с вами анонимно знакомы.

Он хотел сказать: знакомы заочно. Я теперь вспомнил эту смешную фразу, потому что моё знакомство с Александром Дейчем было именно анонимным. Я его читал ещё в 1948 году, но не знал — не ведал, что читаю Дейча. Я был великовозрастным начинающим читателем, и всякий печатный текст, будь он трижды подписан, существовал для меня анонимно.

За год до моего «анонимного» знакомства с Дейчем, в 1947 году, мой самый близкий друг, мой кореш Юзик «взялся за ум» и поступил в вечернюю школу в четвёртый класс.

Юзик очень хотел, чтобы я тоже учился, но мне уже было 14 лет, я умел шить дамские и мужские модельные туфли, начинал зарабатывать и думал о карьере сапожника. Я хотел стать знаменитым мастером, таким, как Арутин. Говорили, что Арутин шьёт сапоги *самому-самому*… что это самые мягкие и лёгкие сапоги в мире, — когда их взвешивают на аптекарских весах, то неизменно оказывается, что левый сапог весит ровно столько, сколько весит правый, грамм в грамм.

Не изменяя своей мечте о карьере сапожника, в школу я всё-таки пошёл — скучно было вечерами одному без друга. Я мог поступить в пятый класс, но поступил в четвёртый, так как Юзик был в четвёртом, а это было самое главное.

Не могу сказать, что в школе я делал успехи, но через год (сентябрь 1948 года) я купил первую в своей жизни книгу — сборник стихов Генриха Гейне «Лирика и сатира». Серый картонный переплёт, на чёрном фоне вдохновенный профиль поэта… Книге было предпослано небольшое предисловие Александра Дейча, написавшего позже своё известное исследование «Поэтический мир Генриха Гейне». Кроме того, на обороте титула значилось: «Переводы под редакцией Ал. Дейча». Были в сборнике и переводы самого Дейча. Но тогда книга была для меня анонимной. До сих пор помню два небольших отрывка из предисловия: «В 1830 году во Франции произошла революция. Гейне назвал известие о ней “солнечными лучами, завёрнутыми в газетную бумагу”».

Мне это очень нравилось — солнечные лучи в газетной бумаге. И ещё я до бесконечности перечитывал замечание Дейча о том, что «с необычайной свободой и смелостью Гейне смешивает здесь (в поэме “Германия. Зимняя сказка”. — *Л. М.*) высокий и низкий планы повествования, переходит непосредственно от одних интонаций к другим, прямо противоположным, пародирует приподнятый, патетический тон романтиков и сразу же показывает тот же предмет в зеркале иронии и сатиры».

Я не всё понимал в этой фразе, но был горд, был совершенно счастлив, что Гейне так непосредственно переходит к интонациям прямо противоположным.

Книга большей частью была переведена Вильгельмом Левиком, многие переводы которого запомнились на всю жизнь. Александр Дейч перевёл стихотворения по преимуществу сатирические, прекрасно передав общественную иронию и сарказм немецкого поэта. Как я потом понял, Александр Иосифович решил задачу сложнейшую, так как здесь же, в книге, сатира Гейне была представлена гениальными переводами Юрия Тынянова. Из переводов Дейча мне очень нравилось стихотворение «Приснилось мне, что я сам бог, Держащий свод широкий, И славят ангелы мои Рифмованные строки…».

Гейне-бог сотворил чудо — с небес льётся лимонный сок, в сточных ямах — рейнвейн, а между камнями мостовых — устрицы. Меня приводили в восторг последние, заключительные строфы стихотворения:

Берлинцы — мастера пожрать,
И в счастии непрочном
Бегут судейские чины
К канавам водосточным.

Поэты все благодарят
За пищу даровую,
А лейтенанты-молодцы
Знай лижут мостовую.

Да, лейтенанты — молодцы,
И даже юнкер знает,
Что каждый день таких чудес
На свете не бывает.

Я живо представлял себе этот сатанинский, весёлый переполох, вызванный поэтом, чтобы понаблюдать за маленькими людьми, столь важными и грозными в обычных условиях.

Больше других переводов Дейча мне полюбилось стихотворение «Вот погодите!»:

Сверкать я молнией умею,
Так вы решили: я не гром.
Как вы ошиблись! Я владею
И громовержца языком.

И только нужный день настанет, —
Я должен вас предостеречь:
Раскатом грома голос грянет,
Ударом грозным станет речь.

В часы великой непогоды
Дубы, как щепки, полетят,
И рухнут башенные своды
Старинных храмов и палат.

Это гордое стихотворение, должно быть, питало моё мальчишеское самолюбие, было опорой далеко идущим мальчишеским амбициям и помогло мне в юности самоутвердиться — вот погодите: я ещё покажу себя.

Мои друзья очень удивились, что я вдруг пристрастился к стихам и читаю их по памяти, наизусть. А Музафер, молодой шофёр-аджарец, обратился ко мне с просьбой составить ему любовную записку в стихах.

Музафер ежедневно ходил в цирк смотреть, как группа борцов при лентах и медалях картинно выходила на парад, а затем столь же картинно устраивала зрелищные состязания. Горец, положивший противника на лопатки, совершал, как мы тогда были уверены, величайший подвиг. Однажды молодого Музафера поразила больше борцов молодая женщина, выступавшая на арене с акробатическими номерами.

— Ох, что она вытворяет… Женщина-шпагат. Настоящий шпагат! — восхищался Музафер.

Он влюбился в циркачку, заказал для неё огромный букет с шампанским (горлышко бутылки было обложено цветами) и попросил, чтобы я одно из любовных стихотворений

Генриха Гейне подписал его звучным именем. (Музафер выбрал четверостишие: «Рождается жизнь, умирает, Приходят, уходят года, И только одна в моём сердце Любовь не умрёт никогда».)

Всё это (букет с шампанским и со стихами немецкого поэта в переводе Вильгельма Левика) Музафер отослал циркачке.

На следующий день клоуны играли на арене пустой бутылкой от шампанского, философски сокрушаясь, что бутылка ещё вчера была полной, а теперь вот пустая. При этом один из клоунов читал стихи:

Ах, муза, не грусти и верь,
Придёт сегодня Музафер…

* * *

Я так подробно рассказал о русском однотомнике Генриха Гейне, дабы сказать, что значил для меня в те далёкие юношеские годы Александр Дейч, имени которого тогда я ещё не знал. Когда в конце 60-х годов я с ним познакомился, он был для меня человеком легендарным, человеком из первой прочитанной, зачитанной мною книги.

Я помню Дейча, который уже плохо видел. Помню улыбающегося Дейча в тёмных очках. В улыбке — радушие, юмор, игра… Создавалось впечатление, будто видишь его глаза, их весёлый живой блеск…

Александр Дейч много работал. Теперь я знаю, что с годами работы не становится меньше. Наоборот, работы всё больше и больше, а времени всё меньше и меньше. И всё-таки Александр Дейч находил время помогать своим молодым друзьям. В 1969 году я издал со своим послесловием несколько глав из «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Не успела книжка выйти в свет, как меня обругали в одной ереванской газете. Александр Дейч вступился за меня в «Дружбе народов» (1969, № 12), написал рецензию «Поэзия скорби и гнева». Позже было сказано много добрых слов о «моём» Нарекаци. Но этот отзыв Дейча да ещё отзыв Эдуардаса Межелайтиса очень мне помогли и в смысле моего тогдашнего самочувствия, и в смысле дальнейшей моей работы. Предстояло защитить докторскую диссертацию, а тут — на тебе! — ругательная статья.

В рецензии Дейч, в частности, писал: «Когда-то Гейне сказал, что через сердце поэта прошла трещина мира, и он считал это приметой его современности. Тем более удивительно, что в глубине средневековья жил великий поэт с противоречивым и раздробленным сердцем. Как велика должна была быть мера чувствительности и сила проникновения Нарекаци, чтобы разбираться глубоко и точно в потоке душевных мук и познаний человеческой души».

И мне было особенно приятно, что в статье о Нарекаци Дейч вспомнил «нашего» Гейне, с которого, собственно, всё для меня и началось в филологии.

Дейч написал о Нарекаци, конечно, не только потому, что хотел меня поддержать. Обругали меня в сентябре, но ещё в середине августа 1969 года Дейч писал: «Хорошо, что вы знакомите нас, грешных, с таким величайшим поэтом Армении. С удовольствием прочитал и ваше послесловие, где вы находчиво кладёте на весы этику Достоевского и Нарекаци. Может быть, я отважусь написать несколько слов о первой встрече с поразившим меня поэтом».

Александр Дейч интересовался армянской поэзией. Уже после его смерти Евгения Кузьминична прислала мне его письмо от 3 января 1944 года. Адресовано оно тогдашнему директору Госиздата П. И. Чагину.

В Госиздате готовился однотомник лирики Аветика Исаакяна. «Очень удивлён, — писал Дейч, — что речь идёт о снятии многих стихов Исаакяна дореволюционного периода… Я

внимательно прочитал сборник. Согласен, что стихи, написанные в дореволюционный период, чаще всего овеяны грустью. Но вспомним, какое это было тягостное время для родины поэта, для его дорогой Армении. Поэзия Исаакяна — отзвук жизни его народа».

Оказалось, что и здесь, в этом давнем письме Дейча, упоминается наш Генрих Гейне. «Особенно я протестую, — замечал Дейч, — против снятия поэмы “Абул Ала Маари” (перевод В. Брюсова). Вполне возможно, что учёным-арабистам не нравится эта поэма, и они там находят исторические несоответствия. У Исаакяна была другая цель. Он создал обобщающий образ поэта огромного трагического звучания. Так Фирдоуси у Гейне далёк от исторической фигуры персидско-таджикского поэта. Я уверен, что поэме “Абул Ала Маари” суждено такое же бессмертие, как и стихам Гейне».

Сборник Исаакяна «Избранные стихи», достаточно полно и хорошо представляющий поэта, был издан Госиздатом в 1945 году во многом благодаря вмешательству Дейча.

В небольшом письме Дейча есть замечание принципиальное. «И не надо критикам применять к такому гиганту поэзии “измы”. Аветик Исаакян — самобытный поэт и ни в какие ограничительные рамки не вмещается. Между ним и символистами — бездонная пропасть. Он никак не укладывается в это прокрустово ложе», — писал Дейч в январе 1944 года. А ведь даже в середине 60-х годов некоторые армянские литературоведы всё ещё считали Исаакяна символистом. Версия о символизме Исаакяна первоначально возникла на почве слабых, эпигонских русских переводов начала века. А что касается Александра Блока, то он переводил Исаакяна именно потому, что армянский поэт не был символистом. Блока привлекла народность поэзии Исаакяна, поэтому он и сказал: «Может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет».

Есть в письме отдельные, ценные для нас свидетельства воспоминателя. «Помню, — пишет Дейч, — как в трудное время (начало 20-х годов) В. Брюсов при мне говорил с Луначарским о необходимости издания большого сборника произведений Аветика Исаакяна в Госиздате. У меня в памяти запечатлелось восторженное отношение Луначарского к поэзии Аветика Исаакяна и то, как он хотел написать письмо О. Ю. Шмидту».

Всё интересно в этом письме Дейча в защиту армянского поэта. Интересно и значительно. Дейч много жил, много видел и много знал. Я нашёл в его воспоминаниях («День нынешний и день минувший». М., 1969) рассказ о поэте Павле Сухотине. Сухотин был одним из переводчиков первой небольшой книжки Исаакяна на русском языке (Аветик Исаакян. Цветы Араза. Песни. М., 1907).

Александр Дейч писал прекрасные письма — весёлые и глубокие. В августе 1970 года он сообщал, что живёт на полуострове Лохусалу, что это «самая западная точка Эстонии, а дальше на трёх китах держится Швеция». Я хотел послать Дейчу в Лохусалу книгу «Армянская миниатюра», но Дейч просил, чтобы книга была послана в Москву: «Полуостровная почта полудоставляет, а такое издание может пропасть».

В другом письме он сообщал, что они с Евгенией Кузьминичной проводят на полуострове уже пятое лето. «И у нас установились дружеские отношения с обитателями деревни, построенные главным образом на взаимном незнании родных языков — эстонского и русского. Возьмётесь ли вы при этом утверждать необходимость художественного перевода для блага человечества?»

Дейч писал письма на темы, меня интересующие. Я занимался средневековой армянской лирикой. «Старая концепция о полном подавлении земного и мирского авторитетом церкви во все времена средневековья уже давно опровергнута, — писал Дейч 16 августа 1970 года. — Без этой победы человеческого над божественным не могла бы родиться поэзия Возрождения».

Общение с Александром Дейчем многое для меня значило. И в особенности общение заочное, анонимное. Это был человек мудрый и лёгкий, обаятельный. Лёгкость — от

юмора, иронии. Поэтому то была лёгкость глубокая, я бы сказал, пережитая, даже выстраданная.

Александр Иосифович рассказывал о перочинных ножах, выпускаемых некогда какой-то одесской артелью. На одной стороне рукоятки был изображён старик с бородой. Старик шёл за плугом. Рисунок должен был, по мысли расторопных артельщиков, изображать Льва Толстого. На другой стороне рукоятки было написано: «Великий мыслитель пахает».

Мне запомнился этот рассказ Ал. Дейча. И с тех пор, что бы я ни делал, я знаю, что «великий мыслитель пахает»… Это меня воодушевляет.

Аттестат зрелости

Ни о чём в жизни я не мечтал так страстно, как об аттестате зрелости. Шёл мне 21-й год. Я хотел поступить в институт, но имел свидетельство об окончании всего лишь восьмого класса, по нынешним понятиям — седьмого, так как тогда, в середине 50-х годов, была не десяти-, а одиннадцатилетка. Путь к аттестату зрелости лежал через девятый, десятый и одиннадцатый классы, через три длинных года. Но где их взять, эти три года?

Меня отчислили из мореходного училища. Со второго курса. Мой друг Андрей Суворов влюбился в англичанку — так мы называли нашу преподавательницу английского языка, полную молодую женщину с маленьким ртом и маленькими острыми глазами.

Андрею не давала покоя его фамилия — Суворов. Он всё старался чем-то выделиться из общей массы курсантов. Мы влюблялись в школьниц, а он, надо же, избрал преподавательницу. Это ему нравилось — она ведь преподавательница! Нравилось это и ей — он так молод и так влюблён! Но очень скоро они поссорились. Англичанка пожаловалась на Андрея командиру роты, сказала, что он её преследует, и сослалась на меня как на свидетеля. Я их действительно видел однажды вместе. Но я не мог сказать, что Андрей её преследовал. Они прогуливались по аллее приморского парка — шли медленно, как-то значительно. И им было хорошо.

Выслушав меня, командир роты сказал то, что он говорил нам всем и всегда:

— А то, что вы роняете честь училища, вы об этом подумали?

Вскоре Суворова перевели в Рижское училище — он этого добивался сам. А я был наказан англичанкой, строго-настрого запретившей мне ходить на её уроки. На экзамене (англичанка ждала этой минуты) она блеснула маленькими бесцветными глазками и сказала, что у хулиганов экзамены не принимает. Я её выругал. Крепко, как это сделал бы хулиган.

— Кого-нибудь из мужчин! — крикнула англичанка и упала в обморок.

Целую неделю меня обсуждали, разбирали и исключили из училища. Родные были очень огорчены. Мама плакала. Мне хотелось во что бы то ни стало утвердить себя, поступить в институт и доказать им всем, что зря они так со мной обошлись.

* * *

Нужен был аттестат зрелости.

Я мог бы работать и учиться. Но как не окончивший училища — призывался в армию. Служба, затем три года учёбы в школе. Выходило, что заветный аттестат зрелости я смогу получить годам к двадцати семи, не раньше.

Отчислили меня из училища в феврале. Очередной призыв ожидался летом или даже осенью. Надо было чем-то заняться. И пока я размышлял, что мне делать, наш сосед, уважаемый всеми врач Ираклий Александрович Шанидзе (я дружил с его сыном Вано), позвал меня и Вано в свой кабинет и сказал:

— Крестьяне знают, что нельзя держать одного поросёнка. Надо, чтобы самое меньшее было два поросёнка. Когда их кормят, они, толкая носами друг друга, жадно набрасываются на еду. И чем больше поросят, тем лучше они едят. Один поросёнок не станет есть. Я хочу, чтобы вы с Вано взялись за ум. Вам надо экстерном сдать экзамены на аттестат зрелости. Документы я вам помогу оформить, а остальное — сами знаете.

Идея нас воодушевила. Мы с Вано сразу же засели за учебники.

* * *

Самое трудное, объяснили нам, сдать письменные экзамены — русский язык и математику.

С русским языком у меня было плохо. Будучи ещё учеником не то 5-го, не то 6-го класса вечерней школы, я приобрёл «Русский язык» Виноградова. Думал, прочту этот солидный том и лучше стану писать диктанты. Но, увы, книгу я не понял, а диктанты по-прежнему писал на двойки.

— Если хочешь знать, сочинение написать легче, — успокаивал меня Вано. — Ты сам хозяин своего слова. А для диктантов берут старые дореволюционные слова. Царь Николай и то не знал, как их писать.

Вано уверял, что самое главное — найти для сочинения хороший эпиграф.

— Надо брать эпиграфы у Горького. У него, если хочешь знать, самые лучшие сейчас эпиграфы, — говорил Вано со слов Мерико, девушки из их двора, отличницы.

Мы с Вано искали в сочинениях Горького, преимущественно в его стихотворениях в прозе, эпиграфы, составляли, как это было принято, подробные планы с обязательным перечислением всего того, что в школах называют чертами характера. Для положительных героев: смелость, находчивость, сообразительность, преданность… Для отрицательных — всё наоборот: несмелость, ненаходчивость, несообразительность… Считалось также, что нельзя написать стоящее сочинение без длинного вступления и длинного заключения.

Мы с Вано показали наши сочинения знакомой учительнице. Она нам посоветовала достать шпаргалки.

— Переписывают многие… А в ваших сочинениях одних только орфографических ошибок наберётся не на одну двойку. Слово «мошенник» вы пишете как «ошейник».

У меня было написано: «мошейник».

Когда мы ушли от учительницы, Вано сказал:

— Если хочешь знать, мошенник — это слово для диктанта, а не для сочинения. Бери только знакомые слова.

Я бы воспользовался советом Вано, но не знал, написание каких слов мне известно, а каких — нет.

* * *

Надо было раздобыть шпаргалки. Нам посоветовали обратиться к толстому Акопу, продавцу из скобяного магазина.

Акоп продавал всё, что покупалось, на что был спрос. Я знал, что мама покупала у него занавески, какие-то заграничные лекарства. А наш сосед Шалико (он ходил в шляпе, и за это его прозвали Чемберленом) хвастался швейцарскими часами, которые он купил у толстого Акопа.

Акоп торговал широко, но осторожно.

— Какие шпаргалки? — удивился он. Но когда мы к нему пришли с работавшим тут же, у скобяного магазина, сапожником, его приятелем, он стал хвалить свой товар: — Шпаргалки московские. Проходят на пятёрки и на четвёрки. Специальный профессор проверял.

Шпаргалки были отсняты на фотобумаге, на длинных узких листочках, которые складывались так, чтобы поместиться в ладони.

Хуже обстояло с письменным по математике. Шпаргалок не было. Надо, как нам посоветовали, переписать на месте, во время экзаменов…

— Кто-нибудь решит, а остальные перепишут.

Но всё это были пути ненадёжные. Поэтому мы с Вано продолжали усиленно заниматься. Русским языком занимались вместе. Математикой — каждый в отдельности. Вано — по учебникам, а я по книге Выгодского «Справочник по элементарной математике». Учебников было несколько — я понял, что мне их не осилить. А справочник — один.

* * *

Три месяца с раннего утра и до полуночи я изучал справочник, оказавшийся, кстати сказать, прекрасным учебником. Возможность получить аттестат зрелости до того меня увлекла, что я буквально заболел этой идеей. Все мои силы были напряжены до предела. Я выучил справочник наизусть.

На консультации по математике я легко отвечал на все вопросы (разумеется, по справочнику). Элизбар Георгиевич Чхеидзе, преподаватель математики, решил, что у меня способности, и велел, чтобы я опекал своего соотечественника Сергея Крункяна, который, как и мы с Вано, сдавал экзамены экстерном.

Крункян, высокий ростом, с тоненькими модными усиками, поразил меня тем, что у него была красавица жена, была «Победа», на которой он приехал с женой, москвичкой, дочерью генерала, на берег Чёрного моря. Приехал загорать и заодно сдавать экзамены на аттестат зрелости.

И ещё — и это было удивительнее всего — у него была зачётная книжка студента Московского медицинского института, из которого его исключили, так как на третьем курсе выяснилось, что у него нет аттестата зрелости. Он ухитрился поступить в институт по аттестату своего брата Сакапета Крункяна.

— Был большой скандал. Меня исключили, хотя я хорошо учился. Вот зачётка — смотри. А брат у меня — дамский парикмахер. Не хочет учиться — и так хорошо зарабатывает. Я буду гинекологом. Меня восстановят, как только привезу аттестат зрелости. Я буду зарабатывать больше любого парикмахера.

Крункян был из числа людей, уверенных в себе.

— И удачи для людей, и неудачи для людей, — говорил он. — Но подсолнух всегда поворачивается лицом к солнцу. Так и человек, если он не дурак, должен поворачиваться лицом к удачам. Жить надо по закону подсолнуха.

На экзамене по истории я сидел рядом с Крункяном. Мы оба не знали, как ответить на наши вопросы. И вдруг Крункян говорит мне:

— Слышишь, во дворе кто-то прокручивает полонез Огинского.

Крункян слушал музыку, совершенно уверенный, что по истории получит свой трояк, — большего ему и не надо. Стоит только по закону подсолнуха повернуться лицом к удаче.

На истории я чуть было не провалился. Но полонез — грустную музыку воспоминаний — запомнил. И потом не раз этот сладостный мотив всплывал в моей памяти. А вместе с ним всплывал и образ старика Месропа. Он ходил по дворам и торговал зеленью, свежей, обрызганной росой. Рассказывая про свою молодость, про то, как он жил в Эрзруме, Месроп вздыхал:

— Что такое воспоминания? Мы были в саду в дни его цветения. А воспоминания — это осенний сад…

* * *

Экзамен по русскому письменному был первым выпускным экзаменом. Тема попалась прекрасная — ранний Горький. Долгие поиски эпиграфов в книгах Горького пошли на пользу. Сочинение я написал сам. Учительница по русскому языку Ада Моисеевна Башкицкая — у неё было смуглое, строгое лицо с правильными чертами — удивилась, что я сдаю экзамены экстерном, но не переписываю. Пришла, посмотрела, как я пишу. Помогла.

— Живите самостоятельно, и у вас всё будет получаться, — улыбнулась она. — «Я сам», — говорят дети. И вы скажите: «Я сам».

Устный экзамен по русскому языку и литературе особых трудностей не представлял. И кроме всего, ко мне была расположена Ада Моисеевна. Третий решающий экзамен — письменная по математике.

По условиям задачи следовало определить объём пирамиды. Высота известна. Вся загвоздка в том, чтобы найти площадь основания.

Меня торопил Крункян. Боялся, что не успеет переписать. Он требовал шпаргалки. Решение ещё не было доведено до конца, когда Крункян выхватил у меня черновик и показал его Элизбару Георгиевичу. Узнав, что можно уже переписывать — тройка обеспечена, Крункян больше меня не беспокоил. Он уже был в положении подсолнуха: успел повернуться лицом к удаче.

Я попросил ещё один листок бумаги (мой черновик так и остался у Крункяна) и спокойно дописал задачу. Ответ (забуду ли я когда эти числа?!) — 39 целых и за запятой 39 не то тысячных, не то десятитысячных единиц в кубе. Но у соседа справа и по всему ряду несколько иной ответ — в самом конце за запятой не тридцать девять, а сорок один.

Когда работы были проверены, оказалось, что у меня да ещё у Нодара Чейшвили наиболее точные ответы.

Я радовался своим успехам. Нет, своим удачам. И в самый момент, когда я чувствовал себя так твёрдо, так уверенно, меня настиг сильнейший удар.

* * *

За день до устного экзамена по математике директор школы Игнате Александрович Чкония получил решение коллегии Министерства просвещения о том, что моя пятёрка по математике аннулируется и мне надлежит письменный по математике сдавать повторно комиссии министерства.

Решением коллегии были объявлены также выговоры директору, преподавателю математики и представителю министерства на выпускных экзаменах у нас в школе.

Постановление было прочитано во всех школах города. И стали говорить не о математических моих способностях, а о способностях махинаторских:

— Тоже мне отличник! Подкупил всех — и всех их накрыли!

Оказалось, что кто-то написал на Игнате Александровича донос. И в это самое время выяснилось, что на экзамене по математике я взял два листочка бумаги, а сдал один только беловик. (В те годы бумагу для письменных экзаменов с печатью министерства на каждом листочке школа получала строго по счёту). Это вызвало подозрение, — заваливаюсь на письменном по математике, выбрасываю черновик, а задачу переписываю.

Так дело о пропавшем листочке на экзамене по математике стало предметом обсуждения на коллегии Министерства просвещения.

— Хорошо, что зацепили тебя, — утешал меня Крункян. — Я бы там у них срезался. А ты сдашь. Элизбар Георгиевич говорит, что сдашь. Идём на берег.

Крункян со своей красавицей женой целыми днями пропадал на пляже, на берегу, как говорил он. Даже в дни экзаменов он рано утром отправлялся на пляж и уже потом приезжал на своей «Победе» в школу. Крункян уговаривал меня поехать с ним в Москву:

— Я знаю ещё одного генерала. У него тоже есть дочка. Учится в университете, занимается гимнастикой. Женишься на ней, купишь машину. А я тебя устрою в медицинский.

На берег я не пошёл.

— Если хочешь знать, главное — найти сейчас черновик, — сказал Вано.

* * *

В школьном дворе стоял огромный мусорный ящик из бетона. Мы с Вано долго рылись в нём и нашли-таки черновик — скомканный, разорванный лист бумаги. В директорском кабинете Чкония листочек аккуратно был склеен — и мы с Вано помчались в министерство.

После долгого хождения по кабинетам я попал с помощью Вано (у него в министерстве работал родственник) к заместителю министра, математику по образованию. Небольшого роста, костлявый, с вытянутым лицом и приплюснутым круто изогнутым носом, торчащим между точечками иссиня-чёрных глаз, он был похож на хищную птицу.

Я всё напирал на то, что черновик, выброшенный мною, найден. Вот он. И почерк мой, и самый ход решения могу объяснить. А вот и их министерская печать…

— Раз это написали вы сами, то вам ничего не стоит решить ещё одну задачу, — время от времени повторял заместитель министра, поглаживая пальцами левой руки мочку левого уха.

Из министерства я ушёл ни с чем.

* * *

На устном экзамене по математике спрашивали меня мучительно долго — по всей программе, точнее — по всему справочнику.

— Отлично, — решился наконец Элизбар Георгиевич.

И этим «отлично» был брошен вызов Министерству просвещения. Мне объяснили, что школа пошла на риск и что теперь я обязан подтвердить пятёрку по письменному. А знаменитый на весь город географ, старик Анастас Варфоломеевич Кидониди, сказал:

— Пересдашь письменный на пятёрку министерской комиссии, получишь пятёрку и по географии. Поставлю, не спрашивая!

(Сдававшие экзамены экстерном не имели годовых оценок, поэтому им следовало сдавать и те предметы, по которым не было выпускных экзаменов. К таким предметам относилась география.)

Моё положение несколько облегчалось тем, что у меня появились болельщики в лице директора школы, преподавателя математики и представителя министерства. Все они схлопотали по выговору из-за моей письменной, и все они были заинтересованы в том, чтобы я, пересдавая математику, получил высокую оценку. Математик консультировал меня вовсю.

— Я с тобой буду заниматься бесплатно. Я тебе сам буду платить. Ты мне — как брат. Я сделаю из тебя математика. Я им докажу, — говорил Элизбар Георгиевич.

Он был недоволен тем, что я занимаюсь не одной только математикой. На другой день после математики предстояло вместе со всем классом сдавать историю, и я, естественно, хотел подготовиться. Элизбар Георгиевич пошёл к директору школы и потребовал, чтобы меня освободили от экзамена по истории. Игнате Чкония, понятно, не мог этого сделать. Но он мне сказал:

— Сдашь математику на пять, можешь на экзамене по истории ответить на один из сорока билетов по выбору. Какой билет захочешь, тот и получишь. Будь мужчиной! — пожал мне руку Игнате Александрович.

* * *

Второй раз письменную по математике я сдавал не в своей, а в другой школе. Была комиссия из трёх человек во главе с заместителем министра просвещения, тем самым математиком, который то и дело поглаживал мочки ушей. Сдавал экзамен ещё один юноша. Он сидел через ряд от меня. Я удивился тому, как быстро он решил задачу и ушёл.

Задача была предложена средней трудности. Шар. В шар вписан конус. Через шар проходит сечение. Проверяли письменные тут же, в классе.

— Ну вот видишь, — сказал заместитель министра, — я же тебе говорил, что человеку, который знает математику, ничего не стоит решить и две, и три задачи. Отлично.

Я был счастлив, я побежал в городской сад, где меня ждали директор и математик.

— Молодец, — расцеловали меня мои болельщики.

— Мне нужна была эта пятёрка! — торжественно воскликнул Игнате Александрович и поспешил в министерство выяснять отношения.

* * *

Утром на экзамене по истории мне предстояло ещё одно испытание. Из сорока билетов я знал один — третий билет. Я заблаговременно сказал об этом Игнате Чкония.

Я пришёл на экзамен, и на меня смотрели как на героя. Все уже знали, что я сдал письменную по математике. Меня поздравляли, говорили о моих способностях. А Игнате Чкония произнёс перед экзаменом короткую речь в мою честь. Он сказал, что я настоящий отличник и что сегодня я буду отвечать первым.

— Бери любой билет. Все они счастливые, — улыбнулся Чкония и пододвинул один из билетов в мою сторону. Я взял его и… о боже, то был не третий, а 36-й билет! Я его выронил и схватил другой, лежащий рядом. И опять не то — 38-й билет.

Весь класс, сидевший тут же, ахнул: ничего себе герой, отличник, математик, — хотел стянуть билет.

— Возьмите сейчас же ваш билет! — сказала учительница по истории, не понимая, что мой — это третий билет, а 36-й чужой, не мой билет.

К счастью, вопросы попались лёгкие. Первый вопрос: Плеханов. Группа «Освобождение труда». Второй: Великая Отечественная война. Причины победы.

Игнате Чкония понял свой промах. В его кабинете третий билет лежал сверху всей пачки. Он же сам и положил его туда. Но в кабинете билеты лежали текстом вверх, а на экзаменационном столе — текстом вниз.

Игнате Александрович хотел что-то предпринять. Он вышел, сказав, что надо срочно позвонить в министерство. Без директора экзамен не начинали, а его долго не было. Он прислал ко мне Элизбара Георгиевича:

— Игнате не допустит, чтобы тебя срезали. Тройка обеспечена. Ты говори, понимаешь, о чём-нибудь говори.

«О чём же говорить? — мучительно думал я. — О Плеханове пишет Горький в своём очерке “Ленин”… Можно что-то извлечь и из самого вопроса “Группа «Освобождение труда»”. О Великой Отечественной войне рассказывать легче. Родина, народ, враг, фашисты… Нужна какая-то конкретность». Я вспомнил книги, прочитанные мною к экзамену по русскому языку. Вспомнил «Повесть о настоящем человеке» Полевого. В послесловии Полевой приводит слова одного из подсудимых о причинах поражения гитлеровской Германии.

«Главное, мы не знали и не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая, самая хорошая агентура в мире не может раскрыть истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолётов и танков. Это мы приблизительно знали… Я говорю о людях…».

Эти слова я знал наизусть. Полевой их приводит по материалам Нюрнбергского процесса, на котором он присутствовал. Но я говорил так, будто сам изучал материалы процесса.

Я вспомнил также книгу Семёна Трегуба об Островском. В книге рассказывалось, как немцы, чтобы понять советского человека, изучали в гестапо «Как закалялась сталь»…

Мой ответ произвёл впечатление. Анастас Кидониди (он был членом комиссии) до того разволновался, что прервал меня и крикнул:

— Отлично! Отлично!

И опять заговорили, заспорили обо мне:

— Он же ничего не знает!

— Как же это не знает? И письменную по математике сдал, и по истории ответил.

Был доволен мной и моим ответом Игнате Чкония.

— Ты сегодня — мой гость. Я пригласил и своего старшего брата. Он журналист, пусть напишет о тебе. Кончай институт и приходи в мою школу. Место обеспечиваю. Полторы ставки, все условия. В институте будет поддержка. Я напишу в Тбилиси фронтовому другу, профессору. Без копейки пройдёшь.

После экзаменов подошёл ко мне Кидониди:

— Ты истории не знаешь… Ты не думай, что ты обманул старика Кидониди. Не знаешь ты историю. Но ты — молодец! Молодец!..

О если бы Кидониди знал, как я его разочарую на экзамене по географии! Разочарую — не то слово. Когда на единственный вопрос: «Сколько частей света?» — я ответил (по двум полушариям на карте, висевшей тут же, в географическом кабинете): «Частей света — две», Кидониди взвыл, как раненый зверь:

— Боже, о боже! Как ты неграмотен. И зачем я тебе задал этот вопрос? Зачем? Не спрашивая, надо было поставить пятёрку. Не спрашивая… Я же тебе обещал. Я теперь не могу поставить тебе пятёрку. Но я не могу и не поставить. Я же дал слово, я, Кидониди! Как учитель я должен выставить тебе единицу, а как человек, не сдержавший слова, я должен застрелиться, — мучился Анастас Варфоломеевич.

Когда я пробовал его успокоить, он кричал:

— Ты за кого меня принимаешь? Я же дал слово. Слово мужчины! Я, Кидониди!..

— Я знаю, что мы сделаем, — сказал наконец Анастас Варфоломеевич. — Ты мне разрешишь, чтобы я тебе поставил четвёрку. Разрешишь честно. Как мужчина. И ты мне дашь слово с завтрашнего дня приходить ежедневно ко мне домой — я буду с тобой заниматься. За месяц я тебя дотяну до четвёрки. Но если ты не будешь ходить на занятия, в сентябре я, старый человек, уйду из школы как недостойный звания учителя.

Я был согласен на всё. Но Анастасу Кидониди одного согласия было мало. Его надо было убедить в том, что я его уважаю, что я буду у него заниматься.

* * *

Вместе со мной сдавали географию Вано Шанидзе и Сергей Крункян. Я со своим ответом был для них таким благоприятным фоном, что они, если бы даже захотели, не могли бы срезаться. Кроме того, Вано и Сергей знали про части света. А когда Кидониди спросил у Вано:

— Калифорния. Можешь ли что-нибудь сказать о Калифорнии? — Вано рассказал не только о популярном в городе ресторане «Калифорния» (в этом самом ресторане выступала шумно известная танцовщица Красная Марго), но обнаружил какие-то сведения и о самой Калифорнии, нашёл её на карте.

— Если хотите знать, — начал Вано по своему обыкновению, но Кидониди остановил его:

— Что это значит: «Если хотите знать…»? Я всегда этого хотел. Всегда! А вот вы не хотите знать и ни черта не знаете!

Это был камушек в мой огород.

Вопрос о Калифорнии потому и задал Кидониди, что в городе существовал такой ресторан.

— Значит, Калифорния — это не только ресторан. Хорошо. Очень хорошо, что ты это знаешь.

Кидониди находился под сильнейшим впечатлением моего ответа о частях света и был, кажется, немного разочарован тем, что Вано не попался на удочку и не сказал:

— Если хотите знать, «Калифорния» — это ресторан, в котором танцует Красная Марго.

Такой ответ нужен был Анастасу Варфоломеевичу для полноты картины нашего дремучего невежества. Но ребята, в отличие от меня, что-то знали.

Крункян воспользовался тем, что речь зашла о Калифорнии, проявил инициативу и стал рассказывать об Англии и Франции. Он ездил в эти страны со своей женой, генеральской дочерью. Он очень сожалел, что из-за аттестата зрелости не смог нынче летом поехать в Болгарию.

* * *

Аттестат, стоивший мне стольких мук, был получен. Но я его отрабатывал — ходил к Анастасу Варфоломеевичу изучать географию. И должен был отрабатывать свой аттестат ещё не год и не два.

Старый знаменитый литератор, как я потом узнал, говорил: «Молодых людей с высшим образованием я встречаю всюду, но что-то не попадаются специалисты с хорошим средним образованием».

Кидониди оказался человеком добрым и благожелательным. Мы с ним подружились. Однажды он мне сказал о самых дорогих для него словах, записанных им некогда в альбом сыну, погибшему в Великую Отечественную войну. Это были знаменитые стихи Пушкина:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел…

— Для меня, — сказал Кидониди, — важны сейчас две последние строчки. Для тебя — две первые:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел…

Это было сказано мне в поддержку и мне же в укор. Я упустил время. И я хотел его нагнать.

Напечатанная фамилия

1

Вырос я в Грузии, а вот в Тбилиси впервые удалось побывать после того, как стал студентом Ереванского университета, — пригласили на студенческую конференцию. Жил я в лучшей тбилисской гостинице и был совершенно счастлив.

Вырос я в тихом прибрежном городе. Поезд из Тбилиси торжественно въезжал в город ежедневно по утрам. Вся наша сапожная мастерская (поезд проходил недалеко от мастерской) выходила встречать поезд № 34. Мы радовались тому, что поезд прибыл, мы ждали его и, встречая, неизменно обменивались мнениями:

— Сегодня что-то народу было мало.

— Заметили охрану почтового вагона? Охрану усилили…

А с тех пор, как мой друг Тариэл Илиашвили (мы оба были подмастерьями) получил в подарок от отца редкие заграничные часы, ежедневно возникали споры, на сколько минут опоздал поезд, на 16 минут или на 15 минут 30 секунд.

Каро-бидза, известный мастер, уважаемый всеми человек, долгое время был первым и единственным обладателем часов в нашей мастерской, массивных карманных часов, которые, как он любил подчёркивать, служили ему всю войну.

Каро-бидзе было за сорок, а он только ещё мечтал обзавестись семьёй.

— Есть мужчины, которые из-за одного ребёнка на всю жизнь занимают женщину, здоровую, красивую женщину, — возмущался Каро-бидза. — Если бы не война, была бы у меня жена и были бы дети, много детей.

— Иметь детей — горе, не иметь — горе. Но человек должен иметь детей, — говорил он.

Авторитет Каро-бидзы чуть было не пошатнулся из-за новых модных часов Тариэла — они шли точнее знаменитых часов Каро-бидзы.

— Мои часы не могут отставать, — сказал однажды Каро-бидза и на глазах всей мастерской положил их на рельсы, под колёса тбилисского поезда. Положил, как мы мальчишки, клали на рельсы старые гвозди. Они превращались в тоненькие пластинки, игрушечные мечи, а мы старались не упустить момента и сразу после того, как отстучат колёса последнего вагона, взять в руки гвозди, взять, пока они ещё горячие.

Старинные часы Каро-бидзы были раздавлены, расплющены, словно старые гвозди. Остался от часов плоский круг, поблёскивающий слепо и глупо.

— Дядя Каро, возьмите мои часы, — сказал опечаленный Тариэл.

— Спасибо, сын мой. Сегодня этим же поездом специально для меня привезут из Тбилиси часы… Мои часы не могут отставать!

…Тбилисский поезд, поезд моей юности, был самым важным каждодневным событием в жизни нашего тихого города.

И вот я в Тбилиси.

2

В самый день торжественного открытия студенческой конференции я с моим товарищем, тоже студентом Ереванского университета, скромно сидел в огромном зале гостиничного ресторана и ждал обеда. Но вместо горячего харчо официант принёс двенадцать бутылок холодного грузинского вина.

— Соседний стол посылает.

— Это ошибка. В Тбилиси у нас нет знакомых.

— Вот тот стол, — уточнил официант.

А с того стола смотрел на меня и улыбался Тариэл Илиашвили. Теперь он строитель. Приехал в командировку. Тариэл не один. С ним его тбилисский родственник, удививший меня тем, что он был одет во всё новое, хотя, как сказал Тариэл, родственник работает директором «Утильсырья».

— Ты, значит, студент, — ласково смотрел на меня Тариэл. — А я третий год уже работаю начальником строительного цеха. Знаешь, наш цех поставляет всем новостройкам города окна и двери. Представляешь, человек открывает двери и входит в свой дом, открывает двери и встречает своих друзей, а это — наши двери! Человек открывает окно, и человек смотрит в окно, а это — наше окно! — воодушевлялся Тариэл.

А когда я показал ему программу конференции и он увидел мою фамилию, напечатанную по-грузински и по-русски, напечатанную типографским способом — и где? — в самом Тбилиси, да ещё в Тбилисском университете, его радости не было конца.

— Это, значит, ты, это твоя фамилия? — вглядывался в текст программы Тариэл. — Докладчик — ты, да? И фамилия, значит, твоя. Напечатали, как в газете, по-настоящему.

Тариэл распорядился два стола объединить в один и заново накрыть объединённый стол.

— Ты что, на стипендию живёшь? — допытывался Тариэл. — Хочешь, я тебе буду помогать? Часы у тебя есть, такие, чтоб не отставали?

Вспомнили Каро-бидзу, его часы, тбилисский поезд… Каро-бидза, он так и не женился… И пока мы шумно и радостно вспоминали такое недавнее и такое далёкое прошлое, мы много выпили. Тариэл и его тбилисский родственник держались крепко. Зато мы, двое студентов, еле стояли на ногах. Когда наша компания подкатила к университету, педантичный Сергей Микитович Туманов, доцент, приехавший из Еревана как наш руководитель, стал кричать:

— Позорите Ереванский университет! Как приедем —- сразу же исключить!

Тариэл, пожелавший со своим родственником послушать мой доклад, не сразу сообразил, на кого кричат. Но вдруг до него дошло.

— Кого исключить? — взревел он и пошёл на Туманова. Тот вовремя увернулся. — Ты посмотри на него, — не мог успокоиться Тариэл. — Фамилия человека напечатана здесь, в Тбилиси, вот, по-грузински и по-русски, а он кричит: «Исключить!» Кого исключить?

— Подожди, — взял за руку Тариэла одетый во всё новое начальник «Утильсырья». — Кто он такой, этот собачий сын, чтобы на студента кричал? В утильсырьё принесут его — не возьму. Такой товар не берём в утильсырьё… Если человек не понимает радость другого человека, это уже не человек!..

Туманов не на шутку струсил.

— Скажи им, что я доцент, — торопил он меня, надеясь, что мои друзья не станут бить доцента. И в этом Туманов был прав, хотя, конечно, никакой доцент не мог сравниться со мной, студентом, фамилия которого напечатана в Тбилиси, напечатана так, как печатают в газетах. По-настоящему.

3

Прошло много лет. Дни наши бегут быстрее гонца, говорили древние. И чем больше их, ушедших лет, тем дороже нам воспоминания о быстробегущих днях юности…

— Старая дружба как старое вино, — говорит Тариэл.

Он по-прежнему работает в городе нашей юности начальником строительного цеха. И люди открывают широкие удобные двери и входят в свои дома, открывают двери и встречают своих друзей… Люди открывают большие светлые окна, и люди смотрят в окна… И все эти двери, и все эти окна сработаны в цехе, начальник которого уже больше двадцати лет Тариэл. А Каро-бидза умер — один, без семьи. Но он не был одиноким. Он жил у самого

рынка, а в домах, близлежащих к рынку, почему-то всегда рождается много детей. Это очень радовало Каро-бидзу. Его любили дети и любили взрослые, и все, все знали о том, что у Каро-бидзы самые точные часы.

Встречая меня, Каро-бидза ласково улыбался:

— Слыхал я, что твоя фамилия была напечатана в Тбилиси. Если так пойдут твои дела, даст бог, машину будут подавать по утрам, — то ли разыгрывал меня Каро-бидза, то ли и впрямь считал, что напечатанная фамилия — верный признак высокой должности с машиной.

В последние годы Каро-бидза не работал. Постарел, да и работа давно уже не та. Новые туфли шить — куда ни шло. Старые чинить — ничего не заработаешь. Тот из сапожников, кто придумал туфли на платформе, был величайшим врагом сапожников. Дерево рубят, а рукоятка топора из того же дерева. Умрёшь, пока платформа износится, — сиди и жди — толщина в три пальца. Люди стареют, а платформа совсем новая…

— Хорошо, что мы с тобой взялись за ум. Нельзя сейчас без образования… Хочешь, для тебя, для твоего ереванского дома специальные окна и двери сделаю, наши, грузинские двери, — то и дело предлагает Тариэл.

Главным событием моей жизни Тариэл считает программу студенческой конференции Тбилисского университета, в которой была напечатана моя фамилия, и он хочет сделать что-то хорошее для такого человека, как я. И я действительно когда-нибудь отважусь и построю в Ереване дом. Двери и окна привезёт из Грузии мой друг Тариэл. И я открою красивые уютные двери и войду в дом, открою двери и встречу своих друзей, а потом открою высокие белые окна, и мы с моими друзьями и со всеми домочадцами станем смотреть в окна и увидим, как он прекрасен, этот мир, в котором живут сапожники, строители и студенты!..

И если студентам везёт — печатают их фамилии. По-настоящему. Как в газетах.

Горе от ума

1

Аспиранты живут трудно — много работают (не всегда, увы, успешно) и как начинающие научные работники мало зарабатывают. Со стороны, однако, кажется, что человек преуспевает. Надо же — пишет диссертацию!

После окончания университета моё положение было хуже аспирантского — я был всего-навсего лаборантом кафедры, но и меня считали человеком, которому судьба улыбнулась: оставлен на работу в университете — и где! — в самом Ереване, а лаборант — это же почти научный работник.

Большие надежды возлагали на меня мои батумские друзья — сапожники и шофёры. Они не очень понимали, чем я занимаюсь, но были уверены, что стал я большим человеком.

— Какая у тебя машина и кто твой шофёр? — спрашивал Мегрело, сапожник, родом из Мегрелии.

— Левон, лет через десять потянешь на Нобелевскую премию? — интересовался Галстук Сако. Галстуком прозвали Саркиса за то, что он единственный из сапожников ходил в галстуке и читал газеты.

Стоило мне приехать в Батуми, как сразу же я оказывался в ложном, дурацком положении — на меня смотрели как на важного в столице Армении человека.

Иногда мои друзья замечали, что одет я бедновато. Однако они это объясняли тем, что как учёный человек я просто не придаю таким вещам, как одежда, значения.

Никто из моих друзей не знал, не подозревал, что лаборант в университете лишь пешка, что он может так и остаться на всю жизнь лаборантом. Никто не знал, не ведал, что у меня как у лаборанта почти никаких обязанностей, — позвонить по поручению профессора тому или иному преподавателю, перепечатать какую-нибудь незначительную бумажку, пойти в библиотеку за книгами…

И оттого что мои батумские друзья всего этого не знали и постоянно подчёркивали мою исключительность, я себя чувствовал подлым обманщиком. Я не любил ездить в Батуми…

В Ереване я снимал комнату и треть своей лаборантской зарплаты отдавал хозяйке, родственнице, назначившей (то ли из хорошего отношения, то ли из жалости) умеренную плату. Кто жил по найму, тот знает, как быстро бежит время. Сегодня заплатил за январь, и буквально через день на дворе — февраль, а ещё через день — март… Ты только успевай плати. Хорошо, если удавалось подработать, опубликовать в республиканской периодике статью или рецензию. Людям ненуждающимся казалось, что я пишу не потому, что бедствую, а потому, что я такой талантливый и важный.

Были у меня золотые часы, подарок матери. Время от времени я носил часы в ломбард. Находился ломбард недалеко от нашего факультета. Он был расположен в громадном, похожем на вокзал и плохо освещённом помещении. Под часы мне давали восемьдесят рублей старыми. Седой полный мужчина в мятом пиджаке неизменно замечал:

— Часы под залог не берём. Оцениваем только золото.

Но и золото старик сильно недооценивал. Иногда меня поддерживала библиотекарша университета Зинаида Павловна Бережная. (Не было человека, который, узнав её фамилию, не сострил бы: Бережную бог бережёт!) Ежемесячно с 3-го по 10-е Зинаида Павловна собирала профвзносы, и в эти дни можно было занять у неё двадцать — тридцать рублей.

Так я прожил целых четыре года, три из которых бедствовал не один — с женой, а затем и с сыном. Мой пятый лаборантский год был ознаменован тем, что я издал книгу (гонорар колоссальный — 18 тысяч старыми), защитил диссертацию и стал преподавателем, а главное, в ереванских Черёмушках получил двухкомнатную квартиру.

2

С защитой диссертации моё положение в обществе изменилось, хотя, конечно, оно не было таким блестящим и завидным, как это представлялось моим батумским друзьям. Зато теперь я себя не чувствовал, как прежде, низким обманщиком. Правда, машины с шофёром нет, но всё-таки я — кандидат наук и преподаватель университета. И жена преподаёт. Теперь можно и в Батуми съездить. Но весть о том, что мы с женой преподаватели университета, дошла до Батуми раньше, чем мы туда собрались.

В один из июльских дней у нас в ереванских Черёмушках объявился Пор-Мацо (пор — по-армянски пузо, брюхо). Свой огромный круглый живот, поддерживаемый широким ремнём, нёс Мацо с достоинством, серьёзно. Руки Мацо (руки и щёки мясистые, чёрные) казались на фоне выпирающего живота короткими, маленькими. И сам он выглядел ниже своего роста.

Когда-то мы с Мацо работали в одной сапожной мастерской. Теперь Пор-Мацо приехал в Ереван устраивать свою дочку в университет, приехал ко мне, к своему давнему другу, выбившемуся в преподаватели. Впереди живота нёс Мацо громадную плетёную корзину.

— Барана, которого мы сегодня зажарим, — сообщил Мацо, переступив порог, — ребята отвезли в Эчмиадзин, чтобы там, в церкви, надрезали жертвенному барану ухо. Пусть всё будет по закону, как принято в народе…

Мацо был не один. С ним была дочка Назик — стеснительная девушка с удивлённо-испуганными глазами на смуглом, правильном лице.

Я усадил гостей в нашей полупустой квартире — ни мебели тебе, ни обстановки — и побежал в ближайший гастроном за коньяком.

Стол для гостей получился скудный, настолько скудный, что Пор-Мацо не знал, оскорбиться (разве так встречают гостей?) или пожалеть меня (разве так живут люди?). По обстановке в квартире и по сервизу Пор-Мацо решил, что дело не в нём, не в отсутствии должного уважения к нему. «В чём же тогда дело?» — напряжённо думал Мацо.

Разговор за бутылкой армянского не получался. Мацо заметно погрустнел. Назик мучительно томилась и была занята тем, что складывала то так, то эдак свой носовой платочек. Надо было девушку чем-то занять. Я попросил жену проверить, как Назик пишет сочинения. Жена с Назик уединились в гостиной, а мы с Мацо остались сидеть на кухне.

— Неужели ереванские армяне такие страшные люди? — спросил Мацо. — Я слыхал, что здешние армяне очень завистливы — и сами не живут, и другим не дают, но, бог мой, как ты напуган!

Мацо решил, что я, преподаватель университета, богатый человек, из страха перед ереванскими армянами, соседями и коллегами не обзавожусь машиной, модной мебелью и коврами, не держу дома в великом изобилии марочные коньяки и вина… И, наконец, из страха быть разоблачённым боюсь обменять двухкомнатную квартиру в Черёмушках на четырёхкомнатную в центре.

— Я знал, мне говорили, что в Армении жить нельзя, — сокрушался Пор-Мацо.

Часа через два (жертвенный баран что-то задерживался в Эчмиадзине) Мацо вдруг понял, что мы живём бедно отнюдь не потому, что боимся жить богато, понял, что у нас нет скрываемого от посторонних глаз состояния.

— В каком университете ты работаешь? — скептически улыбнулся Мацо. — Там, где учатся студенты? А что ты делаешь? И жена, говоришь, работает?

Пор-Мацо теперь уже не верил, что мы с женой преподаём. Он жалел меня, горького неудачника, скрывающего свою ничтожную жизнь.

— Ты же в Батуми так хорошо начинал, — вспоминал Мацо. — И брат твой шофёр — я у него был на днях, узнавал твой адрес — живёт как туз, имеет каждый день свежую копейку, из дома не выходит, сразу стол накрывает на десять, на двадцать человек…

Пор-Мацо жалел меня.

— Вот возьми для оборота, — достал Мацо из чемодана свёрток с деньгами. — Возьми, купи машину или займись каким-нибудь другим делом. Заработанные деньги снова пусти в оборот, а долг верни…

Я показал Мацо свою книгу, за которую получил столько денег и степень кандидата наук. Я хотел себя как-то реабилитировать в глазах Мацо. Но размеры гонорара (Мацо считал новыми — 1800 рублей) впечатления не произвели.

Своеобразно среагировал Мацо на то, что я — автор книги. Он поинтересовался, есть ли у меня телевизор. А вот если бы был, то я каждый вечер мог бы видеть, как выступают по телевизору артисты и писатели в галстуках фирмы Пор-Мацо.

— Галстуки из индийской парчи выпускаю только я. Идут хорошо. Особенно в больших городах. Каждый вечер кто-нибудь говорит по телевизору в моём галстуке. В Батуми выхожу погулять и всё время встречаю людей в моих галстуках…

Я, конечно, не мог сказать, что моя книга, изданная трёхтысячным тиражом, так популярна, как галстуки из индийской парчи — гордость Пор-Мацо.

3

Пока Мацо наставлял-учил меня, как встать на ноги, Назик написала сочинение, а жена проверила его. Назик сама выбрала тему — «Горе от ума» Грибоедова. Сочинение было

написано плохо и неграмотно. Назик, между прочим, писала, что Софья — народная артистка СССР. Мы с женой пробовали объяснить, что во времена Грибоедова не было народных артистов СССР, что Софья, дочь Фамусова, никакая не артистка. Назик, потупив взор, еле слышно, но твёрдо парировала все наши доводы:

— Так в книге написано.

Пор-Мацо строго и ласково посмотрел на свою Назик:

— Ты сама читала книгу?

— Да, папа.

Мацо испытующе посмотрел на меня с женой:

— В каком университете вы работаете? — ещё раз поинтересовался Мацо, теперь уже совершенно уверенный, что мы жалкие самозванцы.

Я хотел было популярно объяснить самому Мацо о веке девятнадцатом, об СССР и народных артистах.

— Моя дочь не может врать, — обиделся Мацо. Он встал, протянул вперёд левую руку и, как бы хватая кого-то за горло, сжал толстые короткие пальцы в кулак, затем над левой рукой сжал в кулак правую руку (в правой — голова воображаемой жертвы) и сильно дёрнул её в сторону — жест, означавший, что голова несчастного оторвана. — Вот так сорву голову, если Назик станет врать. Вот так, — повторял он, ещё и ещё раз показывая отработанные приёмы хватания за горло и за голову… — Вот так, если будет врать…

И всё-таки относительно Софьи, народной артистки СССР, мы с женой настаивали на своём.

— Где эта книга? — вскипел Мацо. Он был обижен. Он был оскорблён.

— В гостинице.

— Я сейчас приеду! — бросил Мацо и вместе с Назик отправился за книгой.

Мы с женой были крайне расстроены и растеряны. А когда ребята, подручные Мацо, появились на нашей лестничной площадке с громадным чёрным бараном, жена (в её глазах стояли слёзы) сказала:

— Я иду к маме, когда всё это кончится, придёшь за мной.

Потоптавшись на лестничной площадке, мы, подручные Мацо с бараном и я, пошли во двор. Баран с надрезанным ухом то и дело вскидывал голову, дабы заглянуть мне в глаза. Несчастный не то укорял меня, не то искал в моём взгляде сочувствия.

Подручные Мацо — их было трое, — молодые, крепкие ребята, смотрели на меня уважительно и ласково. Они ещё не знали, что никакой я не преподаватель, что нельзя связывать со мной судьбу дорогой Назик, будущей студентки университета.

Мы пробовали привязать барана к дверям какого-то гаража (во дворе сплошь стояли гаражи), когда появился Пор-Мацо. Он выскочил из машины, торжествующе потрясая книгой.

— Вот читай!

Это был сборник статей по русской литературе XIX века. В нём была фотография с подписью: Софья — народная артистка СССР А. Степанова.

Крыть было нечем. Я был изобличён. Я был опозорен.

— Моя дочка не врёт! Понимаешь, не врёт! — кричал Пор-Мацо.

Он уже не жалел меня, он меня презирал. Я был изничтожен. Затолкав барана в багажник и выхватив из моих рук книгу, Пор-Мацо со своими подручными уехал. Он ругал меня, а ещё больше — себя, дурака, чуть было не погубившего свою дочь. Как он мог, как мог доверить мне будущее своей Назик!

История эта кончилась в общем благополучно — Назик поступила не в университет, а в педучилище. Я так и не поехал в то лето в Батуми, где на первых порах крепко меня поносил Пор-Мацо.

Птица тоски

Мне сразу запомнилось двустишие грузинского поэта:

Эх, почему я не маленький мальчик?
Годы кидал бы, как камешки, в воду.

Я люблю стихи. Но в данном случае имеет значение и то, что я вырос в Грузии, что мы с грузинским поэтом почти одногодки. В его стихах — мой сверстник, человек, которого я полюбил. Он близок мне.

Все мои вины да будут раскрыты,
И адвокаты меня не спасут…
Юность
Придёт, как свидетель защиты,
Чтобы склонить к оправданию
Суд.

Эти высокие (высокие и своей горечью) слова взволновали меня. Когда в сорок первом началась война, мы были детьми… В неделю раз в старых деревянных вагонах, набитых людьми, как бочки — селёдкой (люди в тамбурах, на подножках, на крышах), я с мамой и старшим братом ездил в грузинское село Ланчхути. Мы с братом помогали маме продавать и обменивать на кукурузную муку и яйца чувяки, которые мама шила (с таким трудом!) из старых заношенных ботинок и из негодных, изорванных покрышек. От ланчхутского приземистого вокзала мы шли мягкой коричневой дорогой на рынок-толкучку. Дорога изгибалась, проходила через мост. У самой толкучки жила грузинская семья, с которой мама дружила. В семье — одни женщины. Грузинские женщины терпеливы и добры. Они горды. Это хорошая, престижная гордость: как бы ни было трудно — не уронить своего достоинства. В семье наших друзей жила маленькая, одетая неизменно в чёрное столетняя старушка. В пустом зелёном дворе она двигалась невесомо, как тень, и беззубым ртом нашёптывала:

— Живите, дети, живите… Бог мой, почему сейчас война, почему умирают наши дети, а я живу? Забери мою душу, бог мой…

Правнучка старушки, круглолицая красавица, ждала мужа Резо. Я запомнил, как его звали, потому что имя его да имя бога — Хмерто — произносилось всё время. В доме молились рядовому Резо и богу.

— Когда вернётся Резо, будет хорошо!

В каждой семье кого-то ждали. Времена были тяжёлые, а люди — добрые. В трудные, лихие времена мы жили вместе и были опорой друг другу. Я думаю обо всём этом — трагическом и высоком, — читая грузинского поэта. И мне жаль, как мне жаль, что

Я уже не смогу взобраться
На это дерево.
Только воспоминания, как муравьи,
Поднимаются лестницей детства…

Я перечитываю эти стихи, думая о себе, об их авторе. И мне почему-то кажется (я в этом уверен!), что он, грузинский поэт, тоже любит Гарсия Лорку, его «Песню засохшего апельсинового дерева»:

Отруби поскорей
Тень мою, дровосек,
Чтоб своей наготы

Мне не видеть вовек…
О, не видеть себя!
И тогда мне приснятся
Муравьи и пушинки —
Мои листья и птицы.

Гарсия Лорка — как дорога в Ланчхути — живёт во мне. И отныне какие-то слова грузинского поэта взойдут в моей душе. И дело не в масштабах дарований, а в том, что слова, сказанные от сердца, находят в сердцах отклик.

Хоть бы меня все забыли на свете —
Ливнем упасть на поля деревень…
Хоть бы меня здесь никто не заметил —
Деревом стать, расстилающим тень…
Хоть бы меня все забыли на свете.

Так уходят из жизни достойнейшие из людей. Так погиб Резо. Он не вернулся, и умерла надежда в доме наших ланчхутских друзей. Погиб на фронте мой дядя Арам, большерукий силач Арам… Не умереть — стать ливнем, деревом, частью природы и молить о том, чтобы тебя все забыли, все, кого ты любишь и кому не хочешь причинить боль страданий. Но грех, величайший грех забывать людей, которые нас любили…

Чувство природы (огромности мира, его бесконечности, вечности) выражено у грузинского поэта в стихах пронзительных и грустных. Поэт чувствует землю и жизнь так, как её чувствуют бессловесные божьи твари:

Я знаю, что я ещё мал, батоно,
Но вырасту — лезу из кожи…
Ты только меня не оставь одного:
Боюсь, что обидит прохожий.
Ты — мудрый, ты — добрый, о мой господин.
А я — дурачок несмышлёный,
Боюсь, что, когда я останусь один,
С травы меня сгонят зелёной.
Ещё я нести не умею ярмо,
С дороги сбиваюсь в ухабы,
Не бей меня — выучит время само,
А плечи мальчишески слабы.
И пусть я срываю порой бечеву,
Реву и топчусь у порога,
Я бойни боюсь, дай ещё поживу,
К ярму приспособлюсь немного…

В жизни, как в немом кино, — когда уста молчат, говорят глаза. Дар слова лишает дара взгляда. Благословенна кричащая темнота, немота, обретающая в стихах поэта голос.

Сколько бежать от узды,
чтоб отдохнуть хоть чуток?
Сколько принесть мне воды,
чтобы мне дали глоток? —

вопрошает поэт. Он пишет исповедально. Открытость письма — от душевной ранимости. Это даже не открытость, а обнажённость, беззащитность.

Кость молчания
бросил я злобным собакам.
Псы успокоились, лай приутих,
Вот уж рычат друг на друга —
Огрызок и сладок, и лаком,
Им не до гостей и чужих…
Кость молчания
бросил я злобным собакам.

И это горькое стихотворение говорит о душевной ранимости поэта, о его способности откликаться на всякую человеческую боль. Или вот ещё:

Сальери всех времён —
одна у них дорога,
Как сладок их напев:
Ну, выпей, друг, немного!

Стихи грузинского поэта, как воздух Грузии, пронизаны звонким, щемящим чувством жизни. Быт в Грузии — как бытие. Грузия будничная, трудовая всегда празднична. Так и стихи грузинского поэта. Его поэзия проста, в ней мотивы повседневности, но в ней и возвышенный, пылкий взгляд на жизнь. Я говорю не об условном восточном романтизме, я говорю о романтизме мировосприятия, о способности чувствовать жизнь остро и щедро.

Будничная возвышенность характерна и для красок поэта. Он художник. И не только в стихах. У меня дома висит написанный им вол. Вол несёт на рогах луну. Вол — сила. Он весь — грозная, напористая мощь. Но он и нежность. Луна на рогах — это ведь грёзы, мечты…

Деревья, встаньте потеснее,
Как вы друг другу далеки!

В этих и других словах грузинского поэта («Быков усталых бить — тяжёлый грех») чувствуется народная речь, грузинская народная мудрость. Мы — как деревья на одной земле. Мы ведь действительно с тех ещё, дохристианских, времён были близки друг другу. Мы — братья!

…Я нашёл в стихах грузинского поэта что-то своё, родное. И я хочу сказать ему, грузинскому поэту Морису Поцхишвили[1], спасибо, хочу сказать, как говорили наши предки:

— Пусть корни твои, Морис, вечно питает родниковая вода, а ветви — согревает солнце. Родное и близкое мне грузинское солнце.

[1] Цитируемые стихи Мориса Поцхишвили перевели на русский язык М. Синельников, Е. Николаевская, Ю. Ряшенцев и Я. Гольцман.

2
Люди, которым я много обязан

Рано стал писать воспоминания. В 1971 году издал книжку «Добро вам» с воспоминаниями об Александре Гитовиче, Арутюне Галенце, Илье Эренбурге и Корнее Чуковском.

Воспоминатели порой чем-то похожи на нашего дальнего родственника Гарсо, Гарсевана Никитича. Теперь Гарсо не у дел, а в своё время, как он уверяет, занимал почти министерский пост. Стоит Гарсевану Никитичу выпить, как он рассказывает о своей обиде:

— За всю жизнь я заполнил тысячу анкет. И кто твоя жена, и кто твой брат, и кто твой сват… Но не было анкеты, где бы стоял один-единственный вопрос, — терзается подвыпивший Гарсеван Никитич: — «Кто твой друг?» Я бы написал о своих друзьях министрах, и тогда бы меня поняли, меня оценили…

Принято считать, что воспоминания надо писать в преклонном возрасте. Конечно, человеку в летах простительнее писать о себе. О других можно писать всегда, в любом возрасте. Но в том-то и дело, что воспоминатель, даже когда он этого не хочет, пишет немного о себе. Хорошо, если немного.

Поэзия и дружба

Говорят, что личное знакомство с поэтом, стихи которого любишь, может разочаровать: создатель прекрасного может оказаться далеко не прекрасным человеком. Бывает, конечно, и так. Но когда я познакомился и подружился с Александром Гитовичем, вспомнились слова Роберта Фроста. «Мне всегда неловко говорить: я поэт. Это ведь всё равно что сказать о себе: я — хороший человек».

Александр Ильич был человеком большого личного обаяния. Он сам был как стихи.

Михаил Светлов, стихи которого любил Александр Ильич и о котором всегда говорил с любовью, как-то заметил, что поэзия — это не профессия, а состояние, в котором человек постоянно пребывает. Александр Гитович всегда пребывал в состоянии поэзии.

И вместе с тем А. И. Гитович — поэт, недооценённый критикой. Его упрёк друзьям-критикам более чем справедлив:

Всё обдумают и всё докажут,
А пока, над временем скользя,
Видят правду, да не скоро скажут
Наши осторожные друзья.

Поэзия Гитовича лишена внешних примет оригинальности. Вчитавшись в его стихи, чувствуешь глубину и прелесть строк, написанных без всяких претензий (точно так же, вчитавшись в строки, сделанные с претензиями, часто обнаруживаешь их плоскую ординарность). Александр Гитович написал о поэтах-туристах, многое умеющих, но всё-таки туристах:

Есть у туристов горные маршруты
Небезопасные. На их пути
Подъёмы тяжелы, тропинки круты,
И только храбрый может там пройти.

Но на вершине снежно-серебристой,
Под ветра улюлюканье и свист,
Ты видишь, всё-таки они туристы,
А ты — какой ни есть, но альпинист.

Очень может быть, что туристы «покоряли» вершины, которых не брал Гитович, — у него своя высота, но это высота поэзии.

В одном из стихотворений Александр Гитович сказал о том, что ему не пишется:

Мне хорошо знакома,
Помимо прочих бед,
Тоска аэродрома,
Когда полётов нет.

О, давняя невзгода
Туманов и дождей —
Нелётная погода
В поэзии моей!

Эти стихи говорят о Гитовиче как о поэте много больше, чем модные декларации иных поэтов, о том, как они талантливы.

Поэзия Гитовича (и стихи конца 20-х годов, и последние стихотворения, датированные 1966 годом) полна романтики и атмосферы высокой увлечённости социалистической новью. Отсюда боль в его стихах за срывы и рядом со всем этим стихи, утверждающие ленинскую правду, звучащие словно присяга:

Молчанье озлобляет нас. Но ложь —
Она в своём рассчитанном звучанье
Давно Поэзию не ставит в грош
И потому — опаснее молчанья.

Где ж Совнаркома грозная печать
И ленинская подпись под декретом,
Где навсегда запрещено поэтам:
Во-первых, лгать, а во-вторых — молчать?!

Александр Гитович — поэт мужественных интонаций. Резкая краткость его стиха часто выражает определённость позиции автора, его бескомпромиссность. Не случайно Гитович говорит не о трёх, а о четырёх войнах: «И та четвёртая, что надо всю жизнь вести с самим собою». В этой четвёртой войне погибало людей не меньше, чем в трёх других. Гитович до конца был верен жизни, идеалам правды и поэзии.

С годами стихи Александра Гитовича приобрели бóльшую глубину и законченность. Отдельные строки его стихов звучат как афоризмы:

Не крупные ошибки я кляну,
А мелкий день, что зря на свете прожит…

Чем больше мне лет, тем чаще я вспоминаю это изречение Гитовича и остро чувствую боль мелко прожитых дней.

Другое двустишие Гитовича:

Нет времени, чтоб жить обидой
И обсуждать житьё-бытьё, —

не раз помогало мне идти своей дорогой, не останавливаться в пути и ввязываться в пустопорожние литературные споры, цель которых обидеть «противную сторону» — и только…

Прекрасно написал Гитович о поэзии:

Стихи, стихи! Возьмут они тебя,
На миг спасут — и навсегда погубят.

Меня, однако, стихи всегда спасали, а однажды выручили стихи Гитовича.

* * *

…В 1953 году был я курсантом и имел звание старшины второй статьи. Случилось так, что я проштрафился и меня разжаловали. Приказ о разжаловании был прочитан перед общим строем. Читал его, взобравшись на специальное возвышение (чтобы все видели и слышали!), капитан второго ранга Носов. Трудный это был для меня день: я навсегда лишился звания и должности помощника командира взвода.

Прошло много лет. В Москве чествовали Сильву Капутикян, был большой вечер поэзии по случаю её юбилея. Капутикян дала обед. Присутствовал на обеде маршал И. Х. Баграмян. Второй тост провозгласили за маршала. Мужчины неизменно говорили о своих званиях, о том, что в таком-то году они служили там-то, а Баграмян там-то… Короткой была речь Беллы Ахмадулиной. «Милый маршал, — сказала она, — вы прелестны». Не смея нарушить установившийся тип речи для мужчин, я представился как разжалованный старшина второй статьи, заметив, что мои «военные» воспоминания печальны и что я хочу прочесть стихотворение старого воина Александра Гитовича, посвящённое Баграмяну.

Стихотворению Гитовича предпослан эпиграф из С. Вартаняна: «Поэзия и поэты с древнейших времён высоко почитались в Армении. Враги поэтов всегда были врагами армян»[1]. А вот и текст самого стихотворения, написанного с улыбкой, с юмором:

Армения сказала нам: «Друзья,
Никто вас не обидит нарочито —
Такая здесь налажена защита,
Что даже пальцем тронуть вас нельзя.

Стоит на страже маршал Баграмян,
Чтоб лезвием бесценного кинжала
Навек отсечь ещё живое жало
Антипоэтов и антиармян!»

Стихи были приняты горячо, под аплодисменты. А маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян торжественно объявил, что он своей властью восстанавливает меня в звании старшины второй статьи.

Так завершилось давнее дело о разжаловании. Правда, из-за пустых, но всегда обременительных формальностей я не закрепил своё выдвижение соответствующим документом и продолжаю числиться рядовым запаса.

---

[1] Когда я спросил Гитовича о С. Вартаняне, заметив, что не знаю такого писателя, он ответил:
— Вартанян жил ещё до Хачатура Абовяна…
Гитович придумал эпиграф к стихотворению и автора эпиграфа.

* * *

…Был краток и выразителен Гитович в своих переводах. Мария Петровых говорила, что она была поражена тем, как просто и сильно сказано о смерти в одном из переводов Гитовича:

В этом мире
Сун и Цяо были,
Но потом
Их больше не встречали…

(Тяо Цянь)

Мы знаем, как важно дорожить словом, и как досадно, когда в стихах на очень важные темы слово оказывается подверженным инфляции. Только сильные стихи могут быть злободневны. Ал. Гитович писал о дружбе, писал хорошо и был по-настоящему злободневен.

О последнем прижизненном сборнике стихов Гитовича «Зимние послания друзьям» в декабре 1965 года писал ему Корней Чуковский: «Это самая выразительная Ваша книга. Я читал и перечитывал её во время бессонницы, и мне казалось, что все Ваши послания адресованы мне. Замечательная чёткость поэтической речи, лаконичность и благородство стиля — об этом я знал и раньше, но в этой компактности Вы встаёте во весь рост, как мудрый и сильный поэт».

* * *

Армения, далекая и ещё незнакомая Александру Гитовичу страна, как-то вдруг и неожиданно вошла в стихи поэта.

…Зима 1944 года. Волховский фронт. Здесь подружились два воина — кинодраматург Кара-Дэмур и поэт Александр Гитович. Мать Кара-Дэмура писала ему из Армении, что ждёт его, что зарыла для сына бурдюк с вином: когда вернётся, выпьет с лучшим своим другом. Этот рассказ и послужил для Александра Гитовича началом цикла стихов «Пиры в Армении». Здесь же, на фронте, были написаны шесть сонетов, составивших основу будущей книги об Армении. Естественно, это были стихи о войне, о победе и пирах в Армении, стихи о том, что «только храбрый увидит, как течёт Занга и день встаёт над могилой врага».

Военная лирика Гитовича полна раздумий о мире. Гитович знал, за что он воюет, — и снился ему в армянских горах пир поэтов, снилось:

Вся в звёздах, ночь забыла про невзгоды,
Как будто лагерь Братства и Свободы
Поэзия раскинула в горах…

Как бы ни была сурова война, она не могла подавить в поэте мечтателя. В одном из сонетов цикла «Пиры в Армении» Ал. Гитович писал:

Всю жизнь мы воевали за мечту,
И бой ещё не кончен…

В стихах Гитовича военных лет Армения — романтическая страна, страна поэтических мечтаний:

Ночь Зангезура сердце мне тревожит.
Торжественного света пелену
Раскинет Млечный Путь — во всю длину —
И до рассвета не сиять не сможет.

Да будет так, как я того хочу:
И друг ударит друга по плечу,
И свет звезды пронзит стекло стакана,
И старый Грин сойдёт на братский пир
И скажет нам, что изменился мир,
Что Зангезур получше Зурбагана.

Армения виделась Гитовичу своеобразным Зурбаганом — городом, который был создан пылким воображением Александра Грина.

Когда я сказал Александру Ильичу, как понимаю эти стихи об Армении, он ответил:

— Это вы правильно заметили. У каждого поэта должен быть свой Зурбаган, своя Армения.

После войны Гитович продолжал работу над стихами об Армении. Он побывал в Ереване, многое увидел, многое пережил. Появились новые стихи — стихи о современной Армении, её истории. Армения перестала быть для него воображаемой страной. Изучив историю Армении в связи с её современными судьбами, Гитович хотел предугадать, чем живёт народ Армении, «что он предвидит, что изобретёт».

В октябре 1965 года Александр Ильич с женой прилетел в Ереван. Я должен был их встречать. Но мы хотя и переписывались, не были знакомы. Поэтому Александр Ильич прислал свою фотокарточку. Поздно вечером 29 октября среди пассажиров ленинградского самолёта я без труда узнал Александра Гитовича. Он производил впечатление человека, некогда очень сильного. С хемингуэевской бородой, широкогрудый, в тёмном шерстяном свитере — Александр Ильич был похож на бывалого моряка, он и ходил, как моряк, широко расставив ноги. Карен, наш пятилетний сынишка, очень обрадовался знакомству с таким интересным человеком: Карен бредил матросами.

Позднее Ал. Гитович писал: «Что касается Карика — то, хотя я и не моряк, но откуда у этого юного Мессинга есть какое-то шестое чувство? Как он узнал, что 35 лет тому назад я плавал на подводной лодке (это были манёвры), и когда-то наша лодка, согласно заданию, опустилась на грунт — на дно Балтийского моря — и экипажу в течение трёх часов нечего было делать, а комиссару нужно было какое-либо «мероприятие» —он попросил меня почитать команде стихи. И вот я, возможно, единственный стихотворец, читавший свои стихи на дне моря».

Не знаю, любил ли вообще Александр Ильич читать стихи. В Ереване он с удовольствием их слушал, но читал неохотно. Студенты университета очень просили Ал. Гитовича прийти на встречу с ними, почитать им свои стихи.

— Я хочу посмотреть Армению, хочу в деревню. А студенты везде одинаковы, — отвечал Александр Ильич.

Мы побывали в одной из деревень Эчмиадзинского района. На тихой деревенской улице перед одним из домов сушили лаваш — хлеб, выпеченный тонкими длинными листами. Мы пошли посмотреть, как пекут лаваш. Хозяйка, худая, жилистая старуха, похожая на сухую виноградную лозу, обрадовалась случаю показать своё искусство — пригласила нас домой и угостила свежевыпеченным лавашом.

Александр Ильич с интересом наблюдал, как ловко насаживает старуха на своеобразную вытянутую «подушку» тонко раскатанное тесто и с размаху ударяет ею об раскалённые края врытой в землю колодцеобразной печи, называемой у нас тондыром. Мгновение — и хлеб выпечен…

Наблюдая, как проворно работает старая крестьянка, мы вспомнили стихи Осипа Мандельштама о том, как пекут лаваш, «как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки, из очага вынимает лавашные влажные шкурки».

Вернувшись в Ленинград, Александр Ильич написал о нашей поездке в стихотворении «Деревенский праздник»:

Вино и хлеб, рождённые из камня, —
Гостеприимство трудовой души, —
Вся эта жизнь ясна и дорога мне,
И люди здесь добры и хороши…

С Ал. Гитовичем, с его армянскими друзьями мы отпраздновали в Ереване Октябрьскую годовщину. Александр Ильич с женой жил в гостинице «Армения», расположенной на площади Ленина. Из окна гостиницы он видел парад и написал потом стихотворение «Военный парад в Ереване», опубликованное в «Звезде» (1966, № 5). «Мне, — говорил Гитович об этом стихотворении, — оно дороже многих удач. В нём как бы соль всего того, что мне хотелось сказать об Армении…»

Александр Ильич подружился в Ереване с известными художниками Арутюном и Армине Галенцами[1] и часто бывал у них в мастерской на улице Маштоца. Арутюн Галенц сделал великолепный портрет Гитовича. Художник изобразил его сильным и добрым. Это была сила многое пережившего человека, и доброта была от силы и оттого, что многое пережито. Художник хотел, по-моему, сказать о человеке, прошедшем через жизненные испытания и сохранившем душевную стойкость. Портрет очень понравился Гитовичу, хотя я замечал, что часто портреты Галенца не нравились тем, кого он писал. Галенц никогда не льстил оригиналу. У Гитовича есть стихотворение, обращённое к этому своему портрету:

Отчётливо-твёрдо
Представилось мне:
Такому бы чёрту
На добром коне
Лететь в бездорожье
Навстречу врагу.
И проседь похожа
На бурку в пургу.

— Моя поездка в Армению была бы оправдана уже только тем, что я увидел здесь работы Галенца, — говорил Александр Ильич.

Он посвятил Галенцу, его живописи несколько проникновенных стихотворений. Гитович подарил художнику свою фотокарточку с характерной надписью: «Великому и внезапному другу — Галенцу. 6.XI.65 г. Ереван».

Гитович хотел, чтобы в готовящуюся тогда книгу «Пиры в Армении» вошли и его переводы с армянского. Он перевёл несколько стихотворений Ов. Шираза и намерен был продолжить свою работу. В Ереване он встретился с Ширазом и прочёл ему своё блестяще написанное шуточное стихотворение «Воображаемое свидание с Ованесом Ширазом», стихотворение о том, как за дружеским столом пируют два поэта:

И, радуя голодный глаз,
Блестят маслины, как глаза армянки…

---

[1] Арутюн Галенц — выдающийся советский армянский художник, детство и юность которого прошли на чужбине. В 1946 году Галенц в числе многих тысяч армян-репатриантов вернулся на родину, где и раскрылся полностью его талант художника.

Юмор — характерная черта таланта Ал. Гитовича. С особой силой проявилась эта черта в его стихах, посвящённых пиршествам, где вино воспевается в традициях восточных классиков, как напиток жизни, как нечто чудодейственное.

* * *

Интересно говорил Александр Ильич о своей работе переводчика:

— Я переводил китайских поэтов долго. Но когда стали просить переписать переводы, я понял, что справился с задачей: китайские классики стали интересовать русского читателя.

— Современные китайские поэты пишут слабо. Я их читаю, и такое ощущение, словно они жили до нашей эры. Но когда перевожу поэтов, живших до нашей эры, они мне друзья, словно вчера я с ними пил.

— Переводчик выражает в переводимых стихах свои мысли, свои настроения. Переводчика можно сравнить с писателем, который пишет исторический роман. Например, Фейхтвангер в исторических романах выражал современность. Так и переводчик выражает сегодняшний день, когда он переводит поэтов прошлых лет.

— Я прочёл сегодня о том, как сказал Заболоцкий о подстрочниках. Подстрочник — это развалины Колизея. Лучше не скажешь.

— Больше всего мешает делу перевода то, что достигнут некий средний уровень перевода. Ужасно, что иногда переводят из-за денег.

Запомнились и некоторые другие мысли Ал. Гитовича:

— Ду Фу я люблю больше, чем Ли Бо.

— Лучшее, что написал Горький, — это «Клим Самгин». У меня есть собрание сочинений Горького и отдельное издание «Жизни Клима Самгина». Когда хочется что-нибудь почитать для себя, перечитываю «Клима Самгина».

— Я очень много видел гор. Но Арарат я чувствую. У меня такое ощущение, что он всё время рядом. Просыпаюсь утром — и будто рядом Арарат…

Александр Ильич говорил, что теперь он ежегодно будет приезжать в Армению. Он написал стихотворение:

Я весною вернусь в Ереван,
А пока под надзором жены
Путешествует мой караван
По снегам от сосны до сосны.

Я весною вернусь в Ереван,
Надо только дожить до весны.

В мае 1966 года он писал: «Через четыре месяца, через 120 дней, — я прилечу в Ереван. В конце концов, не так уж долго ждать». Но девятого августа поэта не стало. Остались стихи, осталась дружба.

Амо Сагиян однажды заметил:

— Когда кто-то умирает, я думаю, что надо жить по-другому. И когда напишу стихотворение, решаю жить иначе. Хочется и самому быть лучше, и людей видеть хорошими.

Перечитывая стихи Александра Гитовича, думая о его жизни, понимаешь, как необходимо быть добрым. Хочется и самому быть лучше, и людей видеть хорошими.

1967

Каким я знал Арутюна Галенца

В первых числах сентября 1959 года в номере ереванской гостиницы «Армения» Илья Григорьевич и Любовь Михайловна Эренбурги спрашивали у меня об одном художнике. Зовут художника Галенц, они видели его работы в Москве и теперь хотели бы побывать у него в мастерской.

Эренбург был удивлён, что я, ереванец, не знаю такого художника.

Прошло несколько дней, я пришёл к писателю записать беседу для газеты «Коммунист». Эренбург говорил об армянских художниках — об Овнатаняне, Сарьяне… Сказал о Галенце, мастерскую которого помог ему разыскать Геворк Эмин.

В понедельник 14 сентября Эренбург вылетел в Москву. Среди провожающих был Арутюн Галенц. Мы познакомились. Я стал бывать у него в мастерской. Полотна Галенца поразили меня. Я не был ни любителем, ни знатоком живописи. И тем не менее, один раз увидев работы Галенца, я остро почувствовал их силу. У меня то и дело возникало желание ещё и ещё раз взглянуть на тот или иной пейзаж, портрет — и так до тех пор, пока я не запоминал картину. Многие полотна всегда передо мной. Так читаешь и перечитываешь хорошие стихи, запоминаешь их — и затем повторяешь полюбившиеся строки по памяти.

* * *

Во всём облике и окружении Галенца было что-то праздничное и что-то трагическое. В его глазах — очень выразительных — всегда жила радость и печаль, глубокая, какая-то изначальная.

Галенц был щедро талантлив и словно специально был создан для того, чтобы радоваться и радовать людей. А жизнь была трудной. Он, как и Гейне, мог бы сказать, что у него «таланта нет к страданьям», мог бы, как и немецкий поэт, сказать о своих муках, своём недоумении:

Прости, но твоя нелогичность, господь,
Приводит в изумленье.
Ты создал поэта-весельчака
И портишь ему настроенье!

Галенц жаждал гармонии, а его раздирали противоречия. Если что-то его огорчало, он горячо спорил, возмущался. На доводы отвечал ещё более сильным возмущением. В такие минуты с ним было тяжело. Порой мне казалось, что он хочет спора, что ему надо «выкипеть», чтобы успокоиться и начать работать.

* * *

Случалось, я писал по просьбе Галенца письма. Он мне говорил, о чём надо написать, а мне следовало изложить всё это по-русски. Прежде чем подписать письмо, Галенц просил перевести ему каждое слово, каждую фразу на армянский язык. По мере того как я переводил, он мрачнел:

— Ты же любишь поэзию, знаешь стихи, а письма написать не можешь. Разве так пишут? Я художник — смотри на мои работы и пиши. Ты пишешь так, словно совсем не чувствуешь красоты, словно не уважаешь человека, которому пишешь…

Галенц хотел, чтобы письма, как и его полотна, были яркими. Он требовал, чтобы я исправлял написанное эпитетами — самыми броскими, самыми красочными… Я боялся быть сентиментальным и писал сдержанно. Ведь сам Галенц никогда не был сентиментальным. Его бросающаяся в глаза яркость — скупа, иногда скупа до конспективности.

* * *

Если письмо нравилось Галенцу, то он дописывал его рисунком. Делал это Галенц по-своему. Он просил меня провести какую-нибудь линию — надо было её провести смело и произвольно. Галенц мгновенно решал, какая тема задана линией (он ведь во всём видел рисунок, набросок к рисунку), и тут же рисовал либо романтического злодея с чёрными усами, либо прекрасное женское лицо, либо мальчика с печальными глазами…

Однажды с Галенцем слушали скучнейшую лекцию, то есть лекцию мы сразу же перестали слушать и увлеклись игрой. Стулья в зале были обиты красным бархатом. Я проводил мизинцем по бархатной спинке впереди стоящего стула линию, Галенц сразу же придавал ей смысл, набрасывая рисунок. Готовые рисунки он стирал, разглаживая бархат, и просил провести новую линию.

* * *

Александр Дымшиц написал о Галенце одну из первых статей в центральной прессе, написал горячо, влюблённо. «Удивительный Галенц» — так называлась статья Дымшица. Художник был очень рад ей: «Пусть больше будет людей, понимающих искусство, как Дымшиц, и всё будет прекрасно».

Осенью 1962 года состоялась выставка Галенца. Его работы были приняты исключительно горячо. Месяц выставки был месяцем триумфального утверждения Галенца.

* * *

Ещё раньше, в конце декабря 1960 года, Галенц нарисовал пригласительный билет для предполагаемой выставки его работ и работ его жены Армине. Чёрно-белый рисунок тушью не понравился некоторым искусствоведам: на пригласительном билете был нарисован среди прочего милейший ослик и юноша в узорных вязаных носках, сидящий под деревом с розой в руке. Критики, привыкшие во всём видеть подтекст, решили, что роза — это искусство, а ослик — это искусствоведы, не понимающие искусства. Встречаются, конечно, и такие искусствоведы. Галенц, однако, не имел их в виду.

— Как же я мог изобразить искусствоведа в образе этого ослика. Это же не ослик, а лань! Разве ты не видишь, что я рисовал его с любовью, это же — лань… Если бы я писал критика, я бы по-другому это сделал. Но тот, кто так объясняет мой рисунок, на самом деле не понимает искусства…

* * *

Галенцу трудно было работать «для себя». Были периоды, когда кисть художника не притрагивалась к холсту. Армине старалась в такие дни «спровоцировать» его на работу, просила написать портрет кого-либо из знакомых. Иногда в роли посредника выступал я. Так были написаны портреты поэта Ваагна Давтяна, писателя Хачика Даштенца, русского поэта Александра Гитовича. Галенц поначалу сердился, принимался за работу неохотно. Но затем работа его увлекала, и он потеплевшими глазами смотрел на меня, просил о чём-либо рассказать, шутил.

Галенц говорил: на невнимание критиков он хочет ответить тем, что не будет работать, утаит от них свой дар и так отомстит им за равнодушие. Его мысль об отмщении молчанием перекликается со стихами Марины Цветаевой.

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени

На стенах.
Может быть, отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал,
А может — лучшая потеха
Перстом Себастиана Баха
Органного не тронуть эха?..

Конечно, художник не может утаить себя, не может не выразить себя, и тем более — не может мстить. Галенц знал, что его искусство нужно людям. Он хотел, чтобы это было понятно, хотел и имел на то право.

* * *

Для большой тематической выставки Галенц писал портрет воина. Ему нужен был солдат, который бы позировал. Мы с ним отправились в Ереванский Дом офицеров. Приняли нас приветливо. Через полчаса за нами прислали «виллис» — и мы поехали в одно из подразделений. Когда дежурный офицер выстроил солдат и пригласил нас пройти вместе с ним перед строем, Галенц сильно смутился, сказал, чтобы я сам попросил кого-либо позировать ему. Мне понравился молодой сержант. Он несколько раз приходил к Галенцу. Художник сделал эскизы, а затем уже по эскизам написал портрет молодого воина.

* * *

У Галенцев всегда было много гостей. К ним приходили посмотреть картины, посидеть, поговорить. Здесь я познакомился с Андраником Царукяном, зарубежным армянским писателем, другом Галенца по Бейрутскому приюту для сирот[1].

Царукян приехал на несколько дней из Бейрута. Он говорил об увиденном в Армении:

— Сегодня я был на границе и видел молодых русских ребят, которые с автоматами в руках стояли на страже нашей земли. Мне хотелось расцеловать их…

* * *

Галенц познакомил меня со священником и, чтобы смутить последнего, сказал:

— Знаешь, он коммунист!

Священник, интересовавшийся живописью, сразу же нашёлся:

— Главное — он сын своего народа!

— Но он выступает против церкви, — подзадоривал священника Галенц.

Он любил пошутить и сам ценил юмор, шутку. Ему очень нравилась притча о нищем страннике. Жители одного из сёл, куда пришёл странник, были погружены в заботы о заболевшем помещике. Изголодавшийся чужестранец объявил себя врачом, велел принести хлеба, масла и мёду, походил вокруг больного, съел всё, что было принесено, и лёг спать.

Ночью разбудили странника и сказали, что помещик умер.

— Если бы я не стал его лечить, — заметил странник, — умер бы ещё один человек.

* * *

Галенц с удовольствием рассказывал историю о том, как некий юноша обучался премудростям ремесла у знаменитого скорняка. Потолкавшись в мастерской несколько дней, юноша вдруг исчез.

---

[1] См.: Царукян Андраник. Люди без детства. Пер. с западноармян. Булат Окуджава. М., 1964.

— Что же случилось с мальчиком? — спросил озабоченный мастер у родителей своего ученика.

— Ничего с ним не случилось, — ответил отец. — Он уже знает, как шить папахи. Надо сшитую папаху натянуть на колодку и поставить на солнце сушиться.

— Ах, вот оно что! — удивился мастер. — Этот паршивец не только сам выучился шить папахи, но и тебя успел выучить.

…Не знаю, было ли известно Галенцу сетование Мовсеса Хоренаци, историка V века: «Ученики ленивые в учении и скорые на наставление других», но его волновала та же мысль о недоучившихся учениках, возомнивших себя учителями.

* * *

— Курдянки с их пёстрыми юбками, сшитыми из шёлка разных цветов (один цвет с большим искусством накладывается на другой), чувствуют цвет гораздо лучше некоторых наших художников, — говорил Галенц.

* * *

Как-то пришёл к Галенцу приехавший из Москвы искусствовед с местным гидом-переводчиком, который всё гремя говорил Галенцу:

— Этот человек очень хорошо разбирается в живописи, очень!

А человек всё время что-то говорил, «разбирал» полотна, перечислял школы, направления. И делал всё это с лёгкостью необыкновенной.

И когда чуть ли не в десятый раз было сказано: «Этот человек очень хорошо разбирается в живописи, очень!» — Галенц рассердился:

— А вот я пятьдесят лет занимаюсь живописью и не могу сказать, чтобы очень хорошо в ней разбирался.

* * *

Встречаясь с Галенцем, я записывал (к сожалению, не всегда) его интересные, с моей точки зрения, высказывания.

25 апреля 1962 года мы с Галенцем были в гостях у художника Зомяна. Смотрели работы Зомяна, спорили. Галенц:

— Художник — как путник, который двигается на ощупь, наугад. Когда встречаются люди, понимающие искусство, и говорят своё мнение о наших работах, они указывают нам, куда мы идём и правильно ли идём, верно ли нами избран путь.

* * *

27 апреля. Галенц говорил, что два месяца не работает, что его тошнит от красок.

— Может, я болен? — спрашивал он.

Говорил, что часто ходит в кино, что его интересуют мимика, движения, световые эффекты, игра.

— Фильмы на русском языке я прекрасно понимаю, хотя почти не знаю языка.

В этот же день настойчиво просил, чтобы я помог ему достать чудодейственную книгу «Вецазарамия». Говорил, что это древние рукописные книги. Всего их три. Любое желание обладателя книги, как уверял Галенц, может исполниться.

— Мне очень нужна эта книга. Я бы по-другому стал работать и жить.

* * *

1 мая были в гостях у известного критика и литературоведа Гранта Тамразяна. Галенц был весел, рассказывал разные забавные истории из своей жизни в приюте. Просил Тамразяна достать ему «Вецазарамия». Речь зашла о современной живописи:

— Надо писать так, чтобы можно было повесить свою работу рядом с полотнами Рафаэля.

* * *

5 мая.

— В поэзии легче выразить свои чувства, — размышлял Галенц. — «Я дам тебе солнце, дам вселенную, моя дорогая…» В живописи этого не скажешь… Знаешь, если я создам три картины, о которых мечтаю, этого вполне будет достаточно.

* * *

26 июня вместе с Галенцем были у доктора филологии Арама Инджикяна.

Читали «Лилит» Аветика Исаакяна. Галенц говорил, что напишет Лилит, что Лилит — мечта, а Ева — реальность. Нельзя, говорил Галенц, лишать человека мечты, надо, чтобы небо принадлежало человеку.

* * *

В начале октября спорили в мастерской Галенца о живописи, о профессиональном мастерстве.

— Нельзя учиться живописи, — утверждал Галенц. — Человек, который умеет грамотно читать и писать, ещё не писатель. Так и живописи нельзя выучиться. Можно овладеть техникой, грамотой письма, а этого мало.

В этот же день, теперь уже не помню, по какому конкретному поводу, я сказал, что только в минуты творчества, в часы творческого озарения проявляется гений человека. Вспомнил Пушкина:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон…

Галенц часто вспоминал стихи Пушкина, просил повторить их и говорил, что надо работать.

Галенц любил слушать стихи. Однажды я ему читал Есенина и переводил прочитанное подстрочно на армянский язык. Жена художника Армине часто читала вслух армянские стихи. Галенц любил слушать «Книгу скорби» Григора Нарекаци.

* * *

14 октября. Были с Галенцем у Мариэтты Шагинян в гостинице «Армения». Писательница встретила Галенца радостно.

— Я хочу о нём написать, но сейчас писать не буду. О нём теперь много пишут. Мне надо будет изучить его работы. Дымшиц о нём написал восторженно. Позировать Галенцу буду. Это очень талантливый художник.

Вечером того же дня были с Галенцем в Институте физики у А. И. Алиханяна. Здесь показывали старые фильмы Чаплина. Галенц восхищался искусством гениального актёра.

* * *

22 октября. Весь день с Галенцем.

— Давай, — мечтал Галенц, — вместе поездим по России, поживём в Москве. Я буду много работать, а ты будешь писать статьи…

— Люди, хорошо понимающие искусство, говорят мне, что я очень хороший художник. Не знаю, правда ли это? — спрашивал Галенц.

* * *

25 октября. Спорили о работе одного художника «Война».

— Война, — горячился Галенц, — это разрушение жизни, разрушение гармонии, поэтому надо показывать не только разрушение, но и красоту, и гармонию. Иначе войну не изобразить. Ведь не случайно мы, имеющие атомные бомбы, когда говорим о войне, говорим не только о силе, но и о детях, о матерях.

* * *

6 ноября, утром.

— Вчера пришёл ко мне писатель, смотрит на мои работы и говорит, что у нас в Армении есть ещё и другие художники. А кто говорит, что их нет? — возмущался Галенц. — Это ведь всё равно что больной пришёл к врачу, а врач, вместо того чтобы осмотреть его, заявляет, что у него в больнице много других больных.

* * *

23 февраля 1963 года. Пришёл к Галенцу один из его знакомых, тщетно пробовавший рисовать.

— Этот человек, — улыбнулся Галенц, — всё хочет рисовать. Я ему говорю: давай вместе найдём лекарство от облысения, а он не хочет.

…Галенц показал мне книгу «Искусство Армении» (М., 1962), где ни слова не было о нём.

* * *

28 ноября 1964 года. Галенц не работает.

— Когда холодно, не могу работать. Да и зачем работать? Некуда девать картины. В Ленинграде я однажды так замёрз, что чуть было не заплакал.

* * *

27 декабря. Галенц говорил, что искусство, бесспорно, должно быть современным, но и масштабным, как произведения классические.

— Какая же современность, если всё (и тема, и характеры) мелко…

Вечером читали стихи Ильи Эренбурга. Очень понравились Галенцу стихотворения «В зоопарке Лондона», «К вечеру улёгся ветер резкий…».

* * *

5 апреля 1965 года. Галенц ждал меня и писателя Гургена Маари. Мы договорились, что Галенц напишет портрет Маари. Но случилось так, что Маари не смог прийти (потом он об этом сожалел).

Галенц был в этот день грустен.

— Думаю о своей жизни. И думаю о том, кем я был тысячу лет назад и где я был. Не могу сказать, что моё «я» вообще не существовало, но и нельзя сказать, что оно было в те далёкие времена.

* * *

10 апреля. Галенц говорил о Майе Плисецкой.

— Я видел её в кино, видел в Большом театре. Она меня поразила. Я хочу изобразить на холсте её движения, её танец. Но вместе с тем я не стану писать танцующую Плисецкую. Танец, движения надо изображать как-то иначе.

Говорил также о том, что в связи с пятидесятой годовщиной армянской резни, учинённой турецкой реакцией, он хотел написать картину, что долго думал над этой темой и понял: в живописи не отразить эту тему. Можно написать книгу, снять фильм, но на холсте не изобразить всей трагедии.

* * *

В конце октября Александр Гитович с женой, Галенц и я поехали в Гегард. Галенц смотрел на Гегард, окружённый горами, и говорил, что приедет сюда писать. Горы — большие, задумчивые. Чёрные каменные глыбы оттеняли краски немногословного осеннего пейзажа. Особый колорит придавали ему небольшие, пробившиеся сквозь камень, редко стоящие деревья густого тёмно-красного цвета. Они, как свечи, стояли на горных кручах, объятые красным пламенем. У Галенца есть такие пейзажи с одиноко горящими красными деревьями.

Во дворе Гегардского монастыря мы видели барана с надрезанным ухом — барана готовили для жертвоприношения. У ворот монастыря росло деревцо, сухие ветки его были обвешаны разноцветными лоскутками ситца. Говорят, надо отрезать кусочек от своей одежды и привязать к ветке дерева, так, мол, можно избавиться от хвори.

Гитович написал затем стихи о Гегардском монастыре.

Здесь позабудешь ты о многом:
Здесь не монахи, а жрецы
Бредут за каменным порогом,
И жертвенная кровь овцы —
Насмешка идола над богом —
Течёт в унынии убогом,
И спят в пещерах мертвецы.

* * *

14 апреля 1966 года. Сказал Галенцу, что стихи Гитовича, посвящённые ему, будут опубликованы в ближайшем номере журнала «Звезда». Прочёл стихотворение Гитовича по памяти.

— Левон такой толстый, — заметил Галенц, — потому что в нём много стихов. Он — как толстая книга, в которой много листов. Если он не будет запоминать стихи, сразу похудеет, станет тонким-тонким.

* * *

16 августа. Весь день Галенц говорил о живописи, об искусстве:

— Природа прекрасна, но я не могу работать. Почему-то многие люди не ладят с природой. Они даже не видят её красоты, не любят прекрасного, не признают гармонии. В музыке стали ценить какофонию, в живописи — бессмысленность, уродство. Рисуешь прекрасное лицо — равнодушно отворачиваются, это, мол, мы видели. А если искажаешь линии, обнажаешь ущербное, болезненное — восхищаются. Этот вопрос очень меня волнует. Я не могу работать.

* * *

25 августа. Пришёл к Галенцу с монгольским поэтом и переводчиком М. Цэдэндоржем. Цэдэндорж говорит, что горы Армении, её долины похожи на Монголию. Смотрит на работы Галенца и замечает, что краски Монголии такие же яркие, что Рерих жил в Монголии и писал её пейзажи.

Цэдэндорж читает по нашей просьбе свои стихи. Затем подстрочно переводит одно из стихотворений на русский язык:

Два полюса — полюсы жары и холода.
Ты говоришь, холодно.
Но что может быть холоднее горя?
Два полюса — полюсы жары и холода.
Ты говоришь, жарко.
Ты говоришь, очень жарко.
Но что может быть жарче любви?

…Галенц с интересом слушал рассказ Цэдэндоржа о том, что водку делают в Монголии из молока и что это очень распространено. А в конных скачках принимают участие всадники от трёх до семи лет, дети постарше не допускаются к соревнованиям. Малыши скачут около тридцати километров, обгоняя друг друга.

Цэдэндорж горячо интересовался рукописями Матенадарана, армянскими рукописными источниками о Монголии, интересовался армянской поэзией, которую собирался переводить на монгольский язык. Работы Галенца восхитили монгольского поэта.

— Я приехал в Армению, — говорил он, — чтобы познакомиться ближе с её поэзией. В мастерской Галенца я понял армянскую поэзию.

* * *

11 декабря. Были с Галенцем в гостях у скульптора Арамика Гарибяна. Встретили здесь одного из армянских художников, который по-восточному витиевато говорил:

— Галенц, я рад, что ты есть. Ты есть — и я себя хорошо чувствую. Ты — талант. Тронь тебя в любом месте — обнаружишь талант… Галенц, я, как Нарекаци, говорю своё слово из глубин сердца, всё делаю для страны, но нет отклика… Знаешь, Пикассо во время недавнего своего юбилея сказал, что в Армении есть такой-то художник — назвал меня… Это волнует меня.

— Меня тоже это волнует, — сказал Галенц. Он слушал цветистый монолог собеседника доверчиво, его большие глаза выражали доброту.

* * *

27 декабря 1966 года.

— Ты знаешь, сейчас художники и писатели пишут против науки. Наука должна оправдать себя. Создание атомной бомбы — это большое достижение науки, но ведь мир может погибнуть.

Я сказал, что не надо писать против науки.

— Значит, своим студентам ты неправильно объясняешь самый острый вопрос времени.

В этот же день:

— Левон, не знаешь ли ты какого-нибудь хорошего врача? Что-то настроение у меня плохое. Поэтому и не работается.

* * *

В первых числах мая 1967 года. Галенц — весёлый, радостный — пришёл к нам домой. Звал к себе, говорил, что приглашает на весь день, что я редко стал у него бывать. Я куда-то спешил, и мы договорились, что приду к нему в ближайшее воскресенье…

* * *

В среду 10 мая 1967 года хоронили Арутюна Галенца. Умер он внезапно, от инфаркта. Гроб с телом Галенца у вырытой могилы. Земля сухая, каменистая. Произносят речи. Ветер кружит сухую пыль. Это перегоревшая глина, ставшая пылью, бесцветным серым порошком.

По традиции присутствующие берут горсть земли и бросают на гроб. Но земли нет, одни лишь камни да пыль выжженной, выцветшей глины. Пыль тут же уносит ветром, в руках остаются камни, припудренные глиной. Камни гулко стучат о гроб. Хочу бросить горсть земли на гроб друга. Но земли нет… «Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья…» Арутюн Галенц всей своей жизнью проповедовал любовь к земле и к людям. Как добывают из земли золото, так он извлекал из неё прекрасное.

1969

Илья Эренбург. Две встречи

1

В начале 50-х годов роман И. Г. Эренбурга «Буря» вышел в свет в чёрном переплёте с красной и золотой молниям на корешке. Я не был книгочеем, мне подарили роман, и я прочёл его. Тогда я не мог, конечно, предположить, что пройдёт совсем немного лет и я познакомлюсь с автором «Бури» Эренбургом.

В мае 1941 года в газетной заметке о Дениз, героине романа «Падение Парижа» (роман тогда ещё заканчивался), Илья Эренбург рассказал о том, как верная дочь Франции в оккупированном Париже услышала голоса миллионов соотечественников и под их диктовку стала писать о родине, революции, народе… «Ей казалось, — писал Эренбург, что она слышит голоса солдат, которые бродят по полям, всеми брошенные, голоса беженцев, потерявших всё, кочующих по вытоптанным полям, среди братских могил и развалин. Маленькая одинокая женщина в пустом городе писала под диктовку миллионов. Мечта писателя — писать, как писала Дениз».

Эта коротенька заметка о Дениз была, быть может, последним выступлением Эренбурга в печати в мирное, довоенное время. Меньше чем через месяц началась война, и уже на следующий день появилась первая статья Эренбурга. Было написано за войну до трёх тысяч статей — почти две статьи в день! Писались они для миллионов читателей и под диктовку миллионов.

В жизни любого писателя бывают периоды особенной творческой активности. Для Эренбурга таким периодом были годы войны.

В 1959 году я собирал материалы для сборника «Аветик Исаакян в русской критике». В одной из газет я обратил внимание на небольшую заметку Эренбурга об армянском поэте. Мне хотелось, чтобы он написал об Исаакяне статью. Послал Эренбургу письмо. Вскоре пришёл ответ:

Москва, 25 июня 1959.

Дорогой товарищ Мкртчян!

Сердечно благодарю Вас за Ваше письмо! Поэзия Исаакяна такое большое и сложное явление, что писать о нём наспех мне не хотелось бы, а времени у меня сейчас очень мало: завтра снова уезжаю за границу. Я надеюсь, что осенью мне удастся осуществить моё давнее желание и побывать в Армении. Рад буду там с Вами встретиться.

И. Эренбург.

Получив такое письмо, я стал думать, как бы не прозевать приезд Эренбурга. Четвёртого сентября того же года, узнав по счастливой случайности, что Эренбург в Ереване, я поспешил к нему в гостиницу «Армения». Оказалось, что он и Любовь Михайловна только прилетели и ещё мало кто знает об их приезде.

Беседовать с писателем было легко. Думалось, что он будет говорить непререкаемо, что за многие годы жизни и борьбы ему открылась истина, он всё себе уяснил, всё знает. Но оказалось, что и ему знакомы сомнения. Иногда он спрашивал: «Вы так думаете?» — и замолкал. И ещё мне показалось (может быть, я ошибаюсь), что Эренбург принимал или не принимал людей, явления литературы и искусства целиком, без оговорок.

Эренбург доверял собеседнику. Создавалась атмосфера абсолютной непринуждённости, чему способствовали также душевность и строгая простота Любови Михайловны.

Вечером 4 сентября я засиделся у Эренбургов допоздна. Утром следующего дня, когда в редакции республиканской газеты я рассказал о своей беседе, мне посоветовали написать о приезде Эренбурга и разговоре с ним. Я позвонил писателю и попросил разрешения на заметку.

— Я не скрываю, что приехал в Армению, можете написать, — весело ответил Илья Григорьевич.

В моей заметке (она была опубликована), в частности, говорилось:

«— Побывать в Армении, — сказал писатель, — моё давнишнее желание. В Ереване я впервые, но знаком с высокой культурой армянского народа, древнейшими архитектурными и литературными памятниками. О том, как я ценю Мартироса Сарьяна, я писал…

Эренбург особенно интересуется творчеством Исаакяна и Чаренца.

— Я видел здесь перед школой памятник Чаренцу, которого знал при жизни… С кем бы его сравнить из русских поэтов? — спрашивает Илья Григорьевич и сам же отвечает: — С Маяковским и Багрицким. Только жаль, что Чаренца и других армянских поэтов плохо переводят на русский язык…

— Нет ли переводов Исаакяна на французский? Французы, — продолжает Эренбург, — переводят ритмической прозой, не рифмуют, но верно передают мысль и образы…»

Один из работников университетской библиотеки, познакомившись с газетным сообщением, достал поэму Исаакяна «Абул Ала Маари» на французском языке и попросил, чтобы я передал её Эренбургу.

— Судя по переводу, — сказал Эренбург, — Брюсов и Антокольский кое-что добавили, чтобы сохранить рифму. Из лирики Исаакяна есть хорошие переводы Блока.

— Очень сильная и очень ницшеанская вещь, — сказал Эренбург, перелистывая французское издание «Абул Ала Маари» — поэмы, на мой взгляд, отнюдь не ницшеанской.

О Брюсове Эренбург говорил как о поэте лично ему не близком. Сказал, что знаком с брюсовской антологией «Поэзия Армении», что она у него есть, но ему нравятся не все переводы. Позже, цитируя «Абул Ала Маари», Эренбург писал: «Это — перевод Брюсова, один из лучших, но всё же помеченный тяжёлым шагом поэта, который назвал свою мечту “волом”. Я прочитал давно поэму о багдадском Мэто во французском переводе, там не

было рифм и поэтому более верными были эпитеты и внутренний ритм стиха. Часто потом я вспоминал Абул Ала Маари. Кто же, прочитав эту поэму, скажет, что поэзия Армении носит ограниченно национальный характер?»

Эренбург считал, что с иноязычной, переводной литературой лучше всего знакомиться на французском языке.

— Мне кажется, Назым Хикмет по-русски звучит плохо, а по-французски очень сильно. Пабло Неруда — тоже, хотя я немного читаю по-испански и имею возможность прочесть Неруду в оригинале[1].

Эренбург говорил, что вообще трудно переводить, что есть хорошие переводы у Пастернака, Маршака, Мартынова, что Пастернак хорошо перевёл грузинских поэтов, но опастерначил их, хотя классики грузинской поэзии у него переведены лучше.

— Плохо, — сказал Эренбург, что все переводят сегодня с татарского, а завтра с узбекского. Плохо, когда переводчики — плохие поэты.

Эренбург говорил, что он не знает современной армянской поэзии: нет переводов. Я назвал русские издания стихов Ованеса Шираза и в ответ на просьбу Ильи Григорьевича прочесть какое-либо стихотворение вспомнил четверостишие Шираза:

Не на языке — в сердце ты моём,
Глубоко на дне ты сокрыта в нём.
Рассеки его — хлынет из глубин
Твой багряный стяг кровью и огнём.

(Перевод Т. Спендиаровой)

Эренбург интересовался, близко ли перевёл Исаакяна Блок, и, узнав, что переводы конгениальны, сказал:

— Лучше Блока, очевидно, никто Исаакяна не переводил.

Когда один из местных литераторов заметил, что, по его мнению, Куприн и Леонид Андреев обладали не меньшим, чем Горький, талантом, но он у них не получил верной направленности, Эренбург возразил:

— Я бы этого не сказал. Если взять «Мои университеты», «Детство», «В людях» да и многое другое, — то Горький, как и Бунин, на первом месте. После Бунина и Горького я бы поставил на третье место… — Эренбург задумался — …не знаю, Куприна или Андреева.

Эренбург, как мне показалось, не любил позднего Андреева, не любил его пьесы, хотя «Любовь к ближнему» назвал психологически сильной вещью.

Говорили о Марине Цветаевой. Илья Григорьевич сказал, что Цветаева входит в первую десятку поэтов XX века.

— А знаете ли вы Осипа Мандельштама, его стихи и прозу об Армении?

Естественно, я заинтересовался Мандельштамом. Некоторые его стихотворения нашёл в известной антологии Ежова и Шамурина. Позже были прочитаны стихотворные сборники Мандельштама и его, теперь уже широко известные, стихи и проза об Армении.

2

В антологии Ежова и Шамурина были стихи и самого Эренбурга.

— Сейчас, — сказал Илья Григорьевич, — выходит новая книга стихов. В ней 18 новых стихотворений!

(Речь шла о книге: Илья Эренбург. Стихи. 1938 — 1958, М., 1959).

---

[1] Б. Слуцкий пишет, что Эренбург владел испанским в совершенстве, что «эти два языка (французский и испанский. — *Л. М.*) Илья Эренбург знал, как только можно знать язык». — См.: Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. М., 1969, с. 7.

Забегая вперед, скажу несколько слов об этой книге. В университете мною был прочитан доклад о поэзии Эренбурга. О прозе говорила ныне покойная Анжела Симонова — красивый человек и литератор.

Мне нравились точные, афористичные стихи:

И пуд мы съели — не по нашей воле —
Такой солёной, что не скажешь, соли.

Я и сейчас без волнения не могу читать такие, например, строки:

Когда я был молод, была уже война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я всё же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

Знаю, что есть литераторы, которые считают стихи Эренбурга его слабостью, говорят, что они ему не удавались. Но значит ли это, что я должен скрывать своё отношение к стихам, которые мне нравятся?

Стихи Эренбурга суровы и мужественны. Так же суровы, как жизнь. Одно из стихотворений Эренбурга помогло мне лучше понять Аветика Исаакяна. О 9 мая 1945 года было написано великое множество стихов. Были о Дне Победы стихи и у Исаакяна. Стихотворение кончалось печально:

…Пьют, и на лицах веселье горит,
Звонко стакан лишь стучит о другой,
Тихо один тут отец говорит:
«Пью за сыновней души упокой!»

Строго смолкают на слово отца,
Шапки снимают пред тостом таким,
Молча за мёртвого пьют храбреца,
Хлеб омывая вином золотым.

(Перевод Н. Тихонова)

Некоторым критикам не понравилась такая концовка —они считали её неуместной. В сборнике Эренбурга я обнаружил стихи, в которых ещё определённее и резче говорилось о том, что за победу было заплачено жизнью:

Она была в линялой гимнастёрке,
И ноги были до крови натёрты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был чёрный хлеб белее белых дней,
И слёзы были соли солоней.

Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины сидели и молчали.

Меня эти строчки сердечно взволновали, как взволновала вообще вся книга. В одном из стихотворений Эренбург сказал о солдате, который погиб

За то, что есть дерева грустного шелест,
За то, что есть смутная русская прелесть…

Военные стихи Эренбурга выстраданы, пережиты.

Я написал Эренбургу о книге его стихов. Письмо было наивным, но искренним.

Дорогой Левон! — коротко ответил Илья Григорьевич. — Меня очень тронуло Ваше письмо. Мне радостно было услышать доброе слово о моих стихах. Сердечно Вам за него благодарен.

Вам большой привет от Любови Михайловны. Желаю Вам всего доброго.

Ваш *Илья Эренбург*

Эти несколько слов были написаны 9 июля 1960 года. Вернёмся, однако, к тем сентябрьским дням 1959 года, когда Илья Эренбург был в Ереване.

3

За несколько дней до отъезда Эренбурга я взял у него интервью для одной из ереванских газет. Понятно, я волновался, хотел пойти к нему со стенографисткой, которая бы записала его ответы. Но Илья Григорьевич успокоил меня, заметив, что сами как-нибудь справимся. Моё волнение объяснялось и тем, что накануне Эренбург сказал:

— Я теперь требую от корреспондентов письменных вопросов и отвечаю на них письменно, иначе всё переврут. Но вам я верю.

Я пришёл к Эренбургу поздно вечером. Он, по существу, продиктовал мне нашу небольшую беседу. А когда я спросил, как же озаглавить статью, Илья Григорьевич улыбнулся:

— Страна древней и новой культуры — так и назовите.

В редакции были рады интересному материалу. Но когда один из сотрудников дошёл до места, где Эренбург говорил, что Сарьян сейчас наиболее крупный советский художник, он сразу же захотел исправить: «Сарьян сейчас один из крупных художников». Я стал возражать, разгорячился…

— Это же обыкновенная правка, — успокаивали меня. — Мы сами согласуем всё с Эренбургом.

Однако Эренбург отказался принять осторожную формулировку «один из крупных». Редактор газеты, узнав, в чём дело, заметил, что надо оставить так, как сказано у Эренбурга. И всё-таки кто-то посоветовал несколько переиначить фразу: «Сарьян, по-моему, является сейчас наиболее крупным советским художником…» Против этого «по-моему» Илья Григорьевич не возражал. Интервью напечатали в середине сентября 1959 года.

4

У Ильи Григорьевича Эренбурга, уже 10 дней гостящего в Ереване, говорилось в интервью, накопилось немало интересных впечатлений. Армения — страна, которая, сказал Эренбург, должна изумить любого человека сочетанием древнейшей культуры с большими достижениями в создании новых духовных ценностей.

Сильное впечатление произвела на Эренбурга столица нашей республики.

— Глядя на остатки глинобитных домишек дореволюционной поры, — говорит Илья Григорьевич, — с трудом веришь, что Ереван, этот прекрасный город, построен за советское время. Внимание, которое всегда уделяли архитекторы Армении подбору строительных материалов, удачно гармонирующих с армянским пейзажем, позволило избежать в Ереване той сухости, того эклектизма, которые присущи многим современным городам.

Помимо бурно развивающейся современной Армении с её замечательными людьми-тружениками, — продолжает Эренбург, — разумеется, меня глубоко привлекает и прошлое страны, памятники зодчества эллинистического периода и те памятники, которые относятся к VII веку, когда армянская архитектура была вполне зрелой, самостоятельной, отличной и от византийской, и от романской.

Богат ваш исторический музей, — говорит Эренбург, — он мне помог понять сложную и трудную судьбу армянского народа, его упорство в борьбе за национальную культуру и общечеловеческие ценности. Меня восхитил Матенадаран коллекцией древнеармянских рукописей, искусством миниатюры и рядом работ по эллинистическому периоду нашей цивилизации, который меня особенно интересует. Я с радостью узнал, что в ближайшее время рукописи будут переведены на русский язык.

Эренбург заметил, что, к его большому сожалению, о литературе приходится судить по переводам. У литературы нет того общего для всех языка, который есть у архитектуры, музыки, живописи, а переводы редко достигают уровня оригинала, но всё-таки, несмотря на это, армянская поэзия с давних пор казалась ему, Эренбургу, одним из самых замечательных явлений.

— Говоря об этом, я думаю не только о поэтах старшего поколения, но и о поэте, которого мне лично выпала радость встречать, Аветике Исаакяне… Должен сказать, что был бесконечно рад увидеть недалеко от гостиницы, где остановился, мужественное и прекрасное лицо Егише Чаренца. Перед его памятником я припоминал и встречи с ним в давние годы, и его сильные и вместе с тем нежные стихи. Мне было приятно встретиться также с современными армянскими поэтами — Наири Заряном, Геворком Эмином и другими писателями, которых я знал по их книгам.

Разговор о поэзии естественно перешёл в беседу о природе Армении, строгая и сдержанная красота которой, как сказал Эренбург, напоминает ему столь близкую его сердцу Испанию.

— И эта сдержанная страсть пейзажей Армении чувствуется как в поэзии, так и в живописи.

О живописи говорит Илья Григорьевич особенно тепло, выделяя среди других художников Мартироса Сарьяна.

— Я знал работы Сарьяна по большой выставке в Москве, но то, что увидел здесь, в картинной галерее и в мастерской художника, помогло мне лучше понять всю силу этого редкого мастера, который, по-моему, является сейчас наиболее крупным советским художником. Я рад, что за короткий срок моего пребывания в Ереване мне удалось позировать Мартиросу Сергеевичу, который пишет мой портрет. Это большая честь для меня. Должен сказать, что у армянских художников есть великолепные традиции, достаточно назвать такого крупного мастера, как Овнатанян. И неудивительно, что общий уровень армянской живописи так высок.

Илья Григорьевич видел работы и некоторых более молодых художников. Он сказал, что много смелого и интересного нашёл в творчестве Арутюна Галенца.

В конце беседы Эренбург рассказал о своей поездке на винные и коньячные заводы республики.

— Так как я долго жил во Франции, то несколько разбираюсь в виноделии, и поэтому мне было очень интересно осмотреть винные и коньячные заводы. Они не только хорошо оборудованы. Ваши виноделы отличаются большим вкусом и умением, благодаря этому часть солнца Армении может дойти даже до наших северных мест…

5

В день вылета Ильи Григорьевича и Любови Михайловны в Москву фотограф университетской газеты Эдуард Бежанан сделал несколько снимков. Фотографии были подарены мне, а я их послал Эренбургу. 15 октября 1959 года Илья Григорьевич писал:

Дорогой Левон!

Очень благодарен Вам за снимки. О Вашей просьбе насчёт Исаакяна я помню.

Мне крайне необходимо было получить фотографию моего портрета, сделанного Сарьяном, и фото Сарьяна за работой над ним.

Очень прошу Вас помочь мне достать эти снимки[1].

Сердечный вам привет от Любови Михайловны. Всего Вам доброго.

Ваш *И. Эренбург.*

Конечно, я тут же раздобыл и послал Эренбургу требуемые фотографии.

6

Ещё раз я встретился с Эренбургом в феврале 1961 года в Москве. Помню, позвонил в справочную и попросил номер телефона Эренбурга.

— А как его зовут? — ответила справочная.

Меня очень удивил этот вопрос: не знают, как зовут Эренбурга!

Был я у Эренбургов на улице Горького вечером 22 февраля. Любовь Михайловна и Илья Григорьевич вспоминали Ереван, спрашивали о Сарьяне и Галенце.

Незадолго до этого, в январе 1961 года, общественность страны отмечала 70-летие Эренбурга. Я сказал, что по случаю его юбилея у нас в Ереване были опубликованы статьи Мартироса Сарьяна и Геворка Эмина. Илья Григорьевич просил прислать ему переводы этих статей, вспомнил, что была телеграмма от Наири Заряна.

— Статьи, вышедшие к моему юбилею на русском языке, мне прислали работники библиотеки в специальном альбоме. Вашу статью я прочёл. Хорошо, что вы назвали Галенца. Но вы мне приписали одного художника, которого я не знаю и у которого я не был.

Эренбург говорил, что его речь, которую он произнёс на своём юбилее, передавали по радио рано утром. Поэтому многие речь не слыхали, и, так как я был в числе этих многих, Илья Григорьевич прочёл мне выдержки из своей речи о критике, о читателях, о жизни писателя до и после юбилеев…

Эренбург подарил мне «на добрую память» свою книгу «Путевые записи. Япония. Греция. Индия». Я сразу же обратил внимание на оригинальное оформление книги.

— Ругают художника, сделавшего обложку. А меня не трогают.

Книгу своих стихов на французском языке Илья Григорьевич надписал Армине и Арутюну Галенцам. Дважды подчеркнул, что переводы скверные. (Я вспомнил замечание Эренбурга, что лучше всего знакомиться с переводной литературой именно на француз-

[1] Я получил в Ереване экземпляр, но его взяли в Швеции для печати.

ском, но, очевидно, переводы собственных стихов трудно признать удавшимися.) Илья Григорьевич сказал, что хочет написать о Галенце. Галенц, в свою очередь, хотел написать портрет Эренбурга и просил меня узнать, когда Эренбург может позировать ему.

— В любое время, когда я в Москве. За две недели расписание бывает известно. Позвоните мне, и пусть приезжает.

— Вот, говорят, вышел второй номер «Нового мира». Я ещё не видел. В следующих частях воспоминаний буду писать о Чаренце, о Сарьяне и вообще об Армении.

Позже, 7 мая 1965 года, в коротеньком письме Эренбург сообщал: «До сих пор с удовольствием вспоминаю мою поездку в Ереван и встречи. Очень радуюсь успехам Галенца…».

Больше с И. Г. Эренбургом я не встречался. Уже после его смерти в «Литературной Армении» прочитал отрывок из его книги «Люди, годы, жизнь». То было эссе об Армении, написанное страстно, с глубокой любовью. Оно заканчивалось словами: «Воздух Армении придал мне силы».

Уроки Чуковского

1

Летом 1963 года «Литературная газета» опубликовала серию статей Корнея Чуковского о художественном переводе. Я обнаружил, что идеи Чуковского могут многое объяснить в русских переводах из Аветика Исаакяна. Плодотворность идей, отстаиваемых Чуковским, проверялась переводами ещё из одного поэта. Я отважился послать ему свою книгу «Аветик Исаакян и русская литература» — в ней был раздел, посвящённый русским переводам из поэзии Исаакяна. Посылал книгу не без колебаний: а вдруг окажется, что мои рассуждения ошибочны… Вскоре, однако, пришло от Чуковского лестное для меня письмо. Чтобы я убедился, как внимательно он читал книгу и что хвалит её не из вежливости, Корней Иванович сообщал о двух опечатках, обнаруженных им.

В моей книге цитировалась поэма Ав. Исаакяна «Абул Ала Маари»:

Недоуздок на воле, мчался верблюд,
бесшумно, безумно, рьяно вперёд,
В жёлто-пламенном поле, не ведая путь,
безраздумно, бездумно и пьяно вперёд.

Правильно: «…не ведая пут». И впрямь надо было очень внимательно читать книгу, чтобы обнаружить эту «скрытую» ошибку. Другая опечатка, тоже в поэме «Абул Ала Маари», была явной: «вместо «оковы и цепи» набрали «оковы и цепы».

Спустя несколько лет, в июле 1969 года, Корней Иванович дал мне посмотреть сигнальный экземпляр нового издания своей книги «Мой Уитмен». На 29-й странице в цитате была опечатка: «Кто был ты ни был…» Я показал Чуковскому лишнее «л».

— Ох, какой Мкртчян! Я думал, он из вежливости перелистывает книгу, а он ведь её изучает.

Я сказал Чуковскому, что в моей книге он нашёл две опечатки, поэтому я всё ещё в долгу перед ним.

— Должок у вас большой. Одна опечатка — это ведь немало, — ответил он.

Письмо Чуковского от 28 августа 1963 года содержало ещё одно замечание. В примечаниях к своей книге я писал о рецензии на сборник «Армянская муза», опубликованной в третьем номере «Вестника Европы» за 1907 год и подписанной Евг. Л. Мне показалось, что

это мог быть Евгений Лундберг, но так как не было полной уверенности, своё предположение я высказал в форме вопроса: Евг. Л(ундберг?). «Не вернее ли, — писал Чуковский, — Евг. Л(яцкий). В то время литературным отделом “Вестника Европы” заведовал Евгений Александрович Ляцкий».

В письме Чуковского очень меня заинтересовало сообщение о том, что он «имел счастье встречаться с Аветиком Исаакяном». По предположению Арама Инджикяна, одного из самых преданных исаакяноведов, я попросил Корнея Ивановича написать об Исаакяне. «Зимою буду разбирать свой архив, — ответил Чуковский, — найду письмо Аветика Исаакяна и, если буду здоров, пришлю А. Инджикяну коротенькую памятку о Варпете» (памятка была написана и опубликована в альманахе «Прометей», 1966, кн. 1-я, с. 237).

2

В самом конце января 1968 года моё заочное знакомство с Чуковским перешло в личное. Я жил в переделкинском Доме творчества, недалеко от дачи писателя. Мы познакомились.

…Как-то гуляли по зимнему Переделкину. Корней Иванович расспрашивал об Армении.

Одна из писательниц решила поддержать наши «армянские» беседы и стала горячо говорить мне о Ереване.

Чуковский:

— Что же вы описываете ему Армению, он же оттуда приехал…

С любовью говорил Корней Иванович о «милой Звягинцевой».

— Кстати, она мне прислала, — заметил он, — свою новую книгу. Называется «Исповедь», вот я и не решаюсь открыть её.

Чуковский писал в «Высоком искусстве» о стихах Веры Звягинцевой, об её книге «Моя Армения». Отрывок из «Высокого искусства», относящийся к Звягинцевой, мы перепечатали в качестве небольшого предисловия ко второму изданию «Моей Армении». И хотя Чуковский дал на это своё согласие, однако, когда сборник Звягинцевой вышел в свет, он был недоволен.

— Почему вы издали Звягинцеву с моим куцым предисловием? Я мог бы написать о ней по-настоящему.

«Моя Армения» Звягинцевой нравилась Чуковскому. В письме к ней он говорил о своих чувствах к Армении, навеянных этой книгой: «Я никогда не был в Армении — мне не выпало этого счастья, но после Вашей книги меня потянуло туда, и я целый день повторяю:

Не миндаль, не печаль — сила гордой души,
И прямые слова и поступки.

И мне очень жаль, что мне, 83-летнему, уже никогда по услыхать,

Как поют армянские дети,
Как гортанной бронзой звенят».

* * *

Было что-то около половины шестого. В полупустой столовой Дома творчества В. Кирпотин вспоминал о своих встречах с Егише Чаренцем. Пришёл Корней Иванович.

— Можно и мне за этот стол? — спросил Чуковский и, взглянув на Кирпотина, сказал: — А вот этого человека когда-то нарисовал ваш Сарьян.

Кирпотин:

— А у вас отличная память.

— Как же, я даже помню, в каком углу у вас дома висит этот портрет…

Вспоминал Чуковский, как собирал рукописи Некрасова. Вспомнил, между прочим, и о том, как сдавал в Публичную библиотеку рукописи поэта. В отдел рукописей его долго не пропускали, требовали пропуск, а когда пропуск был выписан, сказали, что портфель с рукописями Некрасова надо оставить внизу…

— Это же сюжет для Райкина, напишите об этом, — предложили Чуковскому.

— Ну что вы! — возразил Корней Иванович, заметив, что писать надо о стоящем и бороться надо за правду, не предаваясь трамвайным страстям.

3

В августе 1968 года я снова жил в Переделкине. Работал над русским трёхтомником О. Туманяна. Перед отъездом отправил К. Чуковскому письмо с просьбой написать предисловие к трём стихотворным сказкам Ованеса Туманяна — «Пёс и кот», «Капля мёда» и «Смерть Мышонка» (первые две сказки перевёл С. Маршак, а над третьей работал Н. Гребнев).

Незадолго до этого в «Правде» была статья Корнея Ивановича о том, как надо издавать собрание сочинений Чехова. Я писал, что мы (трёхтомник составлялся мною совместно с Левоном Ахвердяном) «взяли на вооружение» статью Чуковского и хотим поместить в русском трёхтомнике поэта избранные его произведения. В ответном письме, датированном концом июля, Корней Иванович писал: «Конечно, в первом томе Туманяна должны быть его гениальные стихи, а всего его juvenilia нужно отнести на задворки издания — для специалистов. Я очень люблю этого мудрого поэта и счёл бы для себя большой честью написать введение к его замечательным “Сказкам”, которые, увы, я знаю лишь в переводах. (Сказку “Кот и пёс” я знаю наизусть). Но мои годы не дают мне никакого права брать на себя какие бы то ни было обязательства. И кроме того, я по горло завален срочной и почти непосильной работой».

В Переделкине Чуковский сразу же заговорил о Туманяне:

— Вы писали о трёх сказках, одну из них, «Смерть Мышонка», я не читал. Гребнев, говорите, её перевёл? Она у вас с собой? Принесите её, а я посижу тут на скамеечке.

Я пошёл за рукописью. Когда вернулся с машинописным экземпляром гребневского перевода, Корней Иванович был уже не один. Он сидел в окружении писателей, была ещё молодая девушка из Англии.

Чуковский:

— Ваша мама профессор Оксфордского университета? Вы говорили, что она хочет заняться русской литературой. В Англии начала века русскую литературу никто не знал. Когда в 1904 году умер Чехов, в Англии не было человека, которому можно было бы об этом сказать. Никто не знал Чехова. Мне не с кем было поговорить. Даже Толстого они не знали. А теперь переводят и издают всех. Пишут о переводах стихов Цветаевой, пишут о Хлебникове, моментально переводят и издают стихи, издают даже небольших поэтов. И не только стихи. В «Новом мире» были опубликованы воспоминания о Горьком. Это уже переведено и издано в Англии. Пусть ваша мама напишет о победе русской литературы, о том, что мы всё-таки победили англичан. Если написать с перцем, может получиться прекрасная книга…

Через день Корней Иванович сказал, что он прочёл «Смерть Мышонка» и у Гребнева получилось не так, как у Маршака, а ведь гребневский перевод будет напечатан рядом с переводами Маршака.

— Гребневу очень удаются короткие вещи, — говорил Чуковский. Позже он очень хвалил гребневские переводы четверостиший Туманяна.

Корней Иванович просил зайти к нему, чтобы он подробно, по тексту перевода отрецензировал «Мышонка».

Накануне я рассказал Чуковскому притчу о Варданике, герое многочисленных комических историй армянского фольклора. Варданик приходит в школу, надев на одну ногу калошу, на другую ботинок. Учительница Марго выражает своё недоумение.

— Вы что, не слушали радио? — отвечает Варданик. — Передавали, что местами пройдут дожди, для этих самых мест я и надел калошу.

— Наденьте калошу и приходите, — улыбнулся Корней Иванович. Притча ему понравилась. Он не раз о ней вспоминал.

…Когда я пришёл к Корнею Ивановичу, у него были сотрудники журнала «Политическое самообразование». Они просили, чтобы он дал им статью о русском языке. Чуковский взял один из номеров журнала (ему принесли несколько последних номеров) и открыл его на странице, где были напечатаны пословицы.

— За его языком не поспеешь и босиком, — прочёл он, сказав, что надо учиться языку у народа, а что касается «канцелярита», то он исчезнет, когда ликвидируют канцелярский стиль работы.

…Мы с Корнеем Ивановичем долго искали рукопись «Мышонка», но так и не нашли её. В эти дни Чуковский работал один, без секретаря Клары Израилевны.

— Фирма гарантирует сохранность «Мышонка», — шутил он.

Несколько дней «Мышонок» «скрывался». Когда наконец рукопись была найдена, Корней Иванович сказал Кларе Израилевне:

— Надо завести папку и положить туда «Смерть Мышонка» и другие материалы. На папке напишите «Ованес Туманян», без мягкого знака.

* * *

Чуковского заинтересовала наша работа над «русским» Туманяном, особенно над первым стихотворным томом сочинений поэта. Редактировала первый том Мария Сергеевна Петровых. Корней Иванович попросил однажды показать ему забракованные нами переводы.

Ребятишки плач подняли,
Детский крик неумолим:
— Мама, мы проголодались…

Чуковский прочёл: мы проголодали.

— Если у Туманяна подняли, то должно быть проголодали. «Сь» здесь лишнее. Переводчик об этом не подумал…

Часто Чуковский спрашивал у меня о книге Марии Петровых «Дальнее дерево» (была уже вёрстка книги), говорил, как высоко ценила поэзию Петровых Анна Ахматова. Ему хотелось почитать стихи Марии Сергеевны. Он ждал её книги.

«Дальнее дерево» вышло в свет в ереванском издательстве «Айастан». Чуковский хотел, чтобы книгу прочли в Москве. «Завтра, — сообщал он в письме от 26 октября 1968 года, — буду звонить в Книжную лавку писателей, чтобы она приобрела возможно больше книг Марии Петровых».

— Манерой держаться, говорить она похожа на Ахматову, лицом — на Данте, — сказал однажды о Петровых Корней Иванович.

В один из августовских дней Чуковский пригласил Марию Сергеевну и меня к себе на дачу. Тогда же я написал об этой встрече в газету, написал в настоящем времени, и сейчас мне не хочется переводить рассказ в прошедшее время. Оставляю так, как было.

* * *

— Проходите сюда на балкон, здесь, на воздухе, мы и посидим, — приглашает Корней Иванович. Приносит том Маршака, читает в его переводе «Каплю мёда» Ов. Туманяна:

В ущелье гор среди села
Лавчонка тесная была.
Туда забрёл в базарный день
Пастух одной из деревень.
Он на плече дубину нёс.
За ним бежал мохнатый пёс…

Чуковский читает с удовольствием, движением руки выделяет слова, на которые падают смысловые ударения. Когда ему очень нравятся стихи, останавливается, смотрит на нас — взгляд его задумчивый и радостный, — повторяет прочитанное:

…Но пёс, пришедший с пастухом,
Такую прыть почёл грехом.
Вскочил он с пеною у рта
И ну терзать, трясти кота,
    Трепать, катать,
    Валять, мотать.
    Чуть отпустил —
    И снова хвать!

— Как изумительно написано! Какой стих: трепать, катать, валять, мотать…

Счастливый и за Туманяна, и за Маршака, Чуковский вновь и вновь перечитывает отдельные строки, строфы:

Мы их сожжём!
Мы их убьём!
Мы их — ножом!
Мы их — дубьём!..

Петровых замечает, что в блистательном переводе Маршака надо бы заменить одно только слово.

Король соседний, словно вор,
Презрев священный договор,
Границы наши перешёл, —

сказано в послании одного из царей.

— Здесь, — говорит Петровых, — описка: не король, а царь следовало бы сказать.

Когда Чуковский доходит до места, где «соседний король» называет себя царём («Мы, сын небес и царь царей…»), он замечает:

— Да, там у Маршака описка. Надо, конечно, царь. Лучше даже царёк: «Царёк соседний, словно вор…» Цари враждуют, и они должны унижать друг друга.

Чуковский читает конец сказки, дописанный Маршаком:

Тут и кончается рассказ,
А если кто-нибудь из вас
Задаст рассказчику вопрос,
Кто здесь виновней — кот иль пёс,

И неужели столько зла
Шальная муха принесла, —
За нас ответит вам народ:
Найдутся мухи, — был бы мёд!

— Вы говорите, этого нет в подлиннике? Маршаку надо было заключить сказку выводом, моралью. Вот он и дописал конец. Надо эти стихи, конечно, оставить, но в примечании указать, что это дописано Маршаком.

А теперь прочту мою самую любимую сказку «Кот и пёс».

Читает по памяти:

…Папаху шить —
Не шубу шить.
С деньгами
Можно
Не спешить!

— Чудно. Это звучит как формула.

Продолжает по книге:

В субботу утром
Старый пёс,
Потягиваясь зябко,
Просунул в дверь
Замёрзший нос.
— Ну что,
Готова шапка?
— Нет, — говорят
Ему в ответ.
— А где хозяин?
— Дома нет!

— Если бы Маршак жил во времена Жуковского и Пушкина, они бы его признали совершенно своим… Прочтите, пожалуйста, мне по-армянски эту сказку. Читайте так, будто с эстрады.

…Совсем другая система звуков языка. И как умело воспроизвёл Маршак эту сказку по-русски. Туманян — я это чувствую по переводам — писал, как по меди. Стих у него очень крепкий.

Слушая Чуковского, я думал о том, что таких переводов из Туманяна, которые русскому читателю хотелось бы читать и перечитывать, до обидного мало.

Чуковский пришёл в Дом творчества с рукописью «Смерти Мышонка», чтобы дать на перевод, как он выразился, устную рецензию. Я попросил у него разрешения, чтобы моя жена застенографировала его замечания. Он согласился. Это ему даже понравилось. Привожу стенограмму «рецензии». Для удобства замечания пронумерованы.

1. «Полетел как-то Воробушек мусор разгребать, корм собирать». «Корм собирать» — скопление согласных: крмсб. Для армянского языка это, может, хорошо, а для русского нет. Тем более — в детской книжке.

2. «Сел на скрещении дорог, стал землю рыть, голову себе посыпать». «Голову посыпать» — не сказано чем. Непонятно.

3. «От какого горюшка землю роешь, воробей?» «От какого горюшка» — это страшно по-русски, а тут же рядом: «Вай, — Воробушек запел». «Вай» как раз мне нравится.

4. «Закричав: “Беда стряслась…”» — нельзя в детской книжке начинать предложение с деепричастия. Может быть, сделать так: «Горе нам, беда стряслась…».

5. «Перепёлка, ты крыло Почему сломала?» — здесь запятая на слух совершенно не ощущается. Получается: «перепёлка — ты крыло».

6. «Стал дубовый ствол качаться…» — нехорошо. Лучше: «Дуб могучий стал качаться…» Ритм очень весёлый. Были такие стихи:

Умер, умер, умер я,
Вы молитесь за меня.

7. «С треском начали ломаться, Падать ветки и суки… — если ломаться, то не надо писать падать: ветки ломаются и падают. Вообще двустишие слабое.

8. «Пусть лишился я ветвей, Что же здесь такого?» — не ясно, что имеется в виду. Смысл здесь такой: в сравнении со случившимся наши горести — ничто. Это «что же здесь такого» надо везде заменить. Интонация не та.

9. «Камни, бывшая скала…» — нехорошо. Бывшая скала, бывшее дерево! Другое дело — бывший князь…

10. «Вай, Мышонок изнемог…» — это не значит умер. Вы предлагаете: «Вай, Мышонок наш подох» — нельзя. Они должны о смерти Мышонка говорить возвышенно.

11. «Мутная текла река. Что была прозрачная…» — надо «А была прозрачная…».

12. «Плача, бедная дошла До окраины села…» — деепричастие надо бы убрать. И потом на слух это «плача» воспринимается как существительное, может быть, даже имя…

13. «Ствол дубовый убивался. Так, что без ветвей остался…» — ствол и так без ветвей.

14. «Горя этого б не знать…» — лучше: «Горя б этого не знать…».

15. «Я же хоть пока живу, Умереть готова…» — получается жехоть.

16. «Маловер в селенье жил…» — маловер? Никто из детей не знает этого слова. Маловер, старовер… Нет, не годится.

17. «Пришлая издалека Бабушка прохожая…» — от одного корня ходить тоже не очень-то хорошо.

18. «Стало в мире сиротливо, Где Мышонок опочил…» — лучше: «Здесь Мышонок опочил…»

19. «Не осталось никого, Не осталось ничего» — это хорошо. И в самом начале:

— Вай, — Воробушек запел, —
Братец мой скончался,
Мир вокруг осиротел,
Я один остался! —

тоже хорошо.

* * *

Я не ожидал, что замечаний будет так много, и, несколько смутившись, сказал:

— Может быть, нужен новый перевод?

— Нет, зачем, надо это доработать. Гребнев человек талантливый, он всё это сделает.

Чуковский неоднократно говорил и писал, как он ценит талант Гребнева, и именно поэтому никогда не прощал ему слабой или небрежной строки.

В день воскресения Христова вниз
Телега движется с горы Масис, —

прочёл в другой раз Корней Иванович в одном из переводов Гребнева и очень ругал меня за то, что я не указал на недопустимость словосочетания «воскресения Христова вниз».

* * *

Встретил Корнея Ивановича с причудливыми африканскими бусами на шее — на нитку были нанизаны какие-то высохшие ягоды.

— Что это у вас?

— А я специально надел. Все спрашивают. Бывает, перевяжу палец: «Что с вами?» — спрашивают у меня, а я рассказываю разные истории: надоедает всем говорить одно и то же, вот я и выдумываю.

Чуковский интересовался «Смертью Мышонка» — не готов ли исправленный вариант перевода.

* * *

Получив стенограмму «рецензии», Гребнев сразу же взялся за работу. Он часто приезжал в Переделкино к Марии Петровых как к редактору «русского» Туманяна. Она должна была одобрить новый вариант перевода и потом показать его Чуковскому.

Гребнев переводит легко и с удовольствием, однако над «Смертью Мышонка» он работал долго. Тщательно, даже придирчиво читала перевод Петровых. Если у Петровых-редактора есть замечания, она не просто говорит о них, но ещё предлагает ему свои варианты, поэтому редакторская работа отнимает у неё чрезвычайно много времени.

«Мышонок» буквально замучил и Гребнева и Петровых.

Чуковский, что называется, задал всем работу — Гребневу как переводчику, Петровых как редактору, а мне как болельщику, который добровольно взял на себя обязанности секретаря и перепечатывал на машинке беловой текст перевода, — через день он становился черновым.

Корней Иванович следил за тем, как идёт работа. Он вновь и вновь перечитывал текст и указывал на отдельные строчки, которые следовало доделать. Вот некоторые выдержки из моих записей, сделанных тогда же, летом 1968 года:

16 августа.

— Говорите, Гребнев сегодня весь день работал над «Мышонком»? Принесите, я вам дам ещё одну устную рецензию.

21 августа. Около 6 часов вечера.

— Я пришёл почитать исправленного «Мышонка»…

28 августа.

— Я хочу, чтобы мы с вами пошли к Марии Сергеевне. Вы мне покажете, как в «Мышонке» переделали четверостишие.

Наконец, когда перевод был уже совсем готов, Чуковский велел исправить ещё одну строчку:

И лишившаяся крыл
Перепёлочка.

Вариант

И со сломанным крылом,
Очень резвая в былом,
Перепёлочка —

был хорош, но пришлось переделывать соседние строчки:

Это могут подтвердить
Воробей, что слёзы лил, —
Он Мышонку братом был, —
Рябенькое пёрышко,
И со сломанным крылом,
Очень резвая в былом,
Перепёлочка.

Вводное предложение «Он Мышонку братом был» затрудняло чтение стиха. И вообще стих стал тяжеловат, особенно если учесть, что это стихи для детей. Пробовали обойтись без вводного предложения:

Это может подтвердить
Брат Мышонка Воробей,
Рябенькое пёрышко,
Та, что Воробья рябей,
С переломанным крылом,
Очень резвая в былом,
Перепёлочка.

Эта редакция была записана — и тут же отвергнута: стих стал ещё более неудобочитаем. В конце концов написали:

И несчастная, без крыл,
Перепёлочка.

Чуковский возражал и против этой редакции, которая, однако, так и осталась в беловом тексте. Не нравились эти строчки и Гребневу, и Петровых, но более приемлемого решения так и не удалось тогда найти.

Сюжет «Мышонка…» таков: гибнет Мышонок, и гибнет весь мир.

— «Мышонок» и нас сведёт в могилу, — улыбнулся Гребнев, присочинивший к сказке конец о том, что все погибли, а Мышонок-то, оказывается, жив:

Что же, мир всего лишился?
Нет! Мышонок объявился.
То, что все другие знали,
Он не знал, не ведал зла.
Землю он не рыл в печали,
Не ломал свои крыла,
И ветвей он не лишился,
И со склона не упал,
Как река, не замутился,
На себе одежд не рвал.
Что случилось? Где он был?
Просто погулять ходил!

Стихи были прочитаны Чуковскому. Я сказал, что это для моей «Чукоккалы».

— Для вашей «Мкртчоккалы», — поправил Корней Иванович, — вы многое можете собрать…

Чуковский взял перевод Гребнева (переводы Маршака у него были).

— Я не могу по-восточному горячо говорить, но предисловие к сказкам Туманяна напишу.

* * *

18 августа Чуковский пришёл в Дом творчества раньше обычного, в два часа дня. Он был радостно возбуждён:

— Мкртчян! Моя правнучка Машенька поступила в институт, сдала на пятёрки математику, химию, физику — и всё без какого-либо блата, — улыбнулся он. — Я хочу с ней сфотографироваться. А у вас есть фотоаппарат.

— Но у меня нет сейчас плёнки.

Корней Иванович очень огорчился. Его всегда кто-то хотел сфотографировать, он неохотно соглашался, а сейчас самому очень хочется сфотографироваться с правнучкой, и такая досада — нет плёнки.

— Правнучка завтра уезжает. Если найдёте плёнку, приходите ко мне в четыре часа.

Был воскресный день, магазины в Москве закрыты. Я взял такси и поехал искать плёнку в сельских универмагах, которые, как мне сказали, могут быть открыты. На соседней станции Солнцево удалось у фотографа выпросить кассету с плёнкой. В половине пятого, с опозданием на тридцать минут, подъехал я к даче Чуковского. Оказалось, что он пошёл в Дом творчества. Корней Иванович ждал меня в роскошной серебристо-красной мантии доктора литературы Оксфордского университета.

— Вот и пришёл Мкртчян.

Папаху шить —
Не шубу шить.
Для друга
Можно
Поспешить! —

декламировал он.

Я нащёлкал всю плёнку. Правнучка Маша, которой Корней Иванович посвятил «От двух до пяти», — скромная большеглазая девушка.

Снимки, к счастью, удались. Так я стал обладателем целой серии фотокарточек Чуковского.

* * *

Говорили о разном.

— Пишу о детективном романе, хочу реабилитировать этот жанр… Агата Кристи убивает героя в самом начале, когда ты ещё не успел его полюбить, поэтому никаких страшных эмоций.

— Я сейчас читаю новый перевод «Алисы в стране чудес». Чудесный перевод. Ведь в подлиннике всё основано на игре слов.

Демурова соответственно придумывает — так и надо. У неё сказано: «Чаще ходи по чаще». Если переводить буквально, получится ерунда.

(Письмо Чуковского Н. Демуровой было вскоре опубликовано в «Литературной России» от 20 сентября 1968 года.)

— Если не знать Баратынского и Тютчева, — детской сказки не напишешь, — говорил Корней Иванович своей собеседнице, пробующей писать стихи для детей.

О последней, шестой книге своих сочинений Чуковский сказал:

— Самое интересное, что здесь собраны мои статьи за 1906 — 1968 годы! Это ещё никому, кажется, не удавалось!

* * *

В октябре 1968 года пришло от Чуковского письмо:

«Сегодня, 26 октября, я написал предисловие к трём сказкам Ов. Туманяна. Получилось семь страниц машинописи…

Моё предисловие, пожалуй, неплохо (принимая во внимание мой фантастический возраст), но меня смущает одно: я слишком браню переводы стихов Ованеса, собранные в книге Госиздата. Браню я их по памяти, так как этой книги нет у меня под рукой. Не сомневаюсь, что в общем я прав, но нет ли там исключений? И не обижу ли я кого-нибудь из хороших переводчиков?»

Кончалось письмо сообщением: «Сегодня в Переделкине выпал снег. Снег серьёзный, настойчивый, падал всю ночь. Я пошёл пройтись к Дому творчества — и увидел странное явление — множество комаров на снегу. Они не хотят умирать и бойко летают над снегом».

Затем — в ноябре и декабре — были получены ещё два письма с «пейзажными» концовками:

«Сейчас в Переделкине бодрая золотая погода. Снег и легкий мороз. Прелесть».

«Погода у нас в Переделкине чудесная. Снег очень декоративный, мороз мягкий, добрый и бодрый».

В начале 1969 года я получил новое издание «Высокого искусства» Чуковского с шутливыми надписями в стихах. Одну из надписей (я понимаю, что меня могут упрекнуть в нескромности) приведу целиком:

Меня от хмурых англичан
К своим возлюбленным армянам,
К своим Сарьянам и Зарьянам,
К своим титанам Туманянам,
Увлёк бурливый Мкртчян.
И я вовек не перестану
Твердить осанну Мкртчяну.
Да будет пылкий Мкртчян
Высокой славой увенчан!

Эта весёлая надпись возникла главным образом по следующей причине: Корней Иванович, как он говорил, хотел зарифмовать мою «безгласную» фамилию. А что касается его увлечения Арменией, Туманяном и Сарьяном, то здесь, как говорится, вина моя ничтожна.

Замечу, кстати, что летом 1969 года Мартирос Сарьян, прочитав статью Чуковского о Туманяне, послал ему через С. Арутюняна свой альбом с репродукциями, роскошно изданный. Корней Иванович был рад подарку и ответил Сарьяну прочувствованным письмом.

* * *

В июне — июле 1969 года всё в том же переделкинском Доме творчества мы с Марией Петровых дочитывали вёрстку «русского» Туманяна. Интерес Корнея Ивановича к армянскому поэту не ослабевал. Он следил за работой над трёхтомником Туманяна, который через месяц-другой должен был выйти. Кроме того, он ждал издания детского сборника Туманяна «Пёс и кот» (сборнику, вышедшему в свет полумиллионным тиражом, было предпослано предисловие Чуковского).

— В больнице, — рассказывал Чуковский, — профессор-армянин, узнав, что я написал небольшое слово о Туманяне, очень был обрадован. И медицинская сестра — мы её звали Абгаровной — с такой нежностью ко мне относилась… Очень я люблю Исаакяна. Его поэма об уходящем караване, его стихи… Если бы я знал язык…

Я сказал, что мы хотим издать небольшую книжку — Исаакян в переводах Блока, и было бы хорошо, если бы он, Чуковский, написал к этому сборнику предисловие.

Корней Иванович дал согласие, просил прислать ему материалы. Спрашивал о средневековой армянской поэзии, о Нарекаци, восхищённо говорил о средневековой армянской живописи — миниатюре.

* * *

В сентябре 1969 года Чуковский был приглашён в Армению на туманяновские торжества. 24 сентября ереванские газеты опубликовали телеграмму Чуковского: «Приневоленный старостью к домоседству, я сегодня всей душой в Ереване. Пылко приветствую мой любимый армянский народ с гордым и радостным туманяновским праздником…»

Чуковский так и не услыхал,

Как поют армянские дети,
Как гортанной бронзой звенят.

Однако в Армении и дети, и взрослые знают книги Чуковского, знают и о его любви к далёкой армянской земле и к поэту этой земли Ованесу Туманяну.

Ему всегда радовались, с ним искали встреч…

В давние студенческие годы, бывало, я останавливался у фотовитрины известного фотографа С. Хандикяна, ателье которого было расположено тогда на улице Пушкина, недалеко от нашего института. Меня привлекала выставленная в витрине фотокарточка — улыбающееся лицо юноши. Даже не улыбающееся, а счастливо и заразительно смеющееся лицо. Глядя на фото, я, тосковавший по Батуми, вспоминал море, открытые просторы и небо, весело звенящее от обилия света и тишины.

Это было лицо Паруйра Севака.

Позже было прочитано одно из ранних его стихотворений:

Я — новый, неизвестный ещё поэт,
В невидимой ладье из дум сижу
И не знаю, будет ли ветер,
Умчит ли он вперёд мой парус.
Иль мне самому надо свою рубашку
Сделать парусом на мачте,
Чтобы быть уверенным,
Что моя новая песнь, корабль моих сокровищ,
Поплывёт…

(Перевод подстрочный)

Паруйр (ему было восемнадцать лет, когда он написал это стихотворение) думал о жизни так, как романтики думают о море.

Позже, уже после гибели Севака, я его вспомнил, перечитывая знаменитые слова Николеньки в «Детстве» Льва Толстого: «Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно».

Севак улыбался — и его чёрное, выжженное солнцем лицо (толстые губы, некрасивый большой рот) преображалось.

Будучи некрасивым, Севак был красив. Я не знал другого такого обаятельного человека. Ему всегда радовались, с ним искали встреч…

* * *

Познакомился я с Севаком летом 1961 года. Об этом, однако, расскажу ниже. Встречались мы не часто. Наши редкие встречи были неизменно дружественными и памятными для меня.

Когда в 1963 году вышла в свет на армянском языка книга Паруйра Севака «Человек на ладони», о ней сразу же заговорили как о событии в литературной жизни республики.

Оригинальное, крупное явление в литературе всегда есть результат поисков, смелого творческого развития национальных традиций. Нет большого писателя, творчество которого не было бы связано с поисками новых форм воплощения действительности. Но есть писатели-разведчики. Они по преимуществу ищут, прокладывают пути. Иногда такой писатель уходит далеко вперёд. Может кому-то даже показаться, что он оторвался от собственной национальной почвы. Таким писателем-разведчиком представляется мне Паруйр Севак, поэт, горячо ищущий, острый, полемичный. Он, конечно, учился у классиков, но учился продолжать их, а не пересказывать. А его обвиняли в неуважении к классикам. Один из наших литературоведов сокрушался: «Севак не любит поэзию Исаакяна».

— Так ли это? — спросили поэта.

— Какая глупость! — ответил Севак. — Исаакян велик, но я хочу быть самим собой.

Севак говорил, что два Исаакяна, даже десять Исаакянов (Исаакян плюс его подражатели) — это один поэт. Севак хотел быть (и он им стал!) другим, ещё одним армянским поэтом.

Всё мне кажется,
Я ещё удивлю этот атомный век,
К древним струнам семи
Вот возьму и прибавлю восьмую.

(Перевод А. Коренева)

Поиски этой вот своей струны и составили пафос всей жизни Севака. То, что он делал, было плодотворно для всей армянской поэзии.

В одной из своих статей («Гракан терт», 7 января 1966 года) Севак писал: «Пословица гласит: есть вещи, которые не сделаешь, пока не научишься, и есть вещи, которые не научишься делать, пока их не сделаешь. Мне кажется, что несколько десятилетий наша поэзия была стреножена первой половиной названной пословицы; делали то, чему научились, и, наоборот, ни во что не ставили то, чему не научишься, пока не сделаешь».

Чтобы научиться, Севак призывал писать, делать, держать. Он был большим новатором и учил новаторству. Стих у него динамичный, взрывчатый. Он не терпел расплывчатых линий, слабых, приглушённых красок. В одном из своих двустиший, несомненно программном для него, Севак сказал, что он устал от филигранных холодных слов и что лучше быть знающим дело кузнецом, чем ювелиром.

При жизни Севака мне приходилось раза два писать о нём. То были небольшие статьи. И писал я так, как написал сейчас. Однако тогда, при жизни поэта, считал себя вправе делать замечания. (Сейчас некоторые критики, писавшие о Севаке, стараются забыть о своих статьях тех лет.) В одной моей статье, напечатанной в «Вопросах литературы», была фраза, кончающаяся словами: «…хотя порой необычность некоторых стихов Севака надуманна, создана искусственно». Севак не то чтобы обиделся — у него возникло желание поспорить со мной.

В своей статье (в той, где была упомянута фраза о Севаке) я цитировал стихи Льва Озерова:

Пренебрегая словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами.

— Вот из чего должен исходить критик, — сказал Севак.

Наш разговор затянулся допоздна. Севак говорил, что армянские критики рано стареют, стареют молодыми, а вот, например, Корней Чуковский молод и в свои восемьдесят лет. Писатель не должен стареть. И критик тоже.

Севак был в совершеннейшем восторге от стихотворения Ильи Сельвинского об учёном критике, который не чувствовал жизни, не чувствовал поэзии:

Да, изучил он Фрейда и Кроче,
Он — доктор наук, говоря короче,
И вот по одной причине по этой
Указкой шпыняет музу поэта.
Ведь тут не познания древо:
Это диспут
Евнуха с донжуаном
О том, что такое — дева.

Спустя несколько дней в одном из своих выступлений Севак сослался на эти стихи Сельвинского. Я не могу сказать, что Севак был поэтом при жизни недооценённым. Его волновало другое: общий уровень армянской критики. Он видел её достижения и видел просчёты. Он хотел многое (не только в поэзии, но и в критике) переиначить. Он страстно спорил, опровергал и утверждал. Он имел что сказать миру и людям.

* * *

В ноябре 1966 года на Пятом съезде писателей Армении были подвергнуты критике взгляды Ахеда Агаева, автора печально известных вульгаризаторских статей о национальных культурах и языках. Паруйр Севак как делегат писательского съезда обратился к учёному совету Ереванского университета с большим письмом, в котором критиковал Агаева[1]. Было ещё письмо, подписанное Гургеном Маари, Амо Сагияном… Дело в том, что как раз в эти дни Агаев приехал из Дагестана в Ереванский университет защищать докторскую диссертацию.

Севак работал над письмом учёному совету серьёзно, прочитал всё, что было написано Агаевым, просил достать ему дополнительную литературу. Он считал, что нельзя в таких случаях руководствоваться одними эмоциями. Севак показал порочность и ненаучность взглядов Агаева. Он обличал своего оппонента как учёный, мыслящий широко и правильно.

— Для таких вот именно случаев, — говорил он, — надо и самому быть доктором наук.

Севак решительно отвергал нигилизм Агаева по отношению к национальным культурам и вместе с тем с той же решительностью восставал против национальной замкнутости

[1] Ахеда Агаева критиковали чуть ли не повсеместно. «А на республиканских партийных и писательских съездах, проходивших в 1966 году, — писала позже Арфо Петросян, — прозвучало слово “агаевщина” как обозначение отрицательного явления в литературной критике» («Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература». М., 1970, с. 184).

и узости. Он считал, что долг деятелей культуры — обогащать своё, национальное достижениями культуры мировой. Он ратовал за широкое взаимодействие культур и высмеивал тех, кто, думая сохранить своё национальное лицо, боялся культурных взаимодействий. Такие люди, говорил Севак, могли бы обвинить в плагиате создателя армянской письменности Месропа Маштоца. «И не надо также забывать, — писал он, — что если в выражении “вариться в своём собственном соку” заключена философия, то это философия нищеты».

* * *

В одной своей статье, опубликованной в армянской литературной газете «Гракан терт», я процитировал строки Осипа Мандельштама. Две строчки: «Дикая кошка — армянская речь — мучит меня и царапает ухо» — показались отдельным читателям оскорбительными. К Паруйру Севаку как к секретарю правления Союза писателей Армении пришёл с протестом от имени своих товарищей геологов энергичный мужчина. Разговор происходил при мне — случайно в этот день и час я зашёл к Севаку.

Терпеливо и долго объяснял Севак пришедшему, что нет в этих стихах ничего обидного, что поэт хотел понять, постичь армянскую речь. Точно так, говорил Севак, мы все хотим понять неродную речь, не родной нам язык. И если не понимаем, это нас мучит. Слова стучатся, как в дверь, царапают ухо, если ухо слышит, но не понимает…

Геолог был, однако, неумолим и требовал, чтобы в газете опубликовали ответ. При этом он ругал автора статьи Левона Мкртчяна, не зная, что присутствующий при его разговоре с Севаком некто третий и есть ненавистный ему Мкртчян.

Паруйр Севак, устав объяснять посетителю смысл и содержание стихов, вызвавших его гнев, сказал:

— Я не могу сейчас объяснить, почему это хорошо. Передайте вашим товарищам геологам, что я, Паруйр Севак, утверждаю, что это хорошие стихи.

Севак знал, что читатель верит ему. Потому и сослался он на себя. Несговорчивый геолог поблагодарил Севака и ушёл. Он, конечно, остался при своём мнении, но оно, его мнение, было уже поколеблено. Не аргументами, а авторитетом Севака.

* * *

В конце 60-х годов я составлял для «Библиотеки поэта» антологию средневековой армянской лирики. Севак, будучи знатоком древней и средневековой армянской культуры, поддерживал меня в этой работе. Редактор издательства просила согласовать состав антологии с одним из секретарей Союза писателей Армении. Естественно, я обратился к Севаку. Он внимательно изучил представленный мною состав, сделал некоторые замечания и расписался на одном из экземпляров плана будущей антологии. Его очень интересовали новые переводы. Когда Наум Гребнев перевёл «Плач на смерть князя Джеваншира» Давтака Кертога, знаменитого армянского поэта VII века, Севак взял перевод для сравнения с оригиналом. Сравнивая, он комментировал оригинал, говорил, что вообще тексты древних и средневековых армянских поэтов плохо изданы. Хвалил работы Асатура Мнацаканяна — известного исследователя средневековой армянской литературы.

Перевод Гребнева понравился Севаку. Он написал письмо тогдашнему редактору «Литературной России» К. Поздняеву с просьбой опубликовать перевод. «Это — один из самых первых образцов светской армянской поэзии, — писал Севак. — На русском языке стихотворение не печаталось… На наш взгляд, именно ваш еженедельник лучше, чем какой-либо другой союзный орган, имеет возможность достойно представить русскому читателю эту жемчужину средневековой армянской поэзии».

Севак говорил, что до выхода в свет антологии надо широко печатать в периодике готовые переводы. Поэтому он горячо поддержал идею издания на русском языке нескольких глав из «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци отдельной книжкой. Книжка была издана в 1969 году, и открывалась она высказыванием Севака о Нарекаци. Книжка, однако, очень рассердила одного критика, который стал меня ругать и за само издание, и за моё предисловие.

— Надо продолжить работу, — говорил Севак и поддерживал меня тем, что рисовал картину будущих празднеств тысячелетнего юбилея Нарекаци, говорил, что он сам задумал перевести к юбилею «Книгу скорбных песнопений» на современный армянский язык.

Севак считал, что юбилей Нарекаци может состояться только после того, как будут изданы полные переводы «Книги скорбных песнопений» на современном армянском и русском языках.

* * *

В начале 1969 года Паруйр Севак, незадолго до этого избранный депутатом Верховного Совета СССР, получил блокнот депутата. В эти самые дни я выяснял отношения с работниками АТС: в нашем доме устанавливали телефоны. Узнав о моих хлопотах, Севак обрадовался случаю использовать свой депутатский блокнот.

— Я уже написал одно письмо на депутатском бланке. По квартирному вопросу… Напишем сейчас ещё одно, второе письмо.

Второе письмо депутата Паруйра Севака кончалось «сильной» фразой: «Телефон тов. Мкртчяну по характеру его работы очень и очень необходим».

Когда я пришёл с письмом на АТС, мой сосед, получивший телефон и оформлявший документы, взглянул на бланк депутата Верховного Совета СССР и сказал:

— Что же ты такой шум поднимаешь? Поговорил бы с техником, и телефон был бы установлен. Таких людей беспокоишь.

Начальник АТС по-другому среагировал на письмо Севака:

— Письмо я оставлю у себя. Я ведь читал его стихи, и сын их любит… А телефон вам завтра же установим.

* * *

С Паруйром Севаком, как было сказано, я познакомился летом 1961 года. Севак хотел помочь своему односельчанину из Чанахчи. Крестьянин, уже немолодой, поступал на заочное отделение юридического факультета. Севак говорил, что его подопечный боится письменного экзамена по русскому языку.

— Он ассириец. Не сдавать же ему ассирийский? Надо помочь.

— Но чтобы помочь, надо быть в составе экзаменационной комиссии, а я из неё вышел. Очень тяжёлое дело принимать вступительные экзамены, — сказал преподаватель, к которому Севак обратился.

Это должно было огорчить Севака. Но он вдруг воодушевился и стал говорить о том, что этот преподаватель теперь ему очень близок.

— Знаешь, я давно вышел из состава «комиссий», живу в селе да строю там дом.

Однако Севак был натурой общественно активной, деятельной. Он, так сказать, состоял в «комиссии».

Этот разговор происходил в кафе у кинотеатра «Москва»…

Севак приглашал меня в село:

— Погостишь и поможешь мне. Скоро будем крышу крыть…

Увлечённо говорил он о саде вокруг дома, о розах в саду. Рассказывал, где и как раздобыл какие-то необыкновенные розы…

Случилось, увы, так, что я впервые посетил его родное село Чанахчи спустя десять лет, летом 1971 года, побывал в доме, уже выстроенном, в саду, где на сухой, каменистой земле цвели розы, выращенные поэтом, и где… хоронили поэта.

«Я б разбивал стихи, как сад», — писал Борис Пастернак. Севак свой сад разбил, как стихи.

Не я один, многие в тот день всенародного горя вспоминали «Песнь скорбную о том, кто выстроил дом и разбил сад» Григориса Ахтамарци, средневекового армянского поэта:

Чуть свет — душе, чей сон был свят,
Архангел, гневен и крылат,
Гласил: «Уйди, оставь свой сад!»
Свой сад, расцветший час назад.
Со дна ущелий, с горных гряд
Принёс я щебень для оград.
Прекрасен сад, цветник прохлад,
А мне твердят: «Оставь свой сад!»
. . . . . .
Я поливал, растил гранат,
Плоды багряные горят,
Но не вкусить мне их услад —
Мне говорят: «Оставь свой сад…»

(Перевод М. Синельникова)

Севак любил землю, любил её глубокой, крестьянской любовью. Он очень гордился тем, что разбил в горах сад. Он хотел одарить землю радостью, и он хотел жить: «Ноги мои не пресытились. Пусть ещё походят по земле…»

Говорят, писатели живут столько, сколько живут книги, написанные ими. Искусство вечно, а значит, и жизнь не коротка!

Поэт Армении

Вера Клавдиевна Звягинцева (1894 — 1972) была большим другом Армении, армянской поэзии, которую она переводила любовно, самоотверженно. Звягинцева ввела в русскую поэзию многих армянских лириков. Она ввела в русскую поэзию образ своей Армении.

Как влюбляются в человека,
В голос, жест, висков седину,
Так под ветром большого века
Я влюбилась в одну страну, —

писала Звягинцева в стихах, посвящённых Армении.

Эти заметки — дань уважения её памяти, тому, что она сделала как поэт и как переводчик. Стихи об Армении, переводы Звягинцевой с армянского — одна из самых ярких страниц в истории взаимосвязей советских литератур — русской и армянской.

1

Вера Звягинцева очень любила жизнь. Она как-то особенно остро, быть может, даже болезненно остро думала о жизни.

Мост, перекинутый от жизни к смерти, и — человек на мосту, как на горящем или тонущем корабле, — такой представлялась ей жизнь в первом её стихотворном сборнике «На мосту» (М., 1922).

Смотри, уже сколько скошено
Короткой земной красы.

Это её пугало. Она спешила жить, пока ещё на мосту, — жить и не упустить время:

Пристальнее смотрите
В останавливающиеся глаза,
Спешите любить, спешите,
Скоро будет нельзя.

Она хотела, чтобы жизнь была праздником, хотела жизни без будней.

— Мне было шестнадцать лет. Я написала рассказ «Не праздник», — вспоминала Звягинцева в июле 1969 года. — Девушка мечтала о жизни-празднике, а жизнь обернулась к ней своей непраздничной стороной. Она решила покончить с собой. Она уплыла в море. Плыла, плыла… Уплыла далеко-далеко, чтобы утонуть. И утонула…

Чувство отчаяния в ранней лирике Звягинцевой — от жажды жизни и от сознания её быстротечности. В стихотворении 1925 года Звягинцева писала:

Каждую ночь исступлённая дума:
Как это будет — земля без меня?
Как это будет — ни цвета, ни шума
И никогда никакого дня?

Этот же мотив в её позднем стихотворении, помеченном 1957 годом:

Как? Там и августа не будет?
Ни звёзд, ни песен за окном?
Крик петушиный не разбудит
Тех, что забылись вечным сном?

Мотив тот же и не тот, потому что в поздних стихах Звягинцева пишет не о жизни-празднике, а о жизни будничной. Теперь она не скажет: «Сердце — уймись, сердце — мирись: Только одно воскресенье в неделе». Теперь ей и будни как праздник:

На какое хрустальное блюдо
Положить мне мой будничный день,
Чтоб нести это скромное чудо
Тем, кто в полдень хоронится в тень?

То, что в ранней молодости её пугало своей привычной обыденностью, теперь ей дорого. В цитированном стихотворении «Как? Там и августа не будет?..» Звягинцева писала:

Здесь, на земле, моя забота,
Работы непочатый край, —
Ведь я не оплатила счёта
За этот будничный мой рай.

Её очаровывает простое, будничное. В скромном она видит чудо, в обычном — необычное. И потому «овражек да седой полыни кустик милее пёстрых цветников».

В зрелой лирике Веры Звягинцевой ярко и отчётливо звучит главная мысль всей её поэзии — мысль о красоте и ценности жизни. О чём бы она ни писала — о войне и смерти, сирени и повилике, — она вновь и вновь приходит к своей теме: «Как завидно жить на свете, — только б словом передать».

В своих ранних стихотворениях Звягинцева писала главным образом о голубом цветке («Цветок этот называется любовию у людей», — поясняла она), писала в предчувствии невосполнимых потерь, суетно, лихорадочно, порой с отчаянием:

Революция, страсти, сугробы,
Каруселью несясь золотой,
Не поднимут крышки у гроба
Ни одной, ни одной, ни одной.
Так забудем же сны и надежды,
Перестанем стихи писать:
Не ряди в голубые одежды
Молодую невесту, мать…

Жизнь и её трагическая быстротечность — эта тема была главной, но не единственной в ранних стихах Звягинцевой. В первой её книге ещё только намечался образ родины, России. «Мы на мосту. Какая-то река… И мы в стране, которой имя “где-то”, — писала Звягинцева, но тут же, рядом, были другие стихи о родной земле. И та страна, имя которой «где-то», оттеняла стихи о Москве.

Но у меня осталось счастье,
Последняя из тонких вех,
Останки пышной гиблой снасти —
Моя Москва, мой тихий снег.
Беру снежок в ладонь украдкой,
Целую (родину в уста),
В безмерной горечи так сладко,
Что не тревожит красота…

Во второй книге Звягинцевой «Московский ветер» (1926) тема России звучит определённее, а в отдельных стихотворениях — задушевно и сильно. В 1922 году она писала о 1919 годе:

У каменных быков кипела чёрной
И ледяной, как никогда, вода.
Тогда мы жили на ветру, тогда
Дыханье было резким и просторным.
Пар. Гололедица. А души начеку.
Да, сирые, без пышного наряда.
Раскрытая младенческая радость
И благодарность слову и куску.
Мы слушали, глотая дым и ветер:
Шумит судьба, и в венах кровь шумит…

В 1917 — 1922 годах Звягинцева была актрисой, работала, в частности, в театре Мейерхольда, «увлечённо кричала романтические фразы в пьесе Верхарна «Зори», играла роль швеи в «Мистерии-буфф» Маяковского», — пишет Лев Озеров[1]. Высокий пафос первых лет революции Звягинцева пронесла через всю свою жизнь.

---

[1] Озеров Лев. Мастерство и волшебство. М., 1972, с. 271.

Шарф Мейерхольда, будто кумачовый,
Октябрьским флагом развевался в зале,
Степные ветры воздух разрезали,
Когда читал Есенин «Пугачёва»… —

писала она в середине 60-х годов о своей молодости, счастливо совпавшей с первыми годами революции.

Звягинцева начинала свой путь поэта поисками собственного слова. Она буквально жила исканиями:

Я рыбою на берегу
Плещусь в зыби песка сухого,
Я знаю, знаю, знаю слово,
Лишь выговорить не могу.

Имея что сказать, она находит и нужное слово. «Чувства у Звягинцевой, — пишет Ал. Дымшиц, — чистые и лиричные. Она обладает искусством улавливать биение человеческого сердца, обладает способностью почувствовать в человеке то, что, казалось бы, остаётся незаметным и потому так часто незамеченным»[1].

На второй сборник Звягинцевой откликнулся Максим Горький. «Очень благодарю Вас за присланную книжку стихов, очень, — писал он в сентябре 1927 года из Сорренто. — Думаю, что я плохой ценитель поэзии, во всяком случае, ценитель весьма субъективный, да и едва ли мнение моё нужно Вам, поэтессе, как чувствуется, вполне сложившейся. Всё-таки скажу, что особенно понравились мне стихи на 25 стр., 20-ой, 18-ой, 11-ой. Хороша, значительна строка “Не по любви моей мой разум”[2]. Её часто будут цитировать неглупые люди обоего пола».

На указанных М. Горьким страницах помещены стихи, проникнутые глубоким лирическим чувством, стихи, посвящённые родине — России («Краёв саратовских, широко хлебных…», «Знаю величие туч над вечерним откосом…», «Такая колыбельная»). Горькому нравилось, как проникновенно умеет поэтесса писать о красоте родной земли:

Краёв саратовских широко хлебных
Росистая, душистая земля.
У подорожников тугие стебли
Качаются, пушинки шевеля.

Позже, в 50 — 60-х годах, слова Горького о вполне сложившейся поэтессе подтвердились стихами, во многом превосходящими её лирику 20-х годов.

Вера Звягинцева — поэт с сильно выраженным чувством родины. Её стихи о России — одни из самых пронзительных. Родина, Россия вдохновляла Звягинцеву, здесь истоки её

---

[1] «Литературная газета», 1968, 14 августа.

[2] Строка из стихотворения «Россия»:

Не подниму ни голоса, ни глаз,
Об этом петь не смею…
Бывает, в слишком ранний утра час
От холода и радости слабеешь…
Такая по душе проходит дрожь
Всей сыростью твоих оврагов сразу,
И все слова к тебе дурны, как ложь.
Не по любви моей мой разум.

(Звягинцева Вера. Московский ветер. Стихи, М., 1926, с. 16.)

лирики. «Посмотреть в глаза России — как живой воды глотнуть». Эта «живая вода» питала творчество Веры Звягинцевой.

В годы Великой Отечественной войны она создала сильные патриотические стихотворения. Когда был освобождён от фашистских захватчиков Крым, Звягинцева писала:

Вновь дорогие имена:
Джанкой и Перекоп,
Сивашской соли седина
В сиянье лунных троп.
О боль феодосийских стен,
Израненных камней!
Окончен твой тяжёлый плен,
Край радости моей.

Однажды при Звягинцевой неодобрительно отозвались об одном литераторе. «Он перенёс блокаду, а для меня все люди, перенесшие блокаду, святы», — резко сказала Звягинцева.

Позже я вспомнил об этом разговоре, прочитав её стихотворение «Война»:

…Ты видишь: у Летнего сада
Идут за отрядом отряды.
Ты помнишь людей Ленинграда,
Когда произносишь: война.

И в стихотворениях более поздних, написанных в 50-е, 60-е годы, она возвращалась к военной теме:

До смертного часа мне вас не забыть,
Военные песни, военные песни.

Дороги России, дороги революции и интернационального братства привели Звягинцеву в Армению — древнюю страну Наири, культуре которой она отдала так много сил и сердца. Однако, как писал Генрих Манн, «нельзя проникнуть в другие языки, даже литературы, если одновременно — до отчаяния, до блаженства — не вживёшься в свою родную речь, и письменную, и устную»[1]. И в этом смысле чувства Звягинцевой к России — ключ к пониманию её стихов об Армении, её любви к армянской поэзии.

Поэт русский, самобытный, Звягинцева стала выдающимся переводчиком армянской поэзии, стала поэтом армянской земли. «Так и умру в две земли влюблённой», — писала она.

В стихотворении «Россия и Армения» Звягинцева выразила ту же мысль, те же чувства:

Моя любовь к Армении похожа
На вечную любовь к своей земле.
Не разберу, которая дороже,
Не гаснет жар в нестынущей золе.

Равно я добрым жаром сердце грею,
Уж такова загадка бытия:
Не будь Россия родиной моею,
Армению не полюбила б я!

---

[1] Манн Генрих. Соч., т. 8. М., 1958, с. 259.

Стихотворения Звягинцевой, составившие известный цикл «Моя Армения», можно, как писал Корней Чуковский, «назвать гимнами этой стране, её песням, её пляскам, её Арарату, её Исаакяну, её Сарьяну»[1].

Среди русских советских поэтов, переводивших с армянского и писавших об Армении, Звягинцева занимает почётное место. Её переводы с армянского, её собственные стихотворения об Армении составили этап в развитии армяно-русских литературных связей. Армения стала для Звягинцевой второй её родиной. Павел Топер, вспомнив изречение Гёте: «Кто хочет познать поэта, должен отправиться в его землю», заметил: «Но чтобы понять такого поэта, как, например, Вера Звягинцева, надо отправиться в две земли — в Россию и Армению»[2].

Имя В. К. Звягинцевой окружено в Армении почётом. Мы дорожим памятью нашего друга, нашего поэта.

Чтобы переводить с армянского, Вера Звягинцева должна была знать историю и культуру, жизнь и быт армянского народа.

«Главным моим учителем истории и поэзии Армении, человеком, связавшим меня с этой землёй, — вспоминала Вера Звягинцева, — был Карен Сергеевич Микаелян — писатель и деятель армянской культуры, когда-то работавший с Брюсовым. Содействовали моему знакомству с Арменией Я. С. Хачатрянц, А. Н. Тер-Мартиросян.

Микаелян в то время хотел издать сборник армянских стихов (не пришлось!) и привлёк меня к работе над переводами.

Очаровательное стихотворение Гургена Маари “Баллада о Чало и о первой любви” и стало моей путёвкой в Армению…

Помню, ещё до знакомства с Арменией я написала стихи: “Я тебя не видела ещё, я тебя увижу непременно”. Были там такие строки: “Говори со мною, говори голосом Гургена Маари” и ещё — о Чаренце».

Впервые Вера Звягинцева приехала в Армению в конце 1936 года. С тех пор она много раз бывала в Армении, подолгу жила здесь, постигая «страну Наири» и её поэзию не по учебникам и, конечно, не по одним лишь подстрочникам:

Мне довелось сквозь ветви пшата
Увидеть близко, наяву
Две древних кровли Арарата
И разглядеть и склон щербатый,
И даже блеклую траву.
Всё то, что именем звенело
На картах, книгах и в речах,
Мне воздухом ласкало тело,
Кустарниками шелестело,
Хрустело пылью на зубах.

Вера Звягинцева писала о глубоко воспринятом, эмоционально пережитом, прочувствованном. Поэтому так захватывающи и искренни её «армянские стихи», поэтому их близость к жизни армянского народа выражается отнюдь не словесными инкрустациями, упоминаниями имён и названий — Арарат, Звартноц, Воскеваз… В. Звягинцева тонко знала, сердцем чувствовала жизнь республики, всё, что её характеризует, — «от прямых слов и поступков людей» до «терпкого запаха рехана и перца». Ей удавались образы яркой выразительности и удивительной ёмкости: «Глаза — как большие чёрные слёзы, обветренный камень щёк».

---

[1] Чуковский Корней. Собр. соч., в 6-ти т., т. 3. М., 1966, с. 514.

[2] «Коммунист» (Ереван), 1972, 12 октября.

В стихах об Армении Звягинцева искала свой идеал — простой, естественной красоты, она полемизировала с теми, кто видел Армению пышной, приукрашенной. Звягинцева не приемлет стилизованный, эстетски подгримированный образ Армении:

Мне другое в Армении любо —
Околдовано сердце моё
Красотою и горькой и грубой.
Я люблю этих смелых людей,
Может быть, иногда и недобрых,
Терпеливых седых матерей, —
Вот Армении подлинный образ.
Я люблю эту мудрость веков,
Лебединые женские пляски,
Медь горячих тяжёлых стихов
И полотен сарьяновских краски.

В первом своём сборнике В. Звягинцева писала:

Не штык в руке замерзающей,
Не горб кирпичей за спиной,
Ты, тяжести распределяющий,
Вручил мне цветок голубой.

Но с того самого дня, как Звягинцева стала переводить или, как сказал в одном из стихотворений Б. Слуцкий, стала «перевозить» поэзию в язык из языка, — к «голубому цветку» прибавился «горб кирпичей».

Переводы требуют от поэта большого напряжения сил. «Можно без конца работать над усовершенствованием переводов, и только некоторые строки кажутся окончательно установившимися», — писала Звягинцева, говоря о своих переводах из Исаакяна.

Вера Звягинцева переводила стихи поэтов разных времён — от средневековых армянских поэтов до поэтов-современников. И ей всегда было важно средствами современного русского языка передать особенности поэтического мышления, манеру письма переводимого автора. Вот как звучит в её переводе Саят-Нова, поэт XVIII века:

Ах, не нужен мне лекарь, не нужен врач,
Дай иного, иного лекарства мне!
Жжёшь, не лечишь ты рану, горит — хоть плачь.
Дай иного, иного лекарства мне!

А она: не тревожь, уходи скорей!
На другой, на другой ищи стороне!
Не бывает добра от таких затей,
На другой, на другой ищи стороне.
На другой, увы, стороне.

Говорю ей: покоя не знаю я,
Стал бездельником, прочь бегу от жилья,
Тело чахнет, сгорает душа моя,
Дай иного, иного лекарства мне!

Отвечает: тебя мне не исцелить,
Сам ты горе своё научись избыть,

А не то оборвёшь краткой жизни нить,
На другой, на другой ищи стороне…

Звягинцева удачно передала щедрую на горячие признания, на объяснения поэзию Саят-Новы, сохранила характерную для его стихов отчеканенность, даже изысканность. Повторы в её переводах столь же естественны и мотивированны, как и в подлиннике, они словно бы завершают «круг мыслей», подчёркивают растущее постоянство чувства, усиливая музыкальность и песенность стиха.

Звягинцева всегда стремилась передать угол зрения автора переводимых стихов, стремилась разгадать подлинник.

Когда свободный бог в меня
Вдохнул дыханье человека
И бренному созданью дал
Дар кратковременного века,

Я, бессловесное дитя,
Не зная горя и невзгоды,
Ручонки слабые простёр
К видению свободы.

Когда не спал я по ночам,
Спелёнат, связан в колыбели,
И заливался, и кричал,
Пока не встанет мать с постели

И не развяжет детских рук
Ребёнку малому в угоду, —
Наверное, тогда я дал
Обет любить свободу…

Известное стихотворение Микаэла Налбандяна (1829 — 1866) «Свобода», откуда взяты цитированные строки, приобрело популярность на русском языке именно в переводе Звягинцевой. Какое понимание подлинника, какая твёрдость голоса в её переводе! Частое «д» — этот опорный звук всего перевода («Когда свободный бог в меня Вдохнул дыханье человека…») — придаёт стихотворению набатные, мужественные интонации.

* * *

Сопоставляя первые переводы В. Звягинцевой с армянского, сделанные ещё в середине 30-х годов, и её же переводы последних лет, нетрудно заметить, что в зрелые годы она иначе решала многие проблемы, встающие перед переводчиками с других языков, и с армянского в частности.

В ранних переводах она была как бы в плену оригинала, старалась передать все особенности ритма, сохранить мужскую рифму, характерную для армянского стиха.

Позже, работая над переводом стихотворения Амо Сагияна «Армения в песнях», Звягинцева должна была решить, как лучше перевести рефрен:

Вот какой Айастан
В новых песнях нам дан.

Этот вариант, казалось бы, всем хорош, и рифма здесь, как и в подлиннике, мужская. Но в беловом тексте Звягинцева отказалась от этой редакции:

Знал он бури, сраженья,
Трудность будней походных, —
Вот какая Армения
В новых песнях народных.

Переводчица решила, что так лучше, пусть здесь рифма не мужская, а дактилическая, но стих более певучий и в этом смысле ближе к подлиннику.

В ранних же переводах Звягинцева хотела перенести в перевод даже звук оригинала. Когда она переводила стихи Егише Чаренца «Ергир, поэт, ергир…», ей казалось, что правильно будет перевести: «Греми, поэт, греми…». Это уже потом она отказалась от таких попыток, затрудняющих естественное течение русского стиха, и перевела: «Пой песню, пой, поэт!».

В 1936 году вышла в свет в переводе Веры Звягинцевой известная сказка Ованеса Туманяна «Пёс и кот». «Сравним несколько отрывков дословного перевода этой сказки с переводом Звягинцевой», — писал Г. Агасов в рецензии на перевод. И вот как он сравнивал:

Оригинал: «Что, любезный? Или пронял тебя холод? Дай мне перевести дух. Не лёгкое же это дело! Только что я обрызгал овчинку водой, чтобы приняться за шитьё».

Перевод:

Иль замёрз ты? Фу, чудак,
Не даёшь вздохнуть никак.
Я не шью так просто, сдуру,
Вот обрызгиваю шкуру…

Сопоставляя таким странным образом свой дословный перевод с поэтическим переводом Звягинцевой, Агасов заключает: «Выпуск сказки Туманяна в переводе В. Звягинцевой — это провал Арменгиза, и ему следует извлечь из этого соответствующий урок»[1].

Но перевод Веры Звягинцевой не удался отнюдь не по тем соображениям, которые выдвигались придирчивым и суровым критиком, отнюдь не потому, что он был сделан вольно. Здесь, как и в других переводах того же времени, Звягинцева переводила ещё слишком «точно», стесняя себя в выборе слов, довольствуясь в ряде случаев дословной близостью к тексту.

Вера Звягинцева словно старалась выполнять требования своего будущего критика. Но установка на буквальность приводила к резкому снижению художественного уровня.

С. Маршак, создавший перевод той же сказки Туманяна, вообще не выдержал бы проверки по методу дословного сравнения, применённого Г. Агасовым. Маршак отошёл от буквы подлинника, чтобы приблизиться к его сути. И сделал это великолепно.

Этот единственно верный путь в практике реалистического перевода был избран Звягинцевой. Вообще она придерживалась в своей переводческой работе той точки зрения, что, читая переводы, «русский читатель должен наслаждаться горячим, искренним русским стихом, хотя и передающим колорит, характер народа, стиль переводимого поэта, но средствами русской поэзии — реалистичной, естественной, свободно читающейся».

Так сделаны лучшие переводы Веры Звягинцевой. Баллада Гегама Сарьяна «Дэлфрош и Эл-Нури» передана прекрасным русским стихом и сохраняет в переводе восточный колорит подлинника и звонкую музыкальность стиха Гегама Сарьяна.

---

[1] «Детская литература», 1937, № 18, с. 42 — 43.

Погожий вечер был хорош.
Остановился Эл-Нури
Перед окном своей Дэлфрош,
И так взмолился Эл-Нури:
— Моя Дэлфрош, моя Дэлфрош,
Кинь на прохожего свой взгляд, —
Ты в сердце горестном найдёшь
Опустошённый бурей сад.
Трава повяла,
Засохли лозы,
Любовь украла
И сон, и слёзы.
О, выгляни в окно, Дэлфрош,
Не выглянешь — меня убьёшь. —
Глядит Дэлфрош на Эл-Нури
Из приоткрытого окна.
(Ах, в сердце нож у Эл-Нури),
Глядит и говорит она:
— Ступай, прохожий,
Своей дорогой.
Лицом пригожий —
Меня не трогай.
Твоя хвала мне — что хула, —
Мне люб охотник Рухулла.
Не стой напрасно
Здесь у порога.
Ступай, несчастный,
Своей дорогой.
. . . . . .

Эти и другие стихи Гегама Сарьяна В. Звягинцева перевела особенно хорошо. Г. Сарьян в её переводе так же музыкален, как и в подлиннике.

Звягинцева следовала в своих переводах характеру оригинала, — его интонации. Она входила в мир переводимого поэта и, когда переводила, дышала его воздухом, жила его чувствами. «Я начала переводить Чаренца, — вспоминала Звягинцева, — и от накала его стихов у меня буквально поднималась температура».

Широко известны в переводах Звягинцевой стихотворения украинских поэтов (Ив. Франко, Т. Шевченко, Л. Украинки, П. Тычины, М. Рыльского, Л. Первомайского). Переводила Звягинцева многих грузинских поэтов: Ал. Чавчавадзе, А. Церетели, Ираклия Абашидзе, стихи об Армении Иосифа Нонешвили и других. Нельзя не вспомнить о её переводах из таджикской классики (Хафиз, Камоль Худжани и другие).

Эти её переводы — как и переводы с армянского — отмечены высоким мастерством. Лучшие из них обогатили русскую поэзию, стали достоянием и русской культуры.

2

В конце 1958 года было принято решение об издании нового журнала «Литературная Армения». Первый номер вышел в свет в том же 1958 году. Редактор журнала Гурген Борян очень хотел уже в первом номере дать рецензию на сборник стихов Веры Звягинцевой «Зимняя звезда» (М., 1958). Материалы номера были готовы, а рецензия, заказанная кому-то из известных литераторов, не была ещё написана. Гурген Борян разыскал меня и попросил, чтобы я срочно написал о книге Звягинцевой. Через неделю рецензия была готова. Её напечатали, очевидно, потому что лучшей рецензии не было. Я написал восторженно, но неумело.

Некоторые стихотворения, вошедшие в «Зимнюю звезду», были и в более раннем её сборнике «По русским дорогам» (М., 1946). Мне показалось, что в одном из стихотворений Звягинцева ухудшила старый текст. По сборнику 1946 года конец стихотворения «Повиликой молодость повяла…» читался так:

Если б в смертный час меня спросили:
Чем же здесь ты счастлива была?
Я б сказала: я жила в России,
По её дорогам я прошла.

В рецензируемом сборнике эта же строфа читалась иначе:

Если б там, нигде, меня спросили:
Чем же ты так счастлива была?
Я б сказала: я жила в России,
По её дорогам я прошла.

Я написал, что во второй редакции стих теряет в ясности и выразительности.

Когда в начале января 1959 года Звягинцева прилетела в Ереван на Четвёртый съезд писателей Армении и мы познакомились, она поблагодарила за рецензию и сказала:

— Неужели вы не чувствуете, что «там, нигде» лучше, чем «в смертный час»? У меня всегда было «там, нигде». В 46-м году по просьбе редактора я переделала на «смертный час…».

Теперь я знаю, что Звягинцева была права, а тогда не понимал этого. Звягинцеву огорчило не столько само замечание, сколько то, что чего-то я не понимаю, не чувствую.

Её огорчало непонимание. И дело было не только во мне. Вера Клавдиевна говорила, что критики плохо чувствуют стих, что особенно плохо чувствуют слово пишущие о переводах. «Есть у нас, конечно, много понимающих читателей, но ещё сравнительно мало, — писала она в июне 1964 года. — А вкус портят и выступления, и критика… Мартынова, Смелякова, Тарковского, Самойлова — этих поистине прекрасных поэтов знают мало». Она говорила, что очень трудно переводить, если армянские читатели «не слышат русского стиха, им всё кажется неточным, а переводить очень точно — это будет скучно для поэзии вообще».

«Я не могу ему доказать, — писала она об одном критике в июле 61-го года, — что́ по-русски хорошо, что́ тяжело и неестественно. Если человек не абсолютно знает язык и, кроме того, не чувствует прелести стиха — что я могу поделать!»

Звягинцева не оставляла без отклика мои статьи о переводах. Она старалась объяснить мне, в чём я прав, а в чём не прав. «Кое в чём с вами не согласна, например, с критикой Антокольского (о стихах Наири Зарьяна), да и перевод С., хотя очень близко, очевидно, и очень по-армянски, но как русские стихи это не так уж замечательно… Это как раз та выспренность, которая в современной армянской поэзии отдаляет её от русского читателя» (октябрь 1959 года).

Вера Клавдиевна оберегала меня от ложных критериев оценки стихотворного перевода, от критического буквализма. «Не сердитесь за замечания, права ли я или нет — я должна высказаться искренне. Моя любовь к Армении даёт мне на это право». Звягинцева постоянно обращала моё внимание на необходимость оценивать стихотворные переводы как стихи: если нет стиха — нет и перевода, каким бы точным нам ни казался такой перевод.

Звягинцева оказала влияние на моё понимание самой сути поэтического перевода. Очень скоро мне стало ясно, что нельзя писать о переводах на русский язык, не учитывая того, как перевод звучит по-русски и звучит ли он вообще.

Я понял и другое: критики-буквалисты, не умея правильно оценивать трудную, двойную, как говорил Борис Пастернак, работу переводчика, оказывают дурную услугу важному делу пропаганды родной литературы.

Конечно, легко (и выгодно!) по всякому поводу ругать переводчиков и утверждать: «Наша литература достойна лучших переводов». Вроде бы такой критик отстаивает интересы своей литературы. Но если он, этот критик, ничего не хочет делать сам, чтобы существовали лучшие, с его точки зрения, переводы, а работа других его раздражает, вызывает зависть, если он только тем и занят, что хочет разрушить построенное другими, он уже не критик, а критикан и о «лучших переводах» говорит демагогически. «Я помню, — писала Звягинцева в июне 1962 года, — как грузинский литературовед заступился за меня по поводу какой-то критики.

Некоторые переводчики, десятилетиями переводившие армян, просто отошли от Армении. Такое непонимание и такая неблагодарность могут довести до отказа от армянской поэзии. Я не могу разлюбить армянскую землю, народ, историю, но могу перестать переводить. Это я Вам по дружбе…»

Хотя Звягинцева и написала в сердцах, что может не переводить с армянского, на самом деле она не могла жить, ничего не делая для армянской поэзии, не могла представить себе периодику без своих армянских переводов. Именно поэтому она переводила иногда поэтов средних, переводила иногда стихи слабые.

«Всё, что вы пишете относительно того, что не надо переводить плоховатые стихи, конечно, правда, но если я буду переводить только Кучаков и Исаакянов, то я буду печататься в небольшом количестве — раз в три года!!!

Дело не в деньгах, это меня меньше всего интересует, но тогда меня через два года начисто забудут в той же Армении. А ещё: моя миссия — служение армянскому народу, а в него входят и молодые, неизвестные поэты».

Звягинцева неоднократно возвращалась к этой волнующей её теме: «Вообще я что-то перехожу больше в поэты из переводчиков. Конечно, только Армению буду переводить до гробовой доски, хотя мне шлют не очень хорошие стихи, а наши модные поэты увлекаются “модернистскими” переводами, которые делают из них Сэлинджеров и Евтушенок…»

В конце 50-х — начале 60-х годов широкая, шумная популярность творчества ряда молодых русских поэтов оказала влияние и на русские переводы. Евг. Евтушенко, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский переводили вольно. Кроме того, им подражали некоторые переводчики. О новых веяниях в практике стихотворного перевода Звягинцева высказывалась неодобрительно. «Большие наши поэты… просят переводить “модную молодёжь”, которая из них делает модернистов. А я перевожу то, что написано, — старая манера… Мечтаю о Варужане, обещают издать в Гослите» (март 1963 года). В письме, датированном ноябрём 1962 года, она сообщала: «Перевожу только молодых, — приходят, просят, а знаменитости перешли на переводчиков «модерн».

Любовь Звягинцевой к Армении не была лёгкой. Она глубоко переживала малейшее проявление невнимания, нетактичности. А мы, увы, бываем и невнимательны, и нетактичны. Звягинцева хотела, чтобы в её любимой Армении всё было идеально, и, если что

было не так, она страдала. В совершенном отчаянии она вдруг писала: «Ну что же я могу ждать от моих дорогих армян, если на писательском пленуме были высказаны “дельные” замечания о низком уровне переводов классиков армянской поэзии???!!!» И в этом же письме (начало июня 1962 года) с грустью сообщала: «А Борян в заметке о Кучаке пишет, что напрасно я употребляю такое “грубое”, плотское слово, как “лобзание”. А что у Пушкина и у других классиков постоянно употребляется — это как?!! А Кучак более грубоватым должен быть. Наоборот, слово “лобзание” слишком пышно и возвышенно».

Звягинцева должна была постоянно чувствовать, что она нужна Армении. Без этого чувства ей трудно жилось. Но зато как она радовалась, узнав, что в Армении ждут её переводов, ждут её стихов. Радовалась, если даже повод был незначительный. «Один мой знакомый был, примерно с месяц назад, в Ереване, — писала Звягинцева в марте 1965 года, — и на улице слышал, как один сказал другому: “А книга Звягинцевой вышла?..”»

* * *

Как переводчица армянской поэзии Звягинцева работала много и самоотверженно. Были у неё любимые переводы. Любила она свои переводы из Наапета Кучака.

Сборник Кучака в её переводах вышел в свет в 1961 году (М., «Художественная литература»). В предисловии к переводам Аршалуйс Аршаруни писал, что Звягинцева «вошла в весенний, блистающий яркими красками цветущий сад поэзии Кучака и с большим вкусом, с любовью собрала букет из его песен-айренов».

Букет и сад предполагают, казалось бы, соответствующий стиль — цветистый, приподнятый. Но айрены и для Аршаруни, и для Звягинцевой не были традиционно понимаемым цветником восточной поэзии. И хотя Звягинцева хорошо владела искусством передачи «восточного слога», ей было ясно, что айрены надо переводить другим языком — простым, сдержанным. В октябре 1959 года Звягинцева писала:

«Кучака ощущаю вовсе не как “певца любви”, как принято было до сих пор в Армении; мне думается, что он главным образом поэт мысли, прямой, мужественный, народный, иногда борец против несправедливости строя, иногда даже в какой-то мере атеист. Это я всё разглядела в его стихах. В нём нет сладости и женственности Саят-Новы и многих других, в нём отчётливость, реальность, даже любовь у него не “пышно-сладкая” — а народная, чуть грубоватая, много сдержанного юмора. Боюсь, моего Кучака не сочтут обычным Кучаком, но я уверена, что я права в восприятии его, и для русского читателя он таким будет ближе, чем в прежних переводах…

Работаю над ним тщательно и давно, из-за этого не сдала даже вовремя книгу».

Звягинцева не то чтобы модернизировала подлинник, но передала айрены стихами, близкими современному русскому читателю:

Люди пришли и сказали: — Стал твой любимый монахом. —
В недоуменье безмолвном я размышляю со страхом:
Как он смирится с горохом — сладкое ел на пирах он,
Как власяницу наденет — к тонким привык он рубахам?!

В отдельных случаях Звягинцева несколько расширила смысл подлинника. Не будучи беспристрастна к переводимым стихам, она высказывала своё отношение к мыслям, выраженным в подлиннике. В одном из переводов Звягинцевой читаем:

Я шёл по улице, увидел огни горящих свеч,
Лежал там юноша умерший, перед тем как в землю лечь.
И вдруг свеча заговорила: — Живых бы вам беречь,
Сгорел он, что ж над головою моею пламя жечь?!

В подлиннике нет этого «живых бы вам беречь». Эта мысль привнесена переводчицей. В этом сказалась её воля. Нельзя переводить стихи, не выражая к ним своего отношения. Хорошо, когда при этом мысль подлинника не корректируется. Переводы Звягинцевой согреты и личным отношением, и стремлением сохранить идею подлинника нетронутой, хотя в данном случае мысль подлинника приобретает новое, дополнительное значение — любите живых. Переводчик, думается, превысил свои полномочия.

Особенно прекрасны в переводах Звягинцевой айрены обличительные:

Цари, князья, врата закона, властители земли,
Вы, злых начальников поставив, скрываетесь вдали.
Пришли к вам те, кого на горе, на смерть вы обрекли.
Подумайте, они не к богу — к вам с жалобой пришли!

Кучак — поэт, полный сердечного сочувствия к народу, автор песен о пандухтах — скитальцах, добывающих кусок хлеба на чужой неласковой земле. В переводах Звягинцевой передана горечь одинокой жизни странника на чужбине, тоска по родному очагу:

Жалок тот, кто, имея немало родных и семью,
Сам от них оторвался и жизнь омрачает свою.
Все по праздникам вместе, как будто в цветущем раю.
Он же сломанной веткой иссохнет в пустынном краю.

Беда и непопулярность многих переводов с армянского в том, что они часто, удовлетворяя всем требованиям верности и точности, оказываются плохими стихами. У переводчика, говоря словами Тургенева, нет стиха. Переводы Звягинцевой тем и хороши, что она стремилась сохранить основное качество айренов — их художественность.

Кучак Веры Звягинцевой был встречен в Армении доброжелательно, но чувствовалась в оценках какая-то сдержанность. До Звягинцевой хорошо перевели цикл айренов Кучака Брюсов и Сологуб. Отдельными книгами ка русском языке Кучак издавался в очень плохих переложениях А. Амбарцумяна (1904) и Ал. Степанэ (1941). Звягинцева во многом реабилитировала «русского» Кучака. Но её работа, как теперь я вижу, не была тогда должным образом оценена. Я и сам в том повинен; у меня была в армянской литературной газете «Гракан терт» небольшая статья о Кучаке Звягинцевой. Русский текст статьи я послал Вере Клавдиевне.

«Дорогой Левон, — ответила она в июле 1962 года, — большое спасибо за статью и за перевод её. Правда, я представляла себе, что Вы напишете иначе. Всё-таки Вы очень много говорите о неудачах, а в чём они — мне не видно.

Моё дело — смысл, интонация и характер поэта. Да и детальных отступлений у меня очень мало, разве что подстрочник кое-где был не ясен. Но это я уж слишком многого хочу от восприятия армянского читателя!.. В общем, спасибо. Ещё буду работать над новыми айренами и “приближать” уже переведённые. Вот для приближения мне и надо знать, где я действительно отступаю не в деталях, а в содержании. Как-нибудь Вы мне напишите о нескольких неверностях (с Вашей точки зрения), и я подумаю. Для меня и для русских читателей самое главное естественность интонации и реалистичность в передаче столь далёкой по времени поэзии. Знаю, что о моём Кучаке было в Бейруте, и в Нью-Йорке, и в “Новом мире”…»

* * *

Горячо был принят Кучак Звягинцевой студенчеством Еревана. Оно зачитывалось её Кучаком.

В октябре 1963 года Звягинцева приехала в Армению. Узнав об этом, студенты русского отделения филологического факультета университета организовали встречу с ней. Пришли на вечер и студенты армянского отделения.

Позже, вспоминая об этом вечере, она писала в своих заметках об Армении:

«Молодёжь в университете мила, смела, начитанна. Слушают превосходно, многим интересуются. Пишут рефераты о моих стихах об Армении, знают Кучака и по-армянски, и по-русски.

Мне хочется благодарить их, а не принимать их благодарность. Ведь это они — моя Армения. И то, что они знают мои стихи о ней (о себе самих), — это мне очень дорого».

Впечатление было настолько сильным, что Звягинцева написала стихи «Армянской молодёжи»:

Нейдёт из головы тот разговор
С гурьбой студенческой порой осеннею.
Меня спросил разноголосый хор:
— За что так полюбили вы Армению?![1]

Молодёжь, увлечённо читавшая переводы Звягинцевой, радовала её. Она много думала и говорила о новых переводах: «Вы обещали мне подстрочники непереведённого Кучака, — писала она в апреле 1964 года. — Мне хочется иметь, хотя сейчас у меня трудная и не маленькая работа, но в июле — августе я в Коктебеле хочу, на террасе, под плеск моря и шелест сада, заниматься Кучаком».

Я послал подстрочники ряда стихотворений. Были подстрочники и таких айренов, которые Звягинцева уже переводила. Они были посланы по недосмотру. Звягинцева решила, что это сделано специально для того, чтобы она исправила свои переводы. «Неужели вы не помните моих Кучаков о зелёном лице, о лампаде и храме? Всё это, и птица, ночью не спящая, напечатано!!! Ну, я, может быть, что-нибудь переделаю, но таких слов, как “соски”, вы от меня не дождётесь: я вам не Аксёнов… И даже не Хемингуэй (последнее — к сожалению), я реалист, но в меру».

Идея переиздания дополненного сборника своих кучаковских переводов увлекла Звягинцеву очень. В мае 1905 года она писала о своём разговоре с другом: «Сейчас он прочёл мне по телефону чудное своё стихотворение… И сердце щемит от моей непреходящей, непостижимой любви к Армении. Он говорил мне, что меня бранили за Кучака…»

В 1972 году издательство «Художественная литература» выпустило наконец избранный томик Наапета Кучака.

Переводы Звягинцевой заняли в этом однотомнике достойное место. Они вошли также в книгу «Средневековая армянская лирика», вышедшую в свет в том же 1972 году («Библиотека поэта», Большая серия). Взыскательному редактору «Средневековой армянской лирики» Марии Петровых очень нравился Кучак Звягинцевой. «Алмазные переводы Веры Клавдиевны», — говорила она. Оба эти издания Звягинцева видела. Но она была уже тяжело больна. Да и мечтала она о большем — о своём новом сборнике Наапета Кучака.

В нашей переписке, в наших разговорах много места занимал ещё один поэт — Аветик Исаакян.

---

[1] Стихотворение впервые опубликовано в журнале. «Достаньте № 1 “Литературной Армении”, — писала Звягинцева в феврале 1965 года, — и покажите девушкам в университете, там стихи “Армянской молодёжи” — про нашу встречу».

«Мне посчастливилось: мне дарил свою дружбу великий поэт Аветик Исаакян…» — писала Звягинцева в одной из своих заметок[1]. В письме сообщала некоторые детали, частности:

«Я получила из Исаакяновского музея просьбу прислать письма, воспоминания, фотографии…

Воспоминаний не люблю писать, всё, что помнишь, не всегда подходит для опубликования, а писать официально не люблю. Писем он мне не писал, бывать у него я бывала, и провожал он меня домой в “Интурист”, ещё когда жил на углу ул. Гнуни…» (8 сентября 1961 года).

Звягинцева знала, что меня очень интересует всё, что касается Исаакяна: я писал книгу о нём и просил её рассказать об исаакяновских переводах, о том, как она работала над ними. В начале июня 1959 года пришло от Звягинцевой большое письмо. То были её заметки о работе над лирикой Исаакяна (эти заметки, очень интересные, опубликованы в моей книге «Аветик Исаакян и русская литература», Ереван, 1963).

Работая над упомянутой книгой, я изучал брюсовский перевод знаменитой поэмы Исаакяна «Абул Ала Маари». Новый, сделанный Антокольским, критика признала неудачным. Звягинцева считала, однако, что работа Антокольского превосходна. Она обиделась за него и в ноябре 1960 года писала мне: «Не говорю уж о беспрецедентном охаивании переводов Антокольского — одного из самых блестящих поэтов и переводчиков! Его просили, вернее, упросили перевести “Абул Ала Маари”, потому что перевод Брюсова (при всём нашем безграничном уважении к его деятельности) тяжёл для русской поэзии».

Но дело в том, что я тоже считал (и сейчас считаю), что из двух русских переложений «Абул Ала Маари» лучший — брюсовский. Это, конечно, не значит, что Антокольского надо охаивать. Я написал Звягинцевой о своих взглядах на оба перевода. «Вам же, мой милый молодой друг, я хочу попробовать доказать, что перевод Антокольского лучше брюсовского», — ответила Звягинцева подробным письмом. Некоторые её замечания были бесспорны и интересны, но в целом она не убеждала.

Спустя четыре года Звягинцева вспомнила о нашей полемике. «Дурян у меня всё же есть, но есть и стихи, которые переводил Брюсов, уж их-то я не стану переводить, а то вы и Камсар меня в порошок сотрёте, как моего дорогого Антокольского за Исаакяна».

Звягинцева не бралась за стихи, кем-то уже переведённые. Она просила узнать, нет ли неизвестных стихотворений Исаакяна. «Хочется напомнить о нём читателям. Хотя бы одно стихотворение…» Племянник Исаакяна А. Г. Исаакян послал ей подстрочники нескольких стихотворений. Звягинцева сразу же их перевела любовно, талантливо. «Переводы неопубликованных стихотворений Варпета “Дружба народов” возьмёт, но хорошо бы ещё парочку. Акоп Салахян сказал, что попросят Тихонова сделать маленькую “шапку” к переводам и дадут. Но не сейчас — октябрьский номер уже готов и весь посвящён съезду». В этом же письме она сообщала: «Недавно в нашей секции и в Гослите было обсуждение нового издания “Библиотека сокровищ мировой лирики”. Я выступила, чтобы был Исаакян, так как Туманян силён больше всего поэмами и сказками, а Исаакян — лирик мирового звучания» (сентябрь 1961 года).

Вскоре после этого письма А. Г. Исаакян послал Звягинцевой новые подстрочники.

«Тут есть чудесные, хотя и мрачные, стихи, но это же годы скитаний и пора самодержавия, — писала Звягинцева в сопроводительной записке к своим переводам. — Кое-что перевела (для русского стиха) не совсем уж точно. Но вообще очень близко.

---

[1] Вместе с тем, когда в сентябре 1964 года я послал Звягинцевой корректуру своей статьи о ней, статьи, в которой писал, что её связывала многолетняя дружба с Исаакяном, она меня поправила: «Я убрала в корректуре дружбу с Варпетом (этого всё-таки не было)».

Каждое стихотворение переделывала по 10 — 12 раз и столько же перепечатывала. А с виду просто…»

Простота, или, как сказала в другой связи Анна Ахматова, «головокружительная простота», была основным свойством лирики Исаакяна. Его потому и называли Варпетом, Мастером, что его стихи были лишены примет маклерства. Он, так сказать, преодолел мастерство, как преодолевают звуковой барьер: звука нет, ибо звук остался там, за скоростью. Так и у больших мастеров поэзии — их стихи лишены примет мастерства. Мастерство словно бы осталось за стихом, оно преодолено.

Безыскусственность исаакяновского стиха удивительна. Её-то и старалась воспроизвести Звягинцева. Когда некоторые её переводы были опубликованы, она писала: «Видели ли вы мою подборочку Исаакяна в “Литературной Армении”? По-моему — мило и очень пахнет Исаакяном. Нравятся мне главным образом стихи: “Пусть над безымянной могилой моей…” и “Растерянно дикие утки взлетали…”».

Звягинцева посвятила Исаакяну несколько статей и ряд проникновенных стихотворений.

Когда читаешь Исаакяна, говорила она, «словно кто-то проводит смычком по сердцу». Она писала об этом в стихотворении «Аветик Исаакян»:

Как болит моё сердце, как бьётся
От задумчиво-скорбных стихов:
«Погоди, караван! Мне сдаётся,
Что из родины слышу я зов…»

Звягинцева цитирует здесь Исаакяна в переводе Александра Блока. Она боготворила Блока. Она писала о нём в своих ранних стихах и в поздней лирике. Очень любила Звягинцева блоковские переводы из Исаакяна.

Об одной своей статье, посвящённой Исаакяну, Звягинцева сказала: «Написала лично и правдиво». И писала она как поэт, избегая терминологической сухости, нарочитой научности слога. Она говорила об Исаакяне, что это «человек с лицом со старинной армянской фрески, с тяжёлой походкой, как бы утомлённой тысячелетними армянскими дорогами». Это очень точно портретно, но точность здесь не внешняя. Аветик Исаакян — поэт армянской судьбы. Так и написан его портрет Верой Звягинцевой.

* * *

В 1963 году я составил книгу избранных армянских переводов Звягинцевой и её стихов об Армении (первое издание «Моей Армении» — так называлась книга — вышло в свет в конце 1964 года, второе — в 1969 году).

«Моя Армения», как говорила Звягинцева, была её главной армянской книгой. Правда, ещё в 1960 году была издана на армянском языке книга её стихов «Зимняя звезда». Звягинцева придавала этому изданию большое значение. И всё-таки её многолетняя работа переводчика армянской поэзии была обобщена в «Моей Армении».

Часто поэты включают в свои сборники решительно всё, что было ими переведено. Звягинцева хотела отобрать свои лучшие переводы. Она мне прислала список тех своих переводов, которые хотела бы видеть в «Моей Армении». И к отбору своих собственных стихотворений она относилась строго. «Да, если будет книга, — писала она в октябре 1963 года, — пусть так, как вы нарисовали. Но не надо стихов ни о Грузии (речь идёт о стихотворении “На смерть Исаакяна”. — *Л. М.*), ни “Есть у меня давнишняя любовь”, мне сейчас оно не нравится, при чём тут Рим, Париж?! Не нравится». Звягинцева тщательно просматривала состав книги. То ей казалось, что надо бы включить в книгу ещё какие-то стихи: «У меня так много оказалось переводов Сильвы, и мы далеко не лучшие взяли. Я не помню, есть ли у

нас знаменитое “Слово сыну”? Есть очень милое Антуни, а мы не взяли… Ну и Геворка мало, но всего сразу не сообразишь»; то вдруг она писала, что книга её не радует: «Что-то я не радуюсь нашей книге, стара она, что ли?.. многие переводы надоели… Не сердитесь!»

Всё это говорит о её пристрастии, о том, что она много думала о книге. Однажды мы поспорили. Я был против того, чтобы в книгу вошли переводы стихов-воспоминаний о прошедшем детстве: стихи мне казались однообразными и сентиментальными. Звягинцева возражала. В стихотворении, посвящённом мне, она писала:

Опять стою у старенькой калитки[1]
На маленьком клочке большой земли.
Сюда, как перехожие калики,
Меня воспоминанья привели.
Стараюсь в незабытый сад вглядеться,
Пахнуло вдруг вечерней резедой…
Но вы не любите стихов о детстве,
Недавний друг мой, слишком молодой…

Звягинцева хотела, чтобы в книгу вошли не просто её лучшие переводы, но стихотворения, ей как поэту близкие. И ей было грустно, что я не всегда в силах её понять.

…В январе 1965 года я был в Москве. Звягинцева, только что получившая экземпляры «Моей Армении» (она вышла в самом конце 1964 года), надписывала книгу друзьям. «Нет имени выше и прекраснее, чем имя Мартироса Сарьяна, нет чести высшей, чем честь быть его верным другом» — так был надписан экземпляр, посланный Сарьяну.

В «Моей Армении» были стихи, посвящённые художнику.

— Теперь о Сарьяне пишут все, — говорила Вера Клавдиевна, — а я написала о нём в 1940 году, когда он не был так почитаем. И Армению полюбила не такую всеми посещаемую, туристическую…

«Моя Армения» удостоилась хороших отзывов, что не могло не радовать Звягинцеву: «Про “Мою Армению” многие говорили и звонили. Особенно нравится Чуковским, и Корнею в том числе».

Звягинцева, однако, опасалась, что «Мою Армению» могут воспринять как книгу, подводящую итог её работе переводчика армянской поэзии. А она была полна замыслов… «Конец работы над “Моей Армением” не есть конец моей Армении», — писала она в феврале 1965 года.

Время работы над «Моей Армением» совпало с началом моего увлечения тысячелетней поэзией Григора Нарекаци, его «Книгой скорбных песнопений». Я попросил Звягинцеву перевести отрывки, думая, что успеем их опубликовать в «Моей Армении».

«Если пришлёте немного Нарекаци — попробую», — писала Звягинцева в августе 1963 года. Но только в 1966 году были посланы Звягинцевой подстрочники отдельных глав «Книги скорбных песнопений». «Да, — сообщала Звягинцева в июне 1966 года, — я перевела Нарекаци, ещё не отделала. Но куда вы его денете, такого скорбного и всё время разговаривающего с богом?»

---

[1] Здесь («Опять стою у старенькой калитки…») Звягинцева имеет, очевидно, в виду своё стихотворение 1939 года «Калитка»:

Нет, не стереть даже счастья избытку
Давнего детства любимый узор,
Я и во сне отворяю калитку
В старый, заросший крапивою двор…

Нарекаци, мне думается, не удался Звягинцевой. Кроме того, работа над ним была всего лишь эпизодом в её многолетней деятельности. А ведь это поэт трудный, не поддающийся переводу. И всё-таки я с благодарностью думаю и об этой небольшой работе Звягинцевой. Она хотела что-то сделать для Нарекаци и дать хоть какое-то представление русскому читателю о «Книге скорбных песнопений», тогда совершенно неизвестной в России. Отрывки из её перевода были опубликованы в 1966 году в Ереване и в 1969 году в «Литературной России» (в номере от 14 ноября).

* * *

В рецензии на «Зимнюю звезду» я писал, что стихи Звягинцевой заражают нас чувством жизни, если даже это стихи о смерти близкого ей человека. В подтверждение называл, в частности, стихотворение «Так я и не успела…».

Вскоре, в январе 1959 года, в разговоре с Верой Клавдиевной я вновь упомянул это стихотворение и прочёл по памяти его конец:

Небо рыдает громом,
Первой грозой весенней,
Люди идут за гробом,
Тучи плывут в смятенье.
Слышишь ты — кто-то стонет,
Видишь ты — льются слёзы.
Это тебя хоронят
Против большой берёзы.

Звягинцева сказала, что стихотворение написано об Александре Фадееве, о его похоронах. И горячо, вдохновенно стала рассказывать о Фадееве, о том, как он любил Армению, как «вернул армянам Раффи» (одно время книги Раффи не переиздавались, Фадеев сыграл решающую роль в восстановлении доброго имени этого выдающегося романиста).

Звягинцева была верна, предана своим друзьям. Она говорила, что дружба священна. «Измена в любви возможна и естественна. В дружбе — чудовищна», — писала она в январе 1967 года.

Можно не согласиться со Звягинцевой, сказать, что и в любви измена чудовищна. Но, очевидно, и любовь сильна дружбой. Мало радости в любви без дружбы. «Человеку нужен человек», — сказала Звягинцева в стихотворении «Долго мы судили и рядили: что всего нужнее на земле…».

* * *

В 60-х годах здоровье Веры Клавдиевны ухудшилось. Она отказывалась от поездок, хотя любила ездить.

Я, конечно, ещё могу
В самолёт рано утром сесть,
Чтоб взглянуть на Масис в снегу,
Постоять часок над Зангу
И, как смолоду, на бегу
Суток пять прожить или шесть, —

писала она в 1962 году в стихотворении «Под уклон пошло, под уклон…».

В октябре 1963 года мы с Верой Клавдиевной (она прилетала на юбилей Саят-Новы) гуляли по Еревану.

— Вот и постояли часок над Зангу, — сказала Звягинцева.

Позже, в октябре 1965 года, она писала: «Дорогой Левон! Может быть, “постоим над Зангу”, кто его знает. У меня бессонница и пониженное давление, которые, правда, не могут меня остановить. “Скрестите мне руки, закройте веки — я всё-таки оживу”. Николай Корнеевич говорит, что мы с ним поедем и Шервинский».

Во второй половине ноября мы с Верой Клавдиевной постояли часок над Зангу. Не было Николая Корнеевича Чуковского. Его внезапная смерть потрясла Звягинцеву. Она очень дружила с семьёй Чуковских — Мариной Николаевной и Николаем Корнеевичем.

«Я как топором по голове оглушена. С дней смерти моего мужа я не испытала такого ужаса, такого удара. Николай Корнеевич…

Накануне мы сидели около пяти часов подряд, обсуждали “Литературную Армению”, всё говорили. Он говорил блестяще, ярко, был красив, весел…» — писала Звягинцева 9 ноября 1965 года.

Письмо было подробным. Вере Клавдиевне было больно, она хотела высказаться. «На траурном митинге прекрасно говорил Атаров о русской интеллигенции. И Сергей Сергеевич. Похоронили на Новодевичьем. Этому имени нет. Жизнь ужасна, Левон!!

Николай Корнеевич звал меня только “ВЭ КА”».

Смерть Николая Чуковского была потерей для армянской литературы. Он любовно популяризировал армянских поэтов. Его переводы из Аветика Исаакяна и Гегама Сарьяна прекрасны[1]. В последние годы жизни он возглавлял совет по армянской литературе при Союзе писателей СССР, начал свою работу председателя совета энергично, был полон планов…

* * *

20 ноября 1965 года в редакции одной ереванской газеты была организована встреча с Верой Клавдиевной. Она отвечала на вопросы, читала стихи. Сидела Звягинцева за большим редакторским столом. Попросили, чтобы она прочла своё известное стихотворение «Моя Армения».

— Не знаю почему, но это стихотворение я должна читать стоя, — сказала Вера Клавдиевна.

Встали и все присутствующие.

И куда же меня занесло?
От черёмух, плетней и акаций
Перекинуло к солнцу в жерло
К лиловатым снегам Арагаца!

Не в библейский — в сегодняшний рай.
В терпкий запах рехана и перца,
В этот рыжий обветренный край,
Где от песен заходится сердце.

В детстве — рожь, куролеп на лугу…
А теперь не прожить мне и часа,
Не подумав о бурной Зангу,
О певучей весне Комитаса…

читала Звягинцева, и было как-то особенно торжественно и чисто. Читала она, словно клялась в любви и верности нашей земле, нашему народу.

---

[1] Избранные стихотворные переводы Н. К. Чуковского собраны в его книге «Время на крыльях летит…». М., 1967.

Вера Звягинцева очень страдала, что не могла из-за здоровья ездить в Армению так часто, как ей хотелось: «Поеду в скучное Переделкино, но главное, мне бы вылечиться для Армении» (июнь 1966 года); «Мне сказали, что съезд 17 ноября… А у нас уже снег. Я включена в делегацию, но могут и отключить… Скажут, что больная… А я больна или здорова — всё равно полетела бы, только по гостям бегать не стала бы» (октябрь 1966 года); «Вы спрашиваете, как работается. Увы, не “работается”, а только “болеется”. Скоро наедут армяне, а меня как не бывало» (3 мая 1967 года); «Будут армянские вечера, но выступать я не смогу. Опять же по слабости и безглазию» (23 мая 1967 года).

Был период, когда Звягинцевой стало лучше. 11 марта 1969 года она пришла в Центральный Дом литераторов на творческий вечер Сильвы Капутикян. Выступила. Она очень ценила лирику Капутикян. В январе того же 1969 года Звягинцева писала о ней: «Её стихи — это голос страны с трагической историей и несказанными печалями в прошлом, голос страны неиссякаемого жизнелюбия и трудовых подвигов…» («Литературная Россия», 17 января).

В июне — июле 1969 года Звягинцева отдыхала в переделкинском Доме творчества, а я там же, в Переделкине, заканчивал чтение вёрстки последнего, третьего тома сочинений Ованеса Туманяна на русском языке. Некоторые статьи Туманяна, вошедшие в третий том, по просьбе Звягинцевой я читал ей вслух. «Хорошо написано о смерти Цатуряна», — заметила она.

— Вы же из Грузии. Вам близка любовь Туманяна к Грузии, — сказала Звягинцева, слушая вдохновенное слово армянского поэта о Грузии и грузинах, слово, идущее, как сказал бы Нарекаци, из глубин сердца.

…Ещё раз я встретил Веру Звягинцеву в переделкинском Доме творчества в августе 1972 года, за месяц до её смерти.

Звягинцева лежала с переломом ноги. Её должны были перевезти в больницу. Наши разговоры были короткими:

— Вчера приходили две девушки из Еревана, студентки. Цветы принесли.

— А в Армении все поумирали — Маари, Наири Зарьян, Мартирос Сарьян и даже Паруйр Севак.

Звягинцева спросила, читал ли я «Новый мир»;

— Была подборка от Сильвы до Геворка[1].

Иногда она говорила несколько слов по-армянски:

— Ес айерен хосум ем, кардум ем (я по-армянски говорю, читаю).

И ещё в конце августа в больнице (ей было совсем худо) она сказала:

— Бари гишер, бари луйс, бари кянк. (Доброй ночи, доброго утра, доброй жизни.)

Вера Звягинцева прощалась с Арменией, любовь к которой («…И сердце щемит от моей непреходящей, непостижимой любви к Армении») она пронесла через всю свою жизнь.

Уходя из больницы (Вера Клавдиевна лежала в тесной одиночной палате), я погладил её маленькую неподвижную руку. Я хотел что-то сказать ей, но не знал что…

Никто не знает, что можно сказать человеку, когда человек умирает… Никто.

---

[1] Речь идёт о Сильве Капутикян и Геворке Эмине.

Один день с Цирилом Космачем

Мы познакомились в начале сентября в Алма-Ате на V конференции писателей стран Азии и Африки. Но по-настоящему знакомство состоялось в Ереване, куда он приехал с сыном Эрнеем уже после конференции. Космач — крупнейший словенский писатель, он академик, был председателем Союза писателей Югославии. Цирил общителен, говорит улыбаясь. Его улыбающийся взгляд вдруг преображается — становится ироничным, острым… Около двадцати лет Цирил живёт на самом берегу Адриатического моря в Портороже. А люди, долго жившие у моря, смотрят как-то по-особенному: их глаза, привыкшие к бескрайним морским просторам, смотрят вдаль и смотрят широко… Море — это прежде всего горизонты, это — стихия простора, освобождающего наш взгляд, наши души от всего мелкого и случайного.

Цирил прожил жизнь, богатую событиями. В 1929 году за революционную деятельность его арестовывают в фашистском Риме. В 1931 году он бежит в Югославию. Во время второй мировой войны живёт во Франции, в Англии… В марте 1944 года ему удаётся вернуться в Югославию и принять участие в национально-освободительном движении…

Наш сентябрьский солнечный день в Ереване начался с шутки. Рядом с гостиницей «Ани», где остановился Космач, лежит громадная глыба гранита, ещё не отделанная. Космач останавливается и рассматривает каменную глыбу.

— Мовсес Хоренаци, армянский историк, живший в V веке, пишет, — рассказываю я, — что у одного царя был злой глаз. Каждое утро ему приносили гранит. Он смотрел на камень, зло уходило в камень, и только после этого он занимался делами подданных. Наверно, — продолжаю я, — это тот самый камень и есть. Во всяком случае, армянские критики перед тем, как начать критическую статью, приходят сюда и смотрят на этот камень.

— Мы будем присылать сюда и наших критиков, — улыбается Космач. — Злые критики станут добрыми. Но что делать с глупыми? Нет в Армении такого камня, от которого бы они умнели?

— Камня нет, но и таких критиков почти нет. Мы их не держим…

— Я люблю шутку, люблю сатиру, — говорит Космач. — Из русских писателей для меня на первом месте Гоголь, на втором — Чехов, на третьем — Толстой. Достоевский — писатель для молодых. Я им увлекался в молодости, увлекался его философией и сюжетами его книг. Очень люблю Щедрина. Книги, в которых много философии, скучны. У нас в Словении рядом с отцовским домом жил старый крестьянин. Однажды он подошёл ко мне, мальчику, и сказал: «Что ты читаешь? Всё хочет знать умный человек, а мудрый не хочет всё знать». Теперь, когда мне за шестьдесят, я часто вспоминаю афоризм старого крестьянина. Надо хорошо знать своё дело. Писатель — не философ, и он не должен писать философские трактаты.

Я напомнил Космачу старую восточную сказку, в которой писатель приравнивался к мудрецу и философу. Привели к писателю царского сына и сына пастуха, привели и сказали: «Чему ты можешь их обучить, ты, пишущий книги и познавший мудрость?»

— «Не будь царём! — сказал бы я царскому отпрыску, — говорит Космач. — Быть царём негуманно, нечеловечно». Сыну пастуха я бы мог сказать, что я знаю мир и хотел бы, чтобы он стал пастухом. Христиане говорят, что бог пасёт. И пастух пасёт. А царь не пасёт. Я сам — пастух и ещё что-то. Я — полтора пастуха…

Космач хороший собеседник. Я его расспрашиваю, и он рассказывает о своём творчестве. Космач написал немного: два романа и две книги рассказов — всего около тысячи страниц, а начал он писать в 1924 году. Последнюю свою новеллу он опубликовал 12 лет назад. Всё это время Космач обдумывает сатирический роман. В его «Балладе о трубе и

облаке», вышедшей на русском языке в «Роман-газете», всего 200 страниц, но когда писался роман, было исписано три тысячи страниц[1].

— Я работал и проклинал судьбу… Романисту надо много работать, а я ленив. Да и писать надо, как известно, только тогда, когда не можешь не писать. Но и в этом состоянии — когда не можешь не писать — всё равно пишется трудно. Точнее было бы сказать, пишется ещё труднее. Писатель как бы заново создаёт мир. Он творит как бог. В начале работы — мгла, она вращается — появляется ядро, а потом выясняется, что это ядро — Акакий Акакиевич Башмачкин, и вы пишете его историю.

— Армянский историк V века Езник Кохбаци говорил, что нет искусства, если нет в начале искусства человека.

— Человек должен быть всюду. Без человека нет архитектуры, нет истории. Разве не об этом говорит нам и армянская история? Разве не о том же говорят памятники Эчмиадзина и Гегарда? В писателе всегда должен сидеть человек, его современник, который знает прошлое и понимает будущее. О чём бы он ни писал, он должен писать о человеке и должен оставаться реалистом. Ведь и фантастика — это реализм на другом уровне. Критики (поговорим о них ещё раз!) иногда слишком теоретизируют и забывают о человеке, герое литературы. Однажды два крупных критика и теоретика спорили, что важнее — форма или содержание. Они мне напомнили двух евнухов, которые сидят у ворот гарема и спорят, как надо обращаться с женщиной. Пока они спорят, шах приходит и заходит в гарем. Я не стану скрашивать эту свою мысль осторожной фразой о том, что есть и хорошие критики, без которых нельзя себе представить литературный процесс. Это само собой понятно.

— Точно так же, говоря о плохих писателях (а их не меньше, чем плохих критиков), не надо оговариваться: есть, мол, и хорошие писатели.

— Пишут стихи и прозу многие. Пишущих — войско. Если взять толстый журнал за тридцать лет и перелистать его (а в таком комплекте много тысяч страниц), то окажется, что известны всего три-четыре имени, три-четыре произведения.

— На мой взгляд, время предаёт забвению очень большой процент стихов.

— Я уверен, что хорошее стихотворение не может быть больше 12 — 16 строчек. Длинных стихотворений я не читаю. Очень люблю Пушкина, Лермонтова. Люблю Есенина. Он хорошо читается рядом с Маяковским, он — другой документ времени… Настоящее стихотворение прочтёшь — и захочешь перечитать его, перечитаешь несколько раз и запомнишь наизусть. Навсегда запоминается проза. Сегодня мы с вами осматривали памятник жертвам геноцида, и я живо вспомнил Франца Верфеля, его книгу «Сорок дней горы Муса», которую прочёл ещё в середине 30-х годов. К сожалению, я плохо знаю Армению. В этот свой приезд в СССР я был в Казахстане, в Грузии, сейчас приехал в Ереван, чтобы лучше узнать жизнь советских республик. Далеки наши земли, но сердца близки. «Вот трава, зелёная — совсем как у нас! Вот вода, мокрая, — совсем как у нас!» — в таком духе пишут писатели-туристы, а надо писать о сердцах людей… Должен признаться, что мне бывает стыдно, когда на земле небольшого народа я останавливаюсь перед памятником и не знаю, кто на нём изображён, как зовут того человека, образ которого народ хранит в своём сердце. Почему я должен знать все памятники Парижа и не должен знать гениев небольших народов? Мы все знаем Франсуазу Саган, но мы не знаем или плохо знаем великих писателей малых народов. По традиции мы склонны переводить плохого французского писателя, которого все будут читать, а надо переводить гениальных писателей больших и малых народов, как это делается у вас в СССР. Величайший словенский поэт Прешерн или армянин Нарекаци необходимы культурному миру, как необходимы ему величайшие писатели других больших и малых народов.

---

[1] Произведения Ц. Космача неоднократно издавались на русском языке. См.: Космач Цирил. Избранное. М., 1976.

…Я заметил Цирилу Космачу, что разговор у нас получился на целое интервью, сказал, что люблю этот жанр и хотел бы написать, с его разрешения, о нашей беседе, о нашем одном таком хорошем дне.

— Только бы не подумали армянские читатели, что я философ. Я всего лишь прозаик, к тому же немного написавший.

Это шутливое замечание Космача вызвало целую «дискуссию», и мы пришли к банальному выводу: писатель всегда немного философ, и ценят писателя не по количеству его книг. Читатель — и в Армении, и в Словении — знает об этом.

1973

P. S. В начале 1980 года газеты сообщили о смерти Цирила Космача. А в мае 1980 года я побывал в Югославии. В Любляне, столице Словении, я долго стоял перед памятником Прешерну, склоняя голову и перед величием его поэзии, и перед памятью Цирила Космача.

Удивительный друг

Александр Дымшиц был литератором большой культуры. Он многое знал — и знал глубоко. Занимался Дымшиц в основном литературой русской и литературой немецкой. Активно и небеспристрастно участвовал многие годы в литературной жизни страны как критик и публицист.

Всю войну Дымшиц был на фронте. Пережил блокаду Ленинграда. Работал затем на ответственных должностях. Работал хорошо, споро. Он был человеком строгих партийных взглядов.

Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии искусств ГДР, он был удостоен также звания заслуженного деятеля культуры Армении.

Арменией и литературой армянской Дымшиц стал интересоваться в самом конце 50-х годов: у него дочка кончала в Ленинграде институт и была направлена на работу в одну из школ Армении в качестве преподавателя русского языка и литературы. «Лена едет с тем, чтобы не простj “отбыть” назначение, а чтобы многому научиться попутно с работой. Замысел такой: узнать язык, культуру, искусство, литературу, живопись, узнать жизнь народа. Словом, работать и учиться. Не быть в Армении случайным человеком», — сообщал Дымшиц в письме от 24 мая 1959 года.

Письмо было адресовано мне. Случилось так, что именно в пору обострившегося интереса Дымшица к Армении у меня с ним завязалась переписка. В 1958 году я послал ему на отзыв свою статью о поэзии Сергея Есенина. Мы не были знакомы. Я обратился к А. Л. Дымшицу, так как в конце 50-х годов в Ленинграде вышел однотомник Есенина с его вступительной статьёй (тогда Есениным не занимались так широко, как теперь). Александр Львович поддержал меня, помог мне, как впоследствии помогал не раз и не два.

Дымшиц радовался людям, которым мог чем-то помочь. Он, я бы сказал, искал таких людей.

* * *

В январе 1959 года Дымшиц писал: «Разумеется, я мало знаю художественную культуру Армении. Но то, что мне известно, всегда меня привлекало. И Сарьян, и Чаренц, и музыка Тиграняна, и многое, многое другое».

«Мало знаю…» Люди, действительно мало знающие, так не пишут. У Дымшица были свои высокие критерии. И он делал всё, чтобы знать больше, интересовался всем, что имеет отношение к Армении, её культуре. Он просил выслать ему книги, журналы. Его увлечение

Арменией с самого же начала было увлечением активным, творческим. Он прочитал в «Литературной Армении» о Люсик Люсиновой и сообщил мне в апреле 1959 года, что «…о Люсик в большевистском “Социал-демократе” за 17-й год была интересная статья (№ 208, 14 ноября) и в том же номере стихи Леонтия Котомки, посвящённые её памяти». Он делал для себя какие-то заметки впрок.

Осенью 1959 года Дымшиц приехал в Армению, познакомился с писателями и художниками, много работал, написал статью о прозе Аветика Исаакяна (впоследствии армянские исаакяноведы будут ссылаться на эту статью в специальных исследованиях).

Поездка в Армению была деловой, а не туристической. Она обогатила Дымшица. «С каким-то особым чувством я вспоминаю время, проведённое в Ереване. Очень у вас хорошо — и типические характеры, и типические обстоятельства, как сказал бы Энгельс», — писал он в январе 1960 года.

* * *

В свой первый же приезд в Ереван Дымшиц побывал в мастерской Мартироса Сарьяна. И когда в 1960 году Сарьян был выдвинут на соискание Ленинской премии, Дымшиц попросил прислать что-нибудь о художнике: хотел написать о нём. «Спасибо за присланные материалы о Сарьяне, — сообщал он 23 февраля. — Но ещё до их получения я написал и опубликовал заметку, которую я вам выслал (для вас и для Сарьяна). Заметка маленькая, но, по-моему, тёплая и с подтекстом. (“Вы говорите — Париж, а я утверждаю, что не Париж, а долина Арарата”). Дай бог, чтобы дали бы ему премию; это было бы так важно не только для него, но и для всего советского искусства».

И ещё одну небольшую статью о Сарьяне Дымшиц написал, когда Ленинская премия была присуждена художнику.

* * *

Дымшиц писал и о таких армянских художниках, как Ерванд Кочар, Геворк Григорян. Он бывал в их мастерских, его связывали с ними дружеские отношения. Но самой большой его любовью был Арутюн Галенц, живопись которого он ценил очень высоко. Он дружил с Арутюном и Армине Галенцами, с семьёй художников. Его глубоко волновала судьба Галенца, хотел что-то для него сделать. В Ереване он ходил к одному важному лицу просить за Галенца. Но лицо, хотя и подчёркивало кстати и некстати свою образованность и любовь к искусству, ничем не захотело помочь. «И кто-то камень положил в мою протянутую руку», — иронически декламировал Дымшиц после встречи с лицом.

В московской газете «Литература и жизнь» он опубликовал статью «Удивительный Галенц». Статья начиналась словами: «В маленьком доме на окраине Еревана живёт большой художник Галенц…»

В письмах Дымшица в Ереван чаще других имён встречается имя Галенца. Приведу некоторые выдержки из писем.

«О Галенце говорил в “Огоньке”. Сколько я понимаю, там взяли бы заметку и репродукции» (14.4.61 г.).

«Как Галенц? Его материальные дела резко улучшились, как сказал мне Алиханян… Когда он даст материалы в “Огонёк”?» (27.8.61 г.).

«“Зоннтаг” в № 38 (в библиотеках, видимо, у вас есть) поместил мою статью, в которой заодно пишу о Галенце… Он там дан как классик современной живописи. Кроме того, я написал о нём профессору Лее Грундиг…» (26.9.64 г.).

«Передайте мой привет и низкий поклон Рубену Зарьяну, которого я безгранично уважаю (у него красивое лицо настоящего человека) и которому несказанно благодарен за желание помочь выходу сборника о Галенце. Армянская культура и советская культура в целом могут гордиться таким мастером, каким был Арутюн…

Мне жаль, что в последние годы я не мог бывать в доме Галенцев. У них — чисто, нравственно чисто. Это дом, где творят и любят прекрасное» (16.5.67 г.).

Для предполагаемой книги о Галенце Дымшиц написал воспоминания. Книга была издана, и называлась она по статье Дымшица «Удивительный Галенц».

* * *

Дымшиц поддерживал в Армении людей по-настоящему талантливых, ярких. Он одним из первых написал о Размике Давояне. Это было в 1966 году, после выхода в свет первой книги Давояна.

Написав о том или ином поэте, художнике, Дымшиц затем следил за творчеством своего «героя» и принимал близко к сердцу его удачи и неудачи. «Что нового в Ереване? В литературе Армении? Как Давоян? — спрашивал он в письме от 11 марта 1967 года. — Приходил ко мне Ашот Граши, и говорил, что Давояна потравывают… А Давоян — талантище. И надо следить за тем, чтобы он развивался верно».

Дымшиц хотел, чтобы Арутюн Галенц написал портрет Давояна. «Был у нас Размик Давоян, который произвёл на меня отличное впечатление, — писал Дымшиц 20 апреля 1967 года. — Он пандухт[1] и Поэт, пандухт в прошлом и Поэт в настоящем и будущем. Он — духовно чист и крепок. Это очень важно. Пусть у него всё будет хорошо… Горячие приветы Галенцам. Пусть бы Арутюн написал Размика. Это осталось бы в истории армянской культуры. Эта “встреча” нужна».

Дымшиц радовался «встречам» людей, которые могли быть друг другу полезны. Он писал письма и сводил заочно одних своих друзей с другими, подсказывая им идеи творческого содружества. Он познакомил меня с литераторами из ГДР, посоветовав им один из номеров литературного немецкого журнала посвятить Армении. А мне поручил снабдить журнал необходимыми материалами. Он часто рекомендовал журналам авторов и делал многое, чтобы сотрудничество состоялось. Читал предварительно статьи, правил их, советовал что-то дописать.

Одному ленивому литератору, который жаловался, что его не печатают, Дымшиц сказал: «Я уже не говорю о том, что надо написать две статьи, чтобы одну напечатали. Но ту статью, которую вы хотите напечатать, надо написать». Он любил работящих людей и сам много работал. Все, кто его знал, удивлялись его трудоспособности. А ему между тем казалось, что сделано очень мало. «В голову лезут разные замыслы литературные, а работать лень — хожу по вечерам на фильмы. Господи, а надо бы трудиться и трудиться»; «Ужасно быстро идёт время. Перо не успевает сделать всего, что нужно, а стрелка часов бежит»; «Надо работать! Да, да и да! А я работаю мало, меньше, чем следует», — сетовал он.

* * *

Будучи добрым, Дымшиц, однако, не был добреньким, и жизнь у него не была лёгкой. Он говорил, что «борьба за правду не фигурное катание». У него были друзья и были недруги. «Вот вы, мой друг, радуетесь, как вы говорите, моим успехам, — писал он 23 июля 1961 года. — Но вы не правы, когда говорите — многие радуются…»

С ним всегда было легко, весело. Остроумие ему было дано, казалось, для того, чтобы он не унывал. «Я нарушил заповедь — “Осторожно, гололёд!” — и трахнулся коленом о тротуар. Теперь сижу, как Наполеон или Кутузов, положив ногу на “барабан”. Скучновато…» — писал он в декабре 1966 года.

Под одной из статей, в которой критиковался Дымшиц, стояла внушительная подпись: «Группа учёных». Дымшиц выступил на обсуждении и сказал: «Хорошо, что эту статью обо мне подписала группа учёных, а не группа товарищей».

---

[1] Пандухт — странник (*арм.*).

Об одном очень энергичном человеке Дымшиц писал: «Вот если бы “запрячь” его энергию в перпетуум-мобиле». Он прислал мне статью одного писателя, подчеркнув в ней наиболее «оригинальные» высказывания: «Умные мысли могут породить глупую книгу. И наоборот…»

В одном из писем он сообщал:

«А ты пиши мне письма мелким почерком,
Поскольку места мало в рюкзаке… —

это только что спели по радио».

Он рассказывал забавную историю о том, как один из писателей искал переводчика для своей книги и говорил ему:

— Михаил Зощенко не подходит. Мне нужен переводчик, который умеет создавать характеры…

Дымшиц сочинил по моей просьбе «переводы» из А. Мкртчянца, автора, придуманного Михаилом Светловым. После Светлова и некоторые другие русские поэты и переводчики пробовали «перевести» Мкртчянца. Дымшиц, в частности, «перевёл» стихотворение, в котором Мкртчянц благодарит своего первого и лучшего переводчика:

Барев, Светлов! Мой друг и брат,
Мой самый лучший переводчик…

«Переводы» Дымшица были опубликованы в «Вопросах литературы». Нашлась, однако, наивная душа, которая предположила, что я пишу стихи, а Дымшиц меня переводит. Мне прислали письмо о том, что мои стихи неактуальны. Мкртчянц-Дымшиц писал, увы, всё больше о любви. В одном из его стихотворений выражено его поэтическое кредо: «Содержанье женских блузок — важный стимул для стихов».

— Конечно, это неактуально, стимул не тот, — улыбался Дымшиц.

* * *

В последние годы А. Л. Дымшиц хотел собрать свои статьи об армянской литературе и издать сборник, хотел расширить некоторые и ряд статей написать специально для сборника. 9 июня 1974 года он писал: «Мне хочется при встрече с вами посоветоваться о составе книжки для Армении. План у меня есть… Мне очень хочется эту книжку сделать, для меня она — дело сердца. Я очень многим обязан Армении, не говоря ни о чём другом, уже тем, что она есть, такая прекрасная, достойная большой любви». И ещё. В письме, написанном спустя два дня, 11 июня: «Ебж (если буду жив. — *Л. М.*), я мог бы сделать книжку к началу 75-го года. И тогда была бы “выплачена” часть моего сердечного долга Армении».

Дымшиц говорил, что высокое звание заслуженного деятеля культуры Армении ко многому его обязывает:

— У меня должна быть книга об Армении.

Основа для книги была уже создана. Были написаны статьи о литературных взглядах Степана Шаумяна, о прозе Ованеса Туманяна и прозе Аветика Исаакяна (кстати, Дымшиц много и плодотворно работал как редактор второго и третьего томов собрания сочинений Ов. Туманяна на русском языке). Была статья о современных армянских писателях — поэтах Амо Сагияне, Рачия Ованесяне, Размике Давояне и прозаике Серо Ханзадяне, о литературоведах Саломее Арешян и Сурене Агабабяне. Со всеми этими писателями Дымшица связывала личная дружба.

Были также статьи об армянских художниках. Были, наконец, замыслы, планы. Он хотел написать о речи Чаренца на Первом съезде писателей, его интересовала проза Гранта

Матевосяна и поэзия Паруйра Севака, Ваагна Давтяна, Сильвы Капутикян. Он прочёл исторический роман Серо Ханзадяна «Мхитар Спарапет» и думал о большой статье на эту тему.

Дымшиц был знаком с Амазаспом Амбарцумяном и получил от него в дар трёхтомник его воспоминаний, отпечатанный на ротапринте (каждый том — громадных размеров книга). Он прочёл все три тома и говорил, что можно подготовить для издания в Москве однотомник. Он готов был составить его и написать к нему предисловие.

Очень ему хотелось написать художественный очерк, эссе…

Сохранился план будущего сборника. Вот некоторые выдержки из него:

«Священные камни Наири — вместо введения — написать. (Брюсов, Блок, Белый, Мандельштам, Тихонов, Эрлих, Звягинцева, Петровых, Гитович — мои чувства.) Страна поэтов и художников — не забыть Кочара и Гудиашвили[1], не забыть геташенцев и талинцев…[2] Любовь и долг (Я — в долгу…) вместо заключения — написать».

Были у Александра Львовича и другие замыслы… Но и то, что он успел написать, дало нам право назвать его сборник об армянской литературе и культуре (сборник был издан в 1978 году в Ереване) так, как он хотел назвать книгу, которую, увы, не успел завершить, — «Любовь моя, Армения».

Краски — это жизнь

В конце 1959 года Илья Эренбург просил меня достать фотографию его портрета, написанного незадолго до этого Мартиросом Сарьяном.

Я отправился к Сарьяну. Он всегда был приветлив с многочисленными посетителями своей мастерской — знакомыми и незнакомыми. Я был из числа незнакомых. Сарьян сидел с какой-то книгой. Увидев меня, он показал на книгу и сказал, что она насквозь лживая, что он сам расскажет мне о первой мировой войне, о горе и страданиях армянских детей.

Художник, чьи произведения кричат о жизни и солнце, говорил о трагедии родного народа, родной земли. Я сейчас не помню подробностей. Но в книге Мартироса Сарьяна «Из моей жизни» есть потрясающей силы эпизод о молодой женщине, бежавшей от резни со своими пятью малышами. От болезней и голода умерли четыре мальчика. «Мать, — рассказывает Сарьян, — сшила им саваны из своих платьев и уложила рядом четыре трупа. Дня через два я подошёл к ней. Мать шила саван своему последнему сыну. Она была почти обнажена. И так как ниток не хватило, она выдёргивала из своих длинных чёрных кос волоски, продевала их в иголку и шила».

Порой мне кажется, что суровая, скудная немногословность армянского пейзажа, трагическая армянская земля требуют иных красок — не таких ярких и жизнелюбивых. Но именно трагизм исторических судеб армянского народа породил в народе это неистребимое чувство жизни, выразителем которого стал Мартирос Сарьян.

В солнце Сарьяна — жизнестойкость его народа…

Пока Сарьян говорил мне о книге, которую он читал и которая его возмутила, вошла жена художника Лусик Лазаревна, а затем пришёл знакомый литератор. Видя, что я теряюсь, стараясь объяснить, что меня привело к художнику, литератор решил подбодрить меня. Он сказал Сарьяну, что я талантливый молодой критик.

— Ты мне скажи, хороший он человек или нет. Все сейчас талантливы. Армении нужны хорошие люди, — вспылил Сарьян.

— Мартирос, ну кто же так спрашивает? — укоризненно произнесла Лусик Лазаревна.

---

[1] Речь идёт о скульпторе и художнике Ерванде Кочаре и знаменитом грузинском художнике Ладо Гудиашвили.

[2] Геташен и Талин — районы Армении.

— А что! Так и надо прямо в лицо говорить, — сказал Сарьян и, взглянув на меня, улыбнулся: — Ну, хорошо, пусть не обижается хороший человек.

Этот запомнившийся мне разговор произошёл не только потому, что всуе было произнесено слово «талантливый», имело значение, должно быть, и то, что Сарьян находился под впечатлением прочитанной книги.

Потом не раз и не два я приходил к Сарьяну, главным образом с литераторами, гостившими в Ереване. Я смотрел, я слушал краски Сарьяна. Он умел подбирать цвета так, что слышна была музыка. Умиротворённая, высокая тишина мастерской и — музыка красок…

Я привык думать, что тень — это вторично, это всего лишь отражение. На полотнах Сарьяна (я это заметил сразу и потом не раз проверял свои чувства) — звенящие, поющие тени. Человек написан в мягких светлых тонах, а тень от человека густая, синяя-синяя. Тень написана ярче, твёрже, потому что солнце такое жаркое, полуденное. Это даже не тени — кусочки солнца, упавшие на этих вот константинопольских собак, на эту вот узкую улицу, в это внезапно открывшееся ущелье… Сарьян писал натюрморты, пейзажи, лица, но непременно освещённые солнцем. Даже не освещённые, а прокалённые. Именно такое прокалённое солнцем лицо на одном из автопортретов Сарьяна — 1909 года. Это ведь он, Мартирос Сарьян, сказал, что лето — лучшее время года… Солнце как хозяин царит над землёй». Сарьян был истовым огнепоклонником. Знаменитый художник Геворк Григорян (Джотто) — он любил пасмурные тона — вспоминал, как однажды Сарьян ему сказал:

— Ты что, этих людей писал ночью, когда даже луна не светила? А это кто? Духанщик, говоришь, — так ему и надо.

Григорян вспомнил это замечание Сарьяна, чтобы охарактеризовать самого Сарьяна, его приверженность к ярким цветам.

Один из посетителей Сарьяна спросил у него:

— Вы поехали в Египет в поисках красок, да?

— Нет! — ответил Сарьян. — Краски — это жизнь. Вы что, не были в Египте? Поезжайте. Это интересно…

Сарьян не искал красок. Солнце одаряло его красками сказочно причудливыми, чистыми и прочными. В свете солнца он видел всё, весь мир, даже пылинки: «В воздухе носились мельчайшие частицы пыли, сверкающие под лучами солнца, как маленькие молнии…»

Так Сарьян видел, и так он писал свои холсты. И вместе с тем солнце никогда не было для Сарьяна символом, неким обобщающим образом мира, вселенной. Сарьян избегал абстрактной символики, тяготея к конкретному, реалистическому письму. «…Опошлено всё, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы», — сетовал Иван Бунин в 1913 году. Сарьян никогда не писал солнце с большой буквы. Этим грешили порой искусствоведы, писавшие о нём.

Кажется, я и сам злоупотребляю солнцем. А между тем надо бы рассказать об одном вечере в доме Сарьяна. Не в мастерской, а в доме. Молодая женщина (теперь — известный искусствовед) приехала из Москвы писать о Сарьяне. Он её принял в мастерской. Отвечал на вопросы шутками и, чтобы посетительница не обиделась, сказал:

— Шутя можно говорить очень серьёзные вещи. А серьёзность губит людей. Вот приходят ко мне позировать, но, прежде чем прийти, смотрят в зеркало, принимают разные умные позы, и всё теряется — нельзя писать такого серьёзного человека.

Сарьян не любит «серьёзных» людей. Проходит некоторое время, и, оправившись от смущения, молодая женщина словно бы находит себя. Забыв о вопросах, о записной книжке, она читает стихи — читает по памяти, и читает прекрасно:

…На деревьях рождаются листья,
Из щетины рождаются кисти,

Холст растрескивается с хрустом,
И смывается всякая плесень…
Дело пахнет искусством.
Человечеству хочется песен.

Это Леонид Мартынов. Стихи очень нравятся Сарьяну. Он вдруг умолк, весёлые с лукавинкой глаза стали задумчиво-глубокими. Он иначе смотрел на женщину, читающую стихи. Он пригласил нас вниз (мастерская была на втором этаже), усадил вместе с домашними за длинный стол и попросил ещё почитать.

И всё ниже спускается небо
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна, —

звучат стихи Пастернака из «Девятьсот пятого года». Начался импровизированный вечер поэзии. Мартирос Сергеевич слушает стихи Иосифа Уткина о собаке, потерявшей хозяина, «Стихи в честь Натальи» Павла Васильева, стихи Б. Слуцкого… Когда было прочитано достаточно стихов, я спросил:

— Вы не устали, Мартирос Сергеевич?

Сарьян нахмурился, лицо его выражает неудовольствие:

— Кто вас просил задавать этот вопрос? Как я могу устать? Это же поэзия!

Он встаёт и приносит блокнот для набросков. В блокноте — стихи.

— Русские поэты, — рассказывает Сарьян, — приехали в Армению. Когда они проезжали Араратскую долину, их встречали жители, встречали, как могли. Одна женщина вышла с сотами в руках. И вот Мандельштам написал об этой женщине, об Армении:

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Всё утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слёзы…

Мартирос Сарьян, воспитанный русской культурой, тонко чувствовал и великолепно знал её поэзию, Блока и Брюсова, друзей Армении. Он написал портреты Анны Ахматовой и Марии Петровых, Веры Звягинцевой и Михаила Лозинского. А в тот вечер он с упоением внимал стихам Николая Семёновича Тихонова:

В ладонях гор, расколотых
Стозвучным ломом времени,
Как яблоко из золота,
Красуется Армения…

Сарьян слушает и рисует, просит, чтобы читали ещё. Улыбнувшись, он спрашивает у меня:

— Вы не устали?

Все весело смеются.

— Это слово у нас запрещено, — говорит Лусик Лазаревна.

Сарьян продолжает рисовать, стихи его воодушевляют.

Когда поздно вечером мы уходили, он сказал, чтобы его новая знакомая, так проникновенно читающая стихи, утром в одиннадцать была у него в мастерской, он будет её рисовать, ему очень хочется работать.

Я видел, как поэзия помогает Сарьяну писать. Видел, как он любит поэзию.

…Истинный ереванец, я посещаю музеи Армении, равно как и места исторические, достопримечательные, когда приезжают к нам гости. Недавно были у нас русские писатели. Мы побывали в музее Мартироса Сарьяна. Фёдор Абрамов, переступив порог, остановился, но не перед картиной — в фойе висит табличка с высказыванием Сарьяна: «Земля — как живое существо, она имеет свою душу. И без родной земли, без тесной связи с родиной нельзя найти себя, свою душу…»

Я, признаться, не знал этих слов Сарьяна. Вслед за Абрамовым я переписываю их.

Это хорошее начало для знакомства с художником, а там, за дверьми выставочных залов, — работы Сарьяна. И у каждого, кто сюда приходит, — свой Сарьян. Как и своя Армения.

Однажды в мастерской Минаса

В начале 60-х годов, точной даты не помню, я помогал Арутюну Галенцу отправить какие-то письма. На почте Галенц встретил Минаса Аветисяна. Мне запомнилась эта, в сущности ничего не значащая, встреча, потому что запомнились слова Галенца о Минасе как о художнике с большим будущим. Галенц сказал, что уже теперь коллекционеры, понимающие живопись, скупают его работы.

В красивом молодом лице Минаса, как мне показалось потом, когда довелось однажды побывать в его мастерской, было что-то древнее, была классическая завершённость линий, а во взгляде — неспокойная, мучающая жажда жизни, запертая, как у средневековых святых, на замок веры. Такие смиренные, мятежные лица любили писать древние армянские миниатюристы.

Мы пришли к Минасу большой шумной компанией, возглавляемой Евгением Евтушенко. Это было в декабре 1965 года. Евтушенко приехал из Тбилиси. Его сопровождали редактор армейской газеты в чине подполковника и фотокорреспондент. Пришли мы поздно, после вечера Евгения Евтушенко в университете. Всю ночь Евтушенко смотрел работы Минаса и читал ему свои стихи.

Обласканный славой, шумно признанный и знаменитый Евтушенко смотрел на Минаса и на его работы как на чудо.

В статьях об армянских художниках часто можно встретить фразу: «На его полотнах — краски Армении». После Мартироса Сарьяна это выражение стало особенно модным, расхожим. Но яркие краски — это ещё не краски Армении. Солнце в Армении жжёт, выжигает. Некрепкие, случайные цвета линяют и блекнут. Остаётся то, что не сгорает в огне. Палящее солнце проверяет цвета на прочность, краски, как железо, закаляются в огне. И то, что проходит через огонь, получает от солнца дополнительную крепость и чистоту. Вот в каком смысле на полотнах Минаса запечатлена Армения, её краски, её люди. Люди — они ведь тоже не сгорели, выдержали…

Долго, очень долго смотрел Евтушенко «Реквием» Минаса. (Эта его работа и ряд других работ сгорели во время пожара — остались слайды и репродукции.)

Подполковник, милый в общем человек, никак не мог понять, что так пленило знаменитого поэта в работах художника.

— Недавно (наша газета писала об этом), — сказал редактор, — два солдата, грузин и армянин, вытащили из-под колёс автомобиля азербайджанского мальчика и спасли ему жизнь. Почему бы художнику не изобразить этот волнующий сюжет?

Редактор хотел поговорить, поспорить. Когда он вышел покурить, Евтушенко сказал Минасу, что это хороший человек, очень преданный, и рассказал, как он с подполковником ездил на Пушкинский перевал. Позже Евтушенко написал поэму «Пушкинский перевал» — она посвящена подполковнику.

Минас понимающе слушал и понимающе молчал. А Евтушенко говорил и читал свои стихотворения. Читал он бесподобно. Прочёл, среди прочего, стихи, посвящённые памяти Урбанского — трагически погибшего во время съёмок актёра.

Евтушенко рассказал, как однажды, когда ему было трудно, пришёл к нему рано утром Урбанский:

— Вот тебе гантели. Занимайся — помогает.

— Надо попробовать, — отозвался Минас.

В посвящении Урбанскому есть такие строки:

Искусство — съёмка трюковая,
Та трюковая, роковая,
Где выжимают полный газ.
От нас — поэтов и актёров —
Оно, как Молох, ждёт повторов —
Всё совершенней каждый раз!
И всё смертельней каждый раз!

— Я не случайно читаю это стихотворение у тебя в мастерской, — сказал Евтушенко.

Тогда же я записал эти слова, удивившие меня. Позже, уже после автокатастрофы, в которой погиб Минас, стихи Евтушенко стали для меня частью биографии художника.

Помню Минаса в день похорон Арутюна Галенца. Домик Галенца. Во дворе много народу. Один из работников Союза художников (он был известен своим недружелюбным отношением к Галенцу) звонит по телефону — организует похороны. Он присел на корточки, так как телефон вынесли из комнаты и положили прямо на землю. Мимо хлопочущего у телефона работника проходит Минас, смотрит на него сверху и говорит:

— Так вот и будете стоять на коленях.

Людей надо беречь, пока они живут, пока они с нами.

Мысль, может, и банальная, но верная. Злободневная.

Уильям Сароян вблизи

1

Холодным октябрьским вечером поэт Размик Давоян и я встречали в Ленинградском аэропорту Уильяма Сарояна. По пути из Америки в Ленинград он остановился в Хельсинки — хотел здесь разыскать дом, в котором жил великий финский композитор Ян Сибелиус. Сароян был знаком с ним, бывал у него.

— Сибелиус из воды, из травы, из дерева делал музыку, — замечает Сароян. По-армянски он говорит на характерном битлисском диалекте своих родителей. Ударные гласные растягивает:

— Размиик…

«Как же мы будем общаться с Уильямом Сарояном?» — беспокоились мы с Размиком ещё накануне. Оказалось, к счастью, что Сароян говорит по-армянски с удовольствием, и говорит хорошо. Позже, в Ереване, когда кто-либо из армян щеголял своим английским, он улыбался и неизменно отвечал по-армянски.

Я знал Сарояна по публиковавшимся у нас снимкам и надеялся среди пассажиров прибывшего из Хельсинки самолёта узнать его по пышным усам. «Вот этот, должно быть, Сароян», — подумал я и обратился с вопросом к худому, быстрому в движениях красивому мужчине с седыми усами:

— Господин Сароян?

Потом, в последующие дни, когда я говорил «Господин Сароян…», он меня поправлял.

— Господин Сароян? — повторял он, сильно выделяя голосом вопросительную интонацию. — Ты же меня не знаешь, ты должен спрашивать, я ли Сароян! А я должен задумываться, Сароян ли я?

Это была игра. Иногда я нарочно спрашивал: «Господин Сароян?», и мы весело смеялись.

На аэродроме Сароян опекал одного из своих спутников, молодого финна:

— Я знаю, что значит бедствовать в дороге. В юности мать меня отправила из одного города в другой. Это было трудное путешествие — через четыре месяца я получил лишь часть своего багажа…

* * *

Сароян спрашивает, знаем ли мы поэта Ваагна Давтяна, его друга, интересуется, как проявил себя Давид, сын скульптора Никогоса Никогосяна. Когда он в 1960 году познакомился с Давидом, мальчику было 14 лет и он подавал большие надежды.

— Я наблюдал талантливых людей, которые не знают, что им делать, куда идти. И сейчас есть в Америке такие люди.

— Значит, талант у них недостаточный. Талант находит свой путь, — замечает Размик.

— Ты говоришь правильно, а я — нет, — соглашается Сароян.

— Я вас буду называть Варпетом, — говорит Размик.

— А я тебя буду называть Размиком, хотя именно сейчас ты пишешь то, что всегда будет жить. Я читаю то, что написал сорок лет назад, и вижу, что можно это читать. А ведь сколько было книг, которые сейчас никто не читает.

Ты, Размик, знаешь русский язык, и это должно тебе помогать писать по-армянски. Я знаю армянский, не литературный, а народный язык, и это мне помогает писать по-английски. В Париже один из моих знакомых, армянин, проигрался, просадил всё, что у него было. Вечером на берегу Сены вижу, сидит он на сложенных брёвнах. Я подошёл к нему.

«Иштэ ос аспес нстел ем, — вздохнул он. И этим всё было сказано. — Иштэ…»[1].

А знаете ли вы филолога Саркиса Арутюняна? — продолжает Сароян. — Он собирает армянский фольклор. Он делает работу очень нужную. Вы должны его ценить…

Гохн гохен гохацав, аствац тесав зармацав[2] — смеётся Сароян.

Он сетует на то, что армянские писатели почти не пишут пьес, а писать надо, потому что пьесы сразу же получают известность. И проза в короткий срок может стать известной. Хорошо напишешь — пойдёт и на другие языки. Стихи… они остаются на родном языке.

— Стихотворение Чаренца «Язык Армении моей…» нельзя перевести на английский язык. Я люблю это стихотворение, но по-английски нельзя сказать: «ареваам бар» («слово, имеющее вкус солнца»). Получится нечто выспреннее, неестественное.

Сароян любит Чаренца, знает его лирику, знал его самого — они встречались в середине 30-х годов.

— Говорят, у Чаренца много пропаганды, но вы не думайте, что я против пропаганды. Всё, что я сам написал, — пропаганда.

Неодобрительно отзывается Сароян об армянской детской болезни сочинять стихи:

— Во всём мире дети учатся писать, но стоит армянскому ребёнку выучиться писать, как сразу же он начинает сочинять. Очень много пишут стихов, главным образом — акростихи.

---

[1] Адекватному переводу это выражение не поддаётся. Возможен приблизительный перевод: «Вот так здесь и сижу… Вот так…»

[2] Армянская пословица: вор у вора украл, увидел бог — удивился.

— Мы тоже — армянские дети, — улыбается Размик Давоян и рассказывает, как по моей просьбе сочинил в самолёте акростих «Уильям Сароян».

— Покажите мне этот акростих. Это… — Сароян задумывается, он не может найти армянское слово и повторяет по-английски: «curiosity, curiosity»[1] — Это то, что свойственно кошкам. Как же это слово будет по-армянски? Есть же в армянском все эти слова. Надо обратиться к филологу. Я найду это слово…

* * *

Остановились в гостинице «Астория». Из двух одинаковых номеров Сароян предпочёл тот, окна которого выходят на Исаакиевскую площадь.

— Вид здесь богаче. А мне надо смотреть на улицу, на площадь, на то, как ходят люди, ездят машины.

Звонили в Ереван Ваагну Давтяну. Сароян привёз с собой газету со стихотворением Давтяна на английском языке. Прочёл Ваагну перевод, сказал, что стихотворение звучит на английском. Просил Размика почитать свои стихи. Размик прочёл отрывки из поэмы «Реквием». Понравилось. Попросил почитать ещё.

— Сделай из «Реквиема» пьесу, — советует Сароян и ещё раз говорит о том, что армянские писатели не пишут пьес.

…Спрашивал о Назыме Хикмете, о том, кто из армян с ним дружил, кто его переводил на армянский язык.

— Меня однажды спросили, могут ли армяне жить в дружбе с турками. Не только могут, — ответил я, — но и живут.

Речь зашла о повести Сарояна «Приключения Весли Джексона».

— Эту мою книгу полюбили солдаты и очень невзлюбили высокие чины. Когда нет войны, генералы — никто, поэтому они хотят, чтобы была война.

* * *

Утром в фойе гостиницы «Астория».

— А я уже два часа как гуляю. Видел такие интересные улицы, — говорит Сароян и достаёт из кармана плаща гвоздь длиною с карандаш. — Нашёл. Гвозди у вас другие. Конец заострён не кругло, а срезами. Сверху на шляпке — резьба, и под самой шляпкой — резьба. А придумано это для того, чтобы легче было забивать гвоздь и чтобы он крепче держался в дереве.

В другой раз Сароян увидел на проезжей части Невского проспекта кусок старого железа. Он взял его, положил на тротуаре в сторонку, заметив, что кто-то может вырезать из куска железа что-то интересное.

— Железо отвалилось от старой машины, которую ведёт старый человек. В этом куске уставшего железа — тоска по дорогам.

* * *

В Ленинграде стояли ясные, солнечные дни. И всё-таки Сароян был одет легко — он был в тоненьком белом плаще. Мы с Размиком понимали, что он может простудиться. Хотели купить ему пальто.

— Что вы, зачем мне пальто? По этим улицам ходил в старой шинели Акакий Акакиевич Башмачкин. Я хочу понять его, у меня мёрзнет спина, и я чувствую Акакия Акакиевича.

Когда мы вышли на Невский проспект, Сароян сказал:

— Это — великая улица. По ней ходили герои Гоголя. Ходил сам Гоголь. Ходил Пушкин…

---

[1] Любопытство, любознательность.

* * *

На экскурсионном катере катались по Неве. Молодая милая женщина увлечённо рассказывала о великом городе. Сароян не понимал её русской речи, но, когда кончилась экскурсия, он сказал:

— Она хорошо говорила. Я запомню её голос. Говорила она о небе, таком синем, об облаках, о водах Невы, об «Авроре»… Я всё понимал…

* * *

Мы идём по набережной Невы и видим, как у прохожего ветер срывает шляпу. Человек бежит за шляпой. Вот он подбежал, хотел было взять шляпу, но её вновь уносит ветром…

Сароян:

— В Хельсинки у моего спутника Вараза всё время срывало ветром шляпу. Я ему сказал, что это у него не шляпа, а птица, которая не хочет сидеть на его голове. Посидит-посидит — и улетит… Я напишу об этом рассказ…

* * *

— А где мы будем обедать?

— А мы остановим какую-нибудь машину и спросим у шофёра, где можно вкусно поесть.

Сарояну понравилась эта наша идея. И когда шофёр случайно остановленной машины сказал, что хорошо бы поехать в ресторан «Кавказский» (шофёр в нас признал кавказцев и, очевидно, поэтому назвал этот ресторан), он согласился:

— Едем. Там обязательно мы встретим какого-нибудь армянина.

И действительно, нас обслуживал официант-армянин, Гарник. Он учится заочно в Институте советской торговли. Гарник читал Сарояна и несказанно рад ему.

Стена ресторана расписана под Пиросмани. На ней — характерные лица усатых кавказских кутил. Сароян сидит спиной и стене.

— Посетители смотрят на нас, смотрят на стену и думают, что все эти портреты написаны с наших лиц, — улыбается Сароян. Он в хорошем настроении, он весь светится. Просит Размика — уже в который раз — почитать стихи. — Знаешь, — обращается он к Размику, — моя бабушка говорила мне: «Вилли, остерегайся людей, которые тебя хвалят. Ты должен учиться у людей, которые тебя ругают». Критики ничему меня не научили. А вот один читатель, простой человек, мне сказал: «Я прочёл твою книгу. Почему ты всё время пишешь: он сказал, я сказал, он сказал, я сказал… И так ясно, кто сказал».

…Сароян спрашивает, помним ли мы сказку Ованеса Туманяна «Охотник-лжец». Он любит слушать эту сказку в чтении Сурена Кочаряна. У него пластинка с записью. Он часто прослушивает сказку и знает её почти всю наизусть. Просит рассказать о Наапете Кучаке, средневековом армянском лирике, авторе знаменитых любовных песен.

— Почему так чисто писал Кучак? — спрашивает Сароян. — Потому что была женщина и был мужчина. Ничто им не мешало любить. А сейчас в жизнь людей вторгается очень многое — заботы, соблазны… Заботы, конечно, были всегда, но человек больше был связан с семьёй, с женщиной. Сейчас и дети куда-то уходят…

Вспоминал Хемингуэя:

— Хемингуэй не мог понять и не мог смириться с тем, что постарел. Жизнь надо принять, и в жизни надо испытать всё — и старость. Мне кажется, что люди умирают потому, что они хотят умереть. Не надо соглашаться умирать. Я, например, давно мог бы умереть, а вот живу.

И ещё о Хемингуэе:

— Хемингуэй учил писать правду, не сочинять, а писать правду.

Дважды ссылался на Махатму Ганди:

— Я не люблю пассивных людей. Другое дело пассивность Ганди — он боролся.

— Надо мало есть. Ганди в последние годы жизни очень мало ел.

* * *

Фотографировались на Исаакиевской площади.

— А я сегодня не брился, — сожалеет Сароян. — Думал, отдохнёт кожа лица.

Он следит за собой, своей внешностью, хотя одет в простенький недорогой костюм.

Фотограф — инвалид войны. Пальцы рук обожжённые, скрюченные, он с трудом надавливает на затвор фотоаппарата.

— У него, — говорит Сароян о фотографе, — большая жизнь в прошлом. Я люблю таких людей. Надо, чтобы он рассказал нам о себе.

* * *

Поехали на Пискарёвское мемориальное кладбище. Вечерело.

— Хорошо, что в этот час мы пришли сюда. Ещё не темно, но день уже уходит, улетают птицы, небо темнеет…

«Никто не забыт, и ничто не забыто» — эти слова, выбитые на гранитной стеле, Сароян переводит на английский. Важные для себя слова он всегда переводит, чтобы лучше их запомнить, лучше понять.

— Я люблю русских — за их литературу и за то, что это — здоровые люди. И они хотят быть здоровыми.

Рассказ о маленькой ленинградской школьнице Тане Савичевой поразил Сарояна. Несколько простеньких страничек из её блокнота (почерк детский, ещё не устоявшийся) — это величайший документ о судьбе одной семьи в блокадном Ленинграде. Погибла вся семья. «Савичевы умерли. Умерли все», — свидетельствует Таня.

Сароян хочет приобрести какие-то материалы о Пискарёвском кладбище. Но музей закрыт, и поблизости нет киосков, где можно было бы купить литературу. В одном из окон административного здания горел свет. Оказалось, что задержался на работе директор Мемориального кладбища Иван Илларионович Савицкий. Украинец. Воевал за Ленинград… Сароян записывает рассказ Савицкого о себе.

Савицкий подарил нам набор открыток, брошюру о Пискарёвском кладбище и медаль в кожаном футляре. В машине и в гостинице Сароян доставал медаль, вглядывался в изображения на медали (на одной стороне выбит монумент Матери-Родины, на другой — общий вид Пискарёвского кладбища) и повторял:

— Это очень дорогой подарок.

Вечером, когда прощались, он сказал:

— Может оказаться, что сегодняшний день был лучшим днём нашей жизни.

* * *

По утрам Сароян работал, он не выходил из номера, пока не записывал впечатления за минувший день. Он не ведёт записных книжек, печатает сразу на машинке. Единственное, что он иногда пишет от руки, — это имена и фамилии своих новых знакомых. Он помнит множество имён. Говоря о ком-либо, называет его имя, а зачастую и то, чем он занимается, откуда родом.

Сароян возит с собой портативную пишущую машинку. В дороге всё, кроме машинки, сдаёт в багаж. Машинка всегда при нём. Даже в такси он бережно держит её в руках. О пишущей машинке (она в стареньком футляре, оклеенном серой клеёнкой) говорит как о живом существе:

— Ей больше тридцати лет, а работает хорошо. Каждые два года показываю её мастеру. Прекрасная машинка. Работать на ней легко — сама пишет. И пишет каждый день.

* * *

Увидев в номере гостиницы сборник стихов Наапета Кучака, просит:

— Ещё раз расскажи об этой книге…

Ему нравятся айрены Кучака, он делает надпись на книге: «Как волнующи и прекрасны айрены Армении, созданные в столь давние времена Наапетом Кучаком…»

Интересуется, как по-русски сказать — принесите чёрный хлеб. Он не мог объяснить официантке, что хочет чёрного хлеба.

— Надо было сказать: чёрный хлеб.

И как только я сказал «чёрный», он запел по-русски: «Очи чёрные, очи чёрные…»

— Если бы я это спел, принесла бы официантка чёрный хлеб? — улыбается Сароян. Он любит петь. Часто поёт армянские народные песни:

Сиравор лорик, виравор лорик…
(Влюбленная перепёлочка, раненая перепёлочка…)
Ерб вор бадвен дрнер усо…
(Когда откроются двери надежды…)
Хариб ахпер, ари мер тун…
(Скиталец-брат, приди в наш дом…)

* * *

Утро ясное, но холодное. Сароян мёрзнет в своём лёгком плаще. Он предлагает перейти на солнечную сторону улицы.

— Акакий Акакиевич в своей старой шинели ходил в этот час по этой, солнечной стороне, — говорит он. — Солнце у всех есть — и у бедных, и у богатых… Моя бабушка подолгу восхищённо смотрела на своего годовалого внука, а я спрашивал: «Что в ребёнке тебе нравится?» — «Светлый он, чистый», — отвечала она. И этот дом, — Сароян показывает на здание Эрмитажа, — и небо над домом светлые, чистые…

Сароян хочет купить альбом об архитектуре Ленинграда. Он говорит, что ленинградцы дорожат своим городом: дома в таком хорошем состоянии.

— Вот и церковь ремонтируют, — замечает Сароян и останавливается перед величественным строением храма «Покров на крови».

На Невском проспекте зашли в Дом книги. Сыграли в книжную лотерею. Играли втроём, а выиграл (два раза по 50 копеек) один только Сароян.

— Можно сказать, мне повезло.

В Доме книги об архитектуре Ленинграда, увы, ничего нет. Сароян покупает несколько книг на английском языке — рассказы Паустовского, пьесы Островского и сборник стихотворений советских поэтесс. В сборнике поэтесс сразу же находит стихи Сильвы Капутикян. Идёт по Невскому и читает.

— Смотрят сейчас на меня и думают — какой учёный человек, — смеётся Сароян.

Он любит шутку, остроумно сказанное слово. Ему нравится придуманная им игра «Господин Сароян?». Он реагирует на этот вопрос всегда по-разному, реагирует взглядом, мимикой.

* * *

У Сарояна есть повесть о бедном мальчике, у которого был свой тигр. Тигр всегда ходил рядом с мальчиком, что придавало ему уверенность. Тигра видел только мальчик, взрослые его не видели. Мальчик пришёл к хозяину предприятия, где он работал грузчиком, и потребовал должности, которую мог бы получить лет через двадцать. Хозяина ошеломила дерзость мальчика. Но рядом с ним был тигр, и тигр его поддерживал. Когда хозяин закричал, затопал ногами, мальчик хотел было ответить ему, хотел сказать обо всём, что на душе накипело. Но в самый решительный момент тигр положил голову на лапы и уснул.

Однажды в Москве, выступая с докладом, я вспомнил этот сюжет.

— Чувствую, — сказал я, — что тигр здесь, со мной. Вы его не видите, но он — рядом с кафедрой. И если он не уснёт, я вам прочту лучшую свою лекцию, а если уснёт (морда что-то у него сонная) — не ругайте меня. У нас в Армении, если у кого что не получается, говорят: «Тигр уснул».

— Действительно в Армении так говорят? — интересуется Сароян.

— Не все так говорят, но могли бы говорить все.

— Вы это придумали. Хорошо придумали. Если рассказ имеет продолжение — это радость для автора, — замечает он.

* * *

Недалеко от Адмиралтейства в саду двое ребятишек забрались в громадное дупло, а вокруг бегают их сверстники и весело что-то кричат.

— Счастливы, — говорит Сароян. — Дерево тоже счастливо. Оно ждёт, когда придут дети.

Здесь, в саду, Сароян находит (взгляд у него острый) читательский билет Надежды Кузнецовой. На фотокарточке — милое лицо молодой девушки.

— Теперь она уже не читает книг, она выбросила читательский билет и пишет книги, — улыбается Сароян.

* * *

Спрашивает у Размика, какие армянские фильмы получили известность за пределами республики, спрашивает и записывает названия фильмов, чтобы в Ереване посмотреть их.

— Нашу историю мы можем показать миру через кино, — говорит он. — Фильм должен быть без текста. Надо показывать жизнь. Глаза — самые большие ворота, через которые в наши сердца входит мир.

* * *

В Ленинградском аэропорту девушка, регистрировавшая билеты, спрашивает:

— Это тот самый Уильям Сароян?

И, узнав, что тот самый, просит автограф. Мы сидели в самолёте, когда прибежали за автографами две девушки, работницы аэропорта. Одна из них объясняла другой:

— Лида мне говорит: «Уильям Сароян летит в Москву, представляешь!» — и показывает автограф.

2

В Москве, в Союзе писателей СССР, Сароян имел беседу с Виталием Озеровым. Его заинтересовал редактируемый Озеровым журнал «Вопросы литературы». Он долго листал один из последних номеров журнала, попросил, чтобы ему перевели содержание номера. Журнал взял с собой.

Я заметил, что он жадно перелистывает газеты и журналы на незнакомых ему языках, смотрит на заголовки, на снимки, на то, как свёрстаны страницы. В Ленинграде он купил целую кипу разных русских газет, сказал, что ему надо эти газеты просмотреть. Увидев у меня номер армянской литературной газеты «Гракан терт», он взял её себе. Ему интересен всякий печатный текст на незнакомом языке (он и по-армянски не читает). Он смотрит на буквы и хочет знать, о чём они повествуют, но это для него — тайна. Он хочет её разгадать. Мне показалось, что он смотрит на незнакомые ему письмена и сочиняет истории, о которых они повествуют. Я спросил его об этом, он посмотрел на меня (глаза ласковые, добрые) и улыбнулся…

Озеров подарил Сарояну сборник «Строка, оборванная пулей». В большом, любовно изданном томе собраны произведения погибших на фронтах Великой Отечественной войны советских писателей. В Америке, замечает Сароян, нет такой книги, и он, чуждый всякой официальности, вдруг встаёт и, принимая книгу (он эту книгу принимал, а не взял её, как брал до этого и потом десятки других книг), говорит:

— Эту книгу, этот большой и грустный дар, я принимаю с глубоким волнением.

Виталий Озеров и Уильям Сароян говорили об ответственности писателя перед людьми, о необходимости отстоять на земле мир. Сароян дал на эту тему короткое интервью для «Вопросов литературы» (оно напечатано в 12-м номере за 1976 год). Речь зашла о предстоящей в столице Болгарии конференции прогрессивных писателей мира. Сароян сказал, что он хотел бы принять участие в работе конференции[1].

— Я люблю Болгарию. У болгар и армян много общего.

— А нас многое роднит с болгарами, — отвечает Озеров.

В Союзе писателей Сароян встретил свою давнюю знакомую, переводчицу с английского Фриду Лурье. Познакомился с Сергеем Баруздиным.

— Сароян издавался у нас в «Дружбе народов», пусть напишет для нас что-нибудь, — предложил Баруздин.

— А что, — улыбнулся Сароян, — я ведь на самом деле могу ещё что-нибудь написать.

Вышли во двор Союза писателей посмотреть памятник Толстому. Шёл снег. Сароян:

— Я очень люблю снег. Ты идёшь, а он падает и целует тебя, и ты должен радоваться, что ты живёшь, ходишь по улицам.

* * *

У Виталия Озерова Сароян познакомился с Чингизом Айтматовым. Сароян обрадовался ему:

— История мальчика, который думает о Белом пароходе, там его отец, — это я люблю. Надо найти «Белый пароход» на английском языке. Я хочу иметь эту книгу… Айтматову я рад особенно, потому что это — большой писатель небольшого народа. Я читал его и полюбил то, что он пишет. Теперь познакомился с ним и полюбил его самого.

Сароян интересуется, какой у киргизов алфавит, какой у них язык. Айтматов показал ему несколько книг на киргизском языке, и в том числе — сборник стихов Алыкула Осмонова. Сароян просит прочитать одно из стихотворений Осмонова.

---

[1] В июне 1977 года Уильям Сароян принял участие в Международной конференции «Писатель и мир», которая проходила в Софии.

— Понять — не поймёшь, но вкус языка можно почувствовать, — считает он.

С Чингизом Айтматовым мы встречались ещё дважды. Один раз случайно на Красной площади. И другой раз — в номере гостиницы «Националь». Сароян давал интервью корреспонденту московского радио. Айтматов предварил интервью словом о Сарояне. Он, в частности, сказал:

— Уильямом Сарояном гордятся любители и знатоки большой и честной литературы. И я был счастлив встретить любимого писателя. Он идёт по Москве в окружении моих армянских друзей и громко говорит на языке своих родителей-армян.

Фотографировались.

— Я хочу, чтобы на фотокарточке видны были руки. Руки как лицо человека, — говорит Сароян. И пока фотограф рассаживал нас, наводил аппарат на резкость, включал и выключал освещение, Сароян запел. Он пел армянскую народную песню. — Пусть и Айтматов споёт киргизскую песню, — предлагает он.

И Айтматов поёт. Обнявшись, они тихо поют. Жаль, фотограф не снял их поющими.

* * *

Сарояна заинтересовал Наум Гребнев как переводчик «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Спрашивал, как он переводит, сколько строк перевёл. Просил, чтобы Гребнев прочёл ему отрывки из своего перевода. Слушал внимательно. Сказал, что он русского языка не знает, но ему кажется, что это Нарекаци.

— Музыка его, напряжение его… Впервые Нарекаци читали мне в Бейруте. Когда Нарекаци пишет, он находит слово, но, недовольный, ищет другое слово. И так идёт, идёт, идёт, углубляя мысль, и опять идёт…

Узнав, что Гребнев был ранен в Сталинграде, спросил:

— Сколько часов лёту отсюда до Сталинграда? Я хочу побывать в этом городе.

— Не знаю, я этот путь прошёл пешком, — ответил Гребнев.

— Этот человек знает жизнь, и он может понять Нарекаци, — сказал Сароян.

* * *

— Как долго вы будете в Армении? — спрашивают у Сарояна.

— Я собираюсь побыть в Армении 2800 лет. За две недели — двадцать восемь веков.

— Когда мы прилетим в Ереван, будет светло? — интересуется он. — Я хочу, чтобы было светло.

Сароян достаёт из кармана плаща армянскую газету, разворачивает её и просит Размика прочитать стихотворение, напечатанное в газете. Стихотворение посвящено автором памяти своего друга, к которому он обращается с вопросом: «Как тебе там живётся, встретил ли там наших друзей-товарищей?»

— Человек умер… Мы бы хотели видеть его живым, видеть рядом с собой. Но нельзя говорить, что он где-то в другом месте, и обращаться к нему с вопросом, как, мол, ты там живёшь.

— Но можно сказать, что умерший друг стал птицей, стал деревом, стал землёй.

— Можно, — соглашается Сароян, — потому что птица, дерево, земля — это мы. Мы все.

* * *

С утра собрались в Третьяковскую галерею. Зашли в «Националь» за Сарояном, а его нет.

— Знаете, где я был? — спрашивает Сароян. — Я сейчас ходил в гостиницу «Бухарест» и нашёл там номер, в котором жил в 1935 году…

В Третьяковке в коридорах — книжные киоски.

— Вот открытки «Сокровища алмазного фонда», хотите?

— Нет, что вы! Зачем мне эти открытки? — недоумевает Сароян. — Скажут, интересуется алмазами, а я ими не интересуюсь.

В галерее были недолго. Сароян буквально пробежал по залам. Останавливался перед пейзажами А. Куинджи, работами М. Сарьяна («Голова девушки», «В персидской деревне»), С. Иванова («Смерть переселенца»), Б. Кустодиева («Большевик»), Н. Петрова-Водкина («Розовый натюрморт», «Ветка яблони»)… Увидев работу П. Кончаловского «Портрет художника Г. Якулова», спросил:

— Кто этот человек? Это лицо армянина.

А ведь и в самом деле Якулов — армянин.

Привлекла внимание работа Н. Ге «Что есть истина? Христос перед Понтием Пилатом».

— У нас в Америке точно такие хиппи, как этот Христос. Очень похоже. Христос и хиппи.

Задержался в зале, где были иконы.

— Иконы очень ценятся. У меня четыре русских иконы. Я их никогда не продам.

Спрашивал, нет ли в Третьяковской галерее портретов Максима Горького.

— В 1935 году я хотел познакомиться с Горьким. Не удалось. В свой первый приезд я ничего не знал о вашей стране и думал о ней, как думают о Медном городе… В Америке трудно пробиться художнику. Чтобы оценили работу художника, должны обратить на него внимание люди с деньгами. А у кого есть деньги, тот не делает искусства, делает деньги.

Во дворе Третьяковки бегала кошка. Дворник позвал её, и она медленно, важно пошла за ним. Сароян:

— Есть книги, написанные кошками. Кошки очень умные, они видят то, что люди скрывают от людей.

* * *

Ещё в Ленинграде Сароян говорил, что хочет видеть Давида, сына скульптора Никогосяна. Скульптор живёт в Москве. Мы поехали к нему в мастерскую.

— Где Давид? Позови Давида!

Давид — молодой физик, изучает лазеры. Сароян спрашивает его, чем он занимается, может ли принести людям пользу. Он очень хочет, чтобы Давид состоялся как учёный, как человек, хочет, чтобы он сделал что-то хорошее, полезное. Ласково и с надеждой смотрит на Давида. Позже в Ереване, познакомившись с молодыми физиками университета, спрашивал у них, знают ли они Давида.

— Он занимается лазерами. Давид Никогосян…

Интересовал Сарояна и сам Никогос Никогосян, скульптор. Он весь — сгусток энергии.

— Как будто из одного камня выбит, — замечает Сароян.

Никогосян попросил Сарояна позировать ему. Очень быстро он набросал на ватмане портрет Сарояна углем. Никогосян писал и что-то кричал, метался по мастерской, махал руками. Движения его были быстры и напористы.

— Как же эти глаза написать, глаза! — время от времени выкрикивал Никогосян, и его чёрные глаза хищно и остро блестели. (Ночь. И словно бы в ночи поблёскивают кинжалы!)

— Это его форма, — говорил потом Сароян. — Он кричал, может быть, даже ругал меня, чтобы мог работать. Глаза написать невозможно. Словами ещё труднее описать глаза. Глаза как жизнь. Только грустные глаза можно описать. В грустных глазах есть что-то такое, что можно удержать в слове…

Никогосян, как сказал бы Достоевский, — широк человек. Сароян любовался им, его силой, его энергией.

— Если бы я был художником, я бы сам написал твой портрет, — сказал ему Сароян.

Никогосян показывал нам фото своих скульптур. Фотокарточки больших размеров, они наклеены на громадные картонные листы. В мастерской присутствовал ещё один скульптор, с завистью смотревший работы Никогосяна.

Показывая фото одной из своих работ, Никогосян сказал, что за эту его скульптуру ему предлагали миллион. Завистник этого не вынес (занесло, мол, — безудержно хвастает перед Сарояном), он стал кричать, что этого не может быть, что никто и сотни не даст за эту скульптуру. Но Никогос Никогосян не тот человек, на которого можно кричать. Он своим громовым голосом перекрыл завистливый голосок спорщика.

— Тебе не давали миллион, а мне давали! Десять миллионов давали! — орал Никогосян — Я дам тебе адрес этого человека, пойди, продай ему свои работы, а я не продаю. Так и знай, не продаю! Сто миллионов дадут, не отдам эту свою скульптуру…

Видя, что спор затягивается, Сароян сказал:

— Однажды ещё мальчиком я пошёл постричься к парикмахеру, нашему родственнику. Когда я к нему пришёл, он покупал лотерейные билеты. Он мне пожаловался, что покупает вот уже много лет, но ни разу ещё не выиграл. Я стал его уверять, что в этот раз он обязательно выиграет крупную сумму. «Дай бог», — вздохнул парикмахер. И я вам скажу так: «Дай бог!» Пусть за ваши работы платят вам большие деньги, а вы их не продавайте, храните у себя.

* * *

Сароян любит рассказывать и любит слушать небольшие устные рассказы. Я вспоминаю мастера Месропа. Он шил чувяки и в трудные послевоенные годы процветал. У Месропа была особенная способность одурачивать крестьян. Если крестьянин продавал курицу, Месроп ему говорил:

— Хорошая курица. Стоит она 100 — 120 рублей. И дадут. Рублей 80 дадут. Но если ты мне продашь курицу за 50 рублей, ты всё равно выгадаешь.

Крестьянин недоверчиво смотрел на Месропа. Но Месроп не давал разгореться крестьянскому скепсису:

— А ты возьми, честный человек, и спроси: почему это тебе выгодно продать курицу за 50 рублей. Спроси, честный человек. А вот почему. Я — мастеровой. Придёшь завтра за чувяками, во-первых, я тебе продам самые лучшие — и не из свиной, а из настоящей кожи, а во-вторых — скину рублей 70 — 80. Вот тебе и выгода.

— И ещё, — продолжает Сароян, — Месроп должен говорить крестьянину: «Я — человек богатый. Если я у тебя куплю курицу, то все будут покупать у тебя. Вот тебе ещё одна выгода».

Продолжение интересное, но чисто американское. У нас так никогда не скажут.

* * *

Решили поехать в Переделкино. По дороге — слева — мотель.

— Когда в следующий раз приеду, поселите меня в этот мотель, чтобы я крепко с вами поругался, — улыбается Сароян.

Это он отошёл, успокоился после неприятного инцидента и подтрунивает над собой. Сароян просил, чтобы в Москве забронировали ему номер в «Национале», а его отвезли в другую гостиницу, хорошую, но не в самом центре. К тому же напротив гостиницы, через улицу, — универмаг. Сароян очень рассердился, говорил, что сейчас же уедет… Нам с Размиком стоило больших трудов устроить его в «Национале», да ещё в старом корпусе…

— Это не каприз. Я выхожу из «Национаря» — и вижу Кремль, вижу камни этих исторических улиц.

В Переделкине пошли на могилу Бориса Пастернака… Постояли у могилы Веры Звягинцевой. На её могиле — памятник из красного туфа в форме традиционного хачкара. Памятник поставлен армянскими писателями.

— Наш армянский камень — на могиле русской поэтессы! Расскажите о ней, — просит Сароян. — А как этот камень перевозили из Еревана, кто скульптор?

Зашли в переделкинскую церковь. Шла служба. В церкви одни только женщины-старушки. И все — в чёрном.

— Грустное зрелище, — замечает Сароян.

Пока мы ходили по переделкинскому кладбищу — продрогли. В Москве и Переделкине — снег. А Сароян в своём летнем плаще. Я предложил зайти к Атаровым на дачу и попить чаю. Нас не ждали. Но в доме Атаровых всегда рады гостям. На столе появилась водка, обильная закуска. Николай Атаров как гостеприимный хозяин сам разливает водку. Он плохо видит и льёт водку мимо рюмок на стол…

— Его руки — его глаза… Он уже не может печатать на машинке и диктует свои сочинения секретарю. Он хочет написать то, что должен написать он — и никто другой. Это — жизнь. Я это запомню, — говорил потом Сароян.

Он проникся уважением и сочувствием к Атаровым. Он им об этом сказал:

— Есть люди, которые рождаются детьми и всегда остаются детьми. И есть ещё люди, которые рождаются сиротами, несмотря на многочисленную родню. У меня в одной из пьес об этом написано. Я люблю тех, которые рождаются детьми. Я желаю вам в жизни много хороших дней.

* * *

В Москве Сароян позировал художнику Рудольфу Хачатряну.

— Ты учишься, когда тебе позируют, ты что-то узнаёшь в человеке. Что ты видишь во мне — зазнайство, довольного собою человека?

Не сразу мы нашли мастерскую Хачатряна и долго ходили по московским улицам. Во дворе одного из домов чёрная, цвета ворона молодая овчарка подбегает к мальчику-подростку и хватает его за сапог, отпускает и вновь хватает то за один, то за другой сапог. Собака радостно мотает головой, словно бы рвёт сапоги, а мальчик поддразнивает собаку… Сароян останавливается, смотрит, как играют-резвятся мальчик и собака.

— Что такое счастье? — говорит он. — Вот это и есть счастье.

На одной из улиц Сароян увидел аккуратно сложенные красные кирпичи, не коричневые, а красные.

— Надо посмотреть… Цвет хороший. Москва — город русский. Москву я люблю больше, чем Ленинград.

* * *

В аэропорту Домодедово молодой человек в матросской форме, услыхав нашу армянскую речь, подошёл к нам.

— Ты армянин? — спрашивает Сароян.

— Да. Лечу в Кировакан. Два года не был в Кировакане.

Сароян потом вспоминал молодого матроса:

— Хорошо он сказал: два года не был в Кировакане. А ведь я об этом не спрашивал. Но это его тоска, и он сказал о ней.

* * *

Больше двух часов ждали в аэропорту самолёта на Ереван.

— Мы не просто сидим и ждём, мы особенным образом сидим. Хорошо сидим. Очень удачно сидим, — передразниваем мы с Размиком одного из наших знакомых.

— Что это за история? — интересуется Сароян.

История почти анекдотичная. На одном собрании присутствовал инженер, руководитель работ. Сидел — скучал, иногда зевал. Кончилось собрание, руководитель ушёл, так и не проронив ни слова. Утром следующего дня является к нему один из подчинённых и говорит:

— Да! Здорово вы вчера сидели на собрании. Как вы сидели, как вы сидели!

— Как я сидел? — спрашивает руководитель, ещё не понимая, о чём, собственно, речь.

— Вы сидели, вы так сидели, что, по существу, вели собрание. Когда вы пришли и сели, всем стало ясно, что собрание пройдёт на уровне. Удивительно вы сидели. Наши болтуны, увидев, как вы сидите, сразу же приуныли. А когда выступал этот самый… худой такой, вечно недовольный, вы так на него посмотрели, что он всё понял. Видит, что вы сидите и смотрите… А ведь он хотел говорить совсем о другом. Не сказал. А в самом конце вы положили ногу на ногу, положили и как бы зевнули, что ли. Этот момент был решающим — все увидели, что вы сидите и нисколько не беспокоитесь. Нисколько. Сидите, но дело знаете. Если бы вы не сидели, всё бы прошло по-другому. Всё.

Слушая сладкие речи, руководитель начинает думать, что он и впрямь каким-то необыкновенным образом сидел на собрании, что он вчера в общем-то здорово поработал. «А как же иначе? Зачем тогда, спрашивается, жить, если не работать?» — думает про себя инженер-руководитель и вслух продолжает:

— Я, знаешь, не могу по-другому. Если работаешь — работай. Характер у меня такой. Надо, чтобы и подчинённые видели, как ты стараешься, сил не жалеешь, — воодушевляется руководитель, встаёт и продолжает пламенную речь стоя. Хорошо он стоит, ох как хорошо стоит… А ещё лучше он сидит. Удивительно сидит.

Сароян любит подобные истории. Но этот сюжет ему понравился очень:

— Я напишу пьесу. Большую пьесу на два часа. Двести лет можно прожить в Америке и ничего подобного не услышать… А как я сижу? Хорошо сижу! — смеётся Сароян.

Этот сюжет занимал его все дни, пока он был в Ереване. Он его рассказывал, продолжал, дополнял:

— Как я ем! Очень хорошо ем. «Чап-чап-чап» — вот как я ем. Смотрит на меня сверху бог и удивляется тому, как я ем…

Сидеть! Не всякому дано это искусство — сидеть. Я сажусь в самолёт, и самолёт летит быстрее. В два раза быстрее. И всё потому, что я сижу в два раза лучше других…

Если кто не понимал или если кому не нравился рассказ о человеке, умеющем особенным образом сидеть, Сароян сердился:

— Почему они не оценили эту историю?

Увидев меня, он улыбался:

— Как ты сидишь! Удивительно сидишь!

Так, оторвавшись от общего контекста, общей ситуации, некоторые выражения («Господин Сароян?», «Тигр уснул», «Как ты сидишь! Удивительно сидишь!») вошли в нашу речь. Мы — Сароян, Размик и я — часто ими пользовались. И нам было весело. Было радостно.

3

Как только сели в самолёт, Сароян достал часы. (Он их носит в кармане).

— Сейчас без пяти четыре. По ереванскому времени без пяти пять, — сказал он и передвинул стрелки на час вперёд. — Сколько времени летим? — вдруг спрашивает Сароян, зажав часы в ладони.

Я хотел было посмотреть на свои часы.

— Нет, ты не смотри, ты так скажи.

— 40 минут, — ответил я.

— 45, — сказал Сароян.

Оказалось, однако, что летим 42 минуты.

— Ты на две минуты ошибся, я на три. Ты выиграл.

Устраивать подобные мини-состязания в характере Сарояна. В Гегардском ущелье, слушая шум горной речки, он предложил Ваагну Давтяну игру:

— Я найду английское слово, которое бы выразило шум реки, а ты найди — армянское.

…Просматривали в самолёте русские журналы и газеты. В «Огоньке» статья «Удивляться — значит быть поэтом». Сароян:

— Правильно написано, но надо удивляться простым вещам.

В «Правде» от 17 октября опубликован снимок реставрированного языческого храма в Гарни, построенного недалеко от Еревана в первом веке.

— Каждый день, — замечает Сароян, — происходит что-то интересное. Мне в Париже говорили, что храм в Гарни реставрирован. По снимку видно, как это хорошо.

* * *

Я попросил Сарояна написать несколько слов о русской литературе. Он заметил, что несколькими словами не выразить того, что он думает о русских писателях, но запись в моём блокноте всё-таки оставил:

«Москва, воскресенье, 17 октября 1976 года, 5 часов вечера.

Из писателей России для меня важны, я их перечитываю каждый год, —

Лев Толстой,

Достоевский,

Чехов,

Тургенев,

Горький.

“Шинель” Гоголя — величайший пример русского рассказа. Пушкин — величественный колосс литературы.

Многие народы Советского Союза мало имели до революции книг, которые бы переводились. А теперь подобные книги в советской литературе — обычное явление. Мне было приятно это заметить. Но это такая большая тема, о которой в двух словах не сказать.

Уильям Сароян».

* * *

О русской литературе говорил Сароян в Ереване, выступая в Союзе писателей, в университете, на телевидении… Среди любимых писателей называл также Зощенко и Бабеля.

— «Первый гонорар» — как это написано! Бабель не бросает слова, а кладёт в самое нужное место. Так кладут камень, когда поднимают стену.

…У Сарояна была встреча со студентами и преподавателями университета. Проректор по науке решил приветствовать знаменитого писателя. Ему написали нудный текст со стёртыми, необязательными словами. Студенты не слушали проректора, шумели.

— Не шумите. Это не может долго продолжаться, — сказал Сароян.

Но ещё до официальной встречи Сароян пришёл в университет, чтобы повидать меня. (В Ереване мы встречались редко, от случая к случаю.) Он знал, что будут говорить о его неожиданном визите в университет, и хотел сделать мне рекламу: «Сам Сароян навестил его!»

— Я хочу посмотреть на тебя там, где ты говоришь, — сказал он.

Студенты были несказанно удивлены и обрадованы, когда к ним на лекцию по русской литературе пришёл Уильям Сароян. Он сказал студентам, что в русской литературе есть великий смысл и, чтобы понять армянскую литературу и литературу других народов, надо знать книги русских писателей.

* * *

В день приезда в Ереван, беседуя со встречавшими его писателями, Сароян сказал:

— Хорошие стихи пишите на камнях. Я ищу в своих книгах слова, около двадцати слов, чтобы выбить их на камне. Но нет таких слов. Я бы написал: «Армения. Жизнь. Дружба со всеми народами». Надо найти для этой мысли слова…

* * *

После выступления Сарояна в Союзе писателей один из его почитателей допытывался у него, почему он, владея разговорной речью, не выучит армянский алфавит.

— Ты прав, упрекая меня. Я не знаю, почему я не выучил армянский алфавит. Помню свой первый день в армянской школе. Весь день мы заучивали одну фразу: «Кошка увидела мышку». Вечером я пришёл домой, не заработав ни цента. Мама спросила, что мы проходили. «Кошка увидела мышку», — ответил я. «А завтра что будете проходить?» — заинтересовалась она. «Кошка съела мышку», —сказал я. Мама решила, что я знаю завтрашний урок, поэтому вместо школы могу пойти подработать…

* * *

В ущелье Гегарда, в узком, тесном помещении ресторана-забегаловки, Сароян слушает грустные мелодии зурны:

— Песня очень горестная. Это — молитва.

В дудку-зурну дуют двое. Один из них — главный, ведущий. Он глубоко забирает воздух в лёгкие, в обе щёки, и лицо его становится круглым-круглым. Даже кончик носа выгибается на верхней губе, нос как бы приплюснут к шару. Сароян зачарованно слушает грустные народные мелодии, вглядываясь в сосредоточенные лица зурначей. Если кто из многолюдной компании отвлекается разговорами, Сароян движением поднятой руки останавливает его.

— Послушаем, — приглашает он.

* * *

Из Гегарда поехали в Гарни к знаменитому астрофизику Григору Гурзадяну.

Сароян весь — внимание, сосредоточенность. Он слушает рассказ учёного о вселенной, о возникновении жизни, о том, что многие проблемы космоса не могут быть изучены на Земле, поэтому надо поставить телескопы на космических кораблях…

Речь Гурзадяна образна, поэтична. Если разные люди, говорит он, наблюдают яблоню весной, в пору цветения, затем — когда созрели плоды, и, наконец, зимой, когда дерево голо, то каждый из них может подумать, что наблюдает разные деревья. Так и «дерево» космоса: увидев его в разных проявлениях, в разные «времена года», надо понять, что это

одно и то же явление, одна и та же звезда. Но как это сделать? Встаёт вопрос времени, космического времени…

— Может быть, наше невежество нас бережёт. Таких людей, как вы, — обращается Сароян к учёному, — тысяч десять во всём мире. Вселенная, космос… Надо, чтобы была польза людям…

В рабочем кабинете Гурзадяна на столе — книги. Кто-то из присутствующих показывает Сарояну книгу Гурзадяна «Планетарные туманности», переведённую на английский язык и изданную в Нью-Йорке. Он листает объёмистый том и говорит, что хотя книга на английском, всё равно её не поймёт. Сароян берёт со стола другую книгу — «Книгу скорбных песнопений» Григора Нарекаци на современном армянском языке.

— Эту книгу мы оба поймём, — говорит он и, открыв её, просит Гурзадяна прочитать начало одного из монологов Нарекаци. — Нарекаци тоже интересовался вселенной, космосом, богом. Он вам близок! — говорит Сароян.

* * *

Сароян спрашивал о творческом наследии Амазаспа Амбарцумяна, с которым он познакомился в 1960 году и которого полюбил. Это был литератор, многое знавший, человек ярких, безумных идей. Сарояну сказали, что Амбарцумян оставил после себя интересные воспоминания в трёх томах, оставил много стихов, но стихи слабые.

— Мне в гостиницу приносят книги стихов с огромными портретами авторов, а стихи ужасные — мне их читали. Кто издаёт эти книги? Надо напечатать воспоминания Амбарцумяна. Вы говорите, что у Амбарцумяна слабые стихи. Я бы хотел, чтобы мне прочли несколько его стихотворений, те, которые вы считаете слабыми… Амбарцумян был личностью.

С удовольствием слушал Сароян рассказ о шкале Амбарцумяна. Амазасп Амбарцумян придумал шкалу, по которой определял удельный вес того или иного писателя во всемирной литературе. Гомер как эталон писателя занимал в шкале Амбарцумяна высшую точку — 100%. Все остальные писатели были ниже Гомера. Шекспир, Данте, Толстой поднимались выше 50%. У каждого писателя были свои проценты — 3, 7, 21, 39 и т. д. Но были писатели, которых Амбарцумян не любил, и, когда его спрашивали о них, он по обыкновению притопывал ногой и кричал:

— Это не писатель, он не занимает в моей шкале никакого места, он — ниже нуля.

— Большая честь стоять в шкале Амбарцумяна выше нуля.

* * *

В мастерской художника Акопа Акопяна.

— Всё ты умеешь, всё, — повторяет Сароян.

Но ему не нравится до безысходности мрачный колорит некоторых работ художника. Акопян показывает серию полотен — вместо людей изображены одни костюмы. Люди вынуты из костюмов, нет рук, ног, головы.

— Мои работы грустные, — замечает Акопян.

— Не грустные, а ужасно мрачные. В жизни я больше всего боюсь, что задохнусь, не смогу дышать.

Даже розы художник написал увядшие. На холсте (работа сама по себе — прекрасна) — засохший букет роз.

— Как это тебе удалось высушить розы? — спрашивает Сароян.

Акопян — мастер, но это не его художник. Другое дело — Минас с его жаждой красок и жизни. О Минасе Сароян говорил много, увлечённо. Часто спрашивал у Размика о последних годах жизни художника.

* * *

Один из художников решил подарить Сарояну свои работы — два больших пейзажа. Сарояну работы не нравятся, но он не хочет обидеть художника.

— Вот здесь, на обороте, — говорит Сароян, — я напишу, что эти пейзажи принадлежат мне. И когда в следующий раз я приеду к тебе, скажу: покажи мои пейзажи, и ты мне их покажешь… Мы посидим, ещё раз посмотрим твои работы.

* * *

Не было человека, который бы не спросил Сарояна, что он делает, о чём думает, каковы его планы…

— Вы путешествуете, чтобы писать?

— Чтобы жить. Главное — это жизнь… В Италии, в стране великого искусства, например в Неаполе, идёшь по улице и видишь маленькую девочку, которая встала рано-рано и что-то продаёт. Она не может заработать ничего, ни цента… Сочувствие к бедным сильно выражено у Достоевского, у Чехова, а может быть, сильнее всего — у Толстого.

Герои некоторых моих пьес — дети. Теперь я не пишу такие пьесы, потому что родители детей, которые играют в пьесах, жестоки, они всё время вынуждают детей делать то, что дети не хотят и не умеют. Они мучают детей.

Я хочу написать трагедию. В классических трагедиях (греки, Шекспир) много смертей. Но я не хочу, чтобы в моих пьесах, пусть даже это трагедия, убивали людей. Мне ближе трагедия Нарекаци — он находит трагедии в своей душе, в своём сердце, чтобы идти к великому, большому.

Биография писателя и его произведения — это разные вещи. Я писатель биографический. Но нельзя выводить биографию писателя из его книг. Книги — не родители, но дети.

Я много в эти дни говорил, но я не хотел повторяться. Удивляюсь, как актёры каждый вечер говорят одно и то же. Я спрашивал об этом у своих друзей актёров. Они мне сказали, что говорят не одно и то же. «Как же, говорю, не одно и то же?» А они мне отвечают: «Каждый вечер зритель другой, новый, — значит, и текст у нас другой, новый».

* * *

Провожали Сарояна.

— Почему вы уезжаете? Могли бы ещё пожить в Ереване.

— Я не люблю того Сарояна, которому аплодируют. Я придаю значение людям, о которых пишу. Когда мне аплодируют, я не вижу жизни.

Один из писателей произносит тост:

— Я сегодня видел сон. Наши покойные друзья — Гурген Маари, Мартирос Сарьян, Ваан Тотовенц, Егише Чаренц… передавали, Уильям, тебе приветы.

Сароян:

— Если они тебе ещё приснятся, скажи им, что приветы я принял, но пусть они меня не ждут в скором времени. Скажи им, что я на этой земле ещё живу, толкаюсь.

* * *

Ещё в Ленинграде Сароян сказал, что ему нравятся ереванские мужские туфли на толстой подошве с крепкими, круглыми и вздёрнутыми, как боксёрские перчатки, носками. И когда ему передали сто рублей на карманные расходы, он заметил:

— Хорошо. Приедем в Ереван, куплю себе ереванские туфли. Такие, как у Левона.

В Ереване ему причитался гонорар.

— Это вам от издательства «Советакан грох».

— Хорошо. Куплю себе туфли. Такие, как у Левона.

— Это вам от телевидения.

— Хорошо, куплю себе туфли…

И он действительно купил — целых пять пар добротной ереванской обуви. Его специально пригласили в фирменный магазин… Но когда он уезжал и упаковывал чемоданы, сказал:

— Я хотел бы жить в Армении долго, так долго, чтобы износить все эти туфли, но сейчас я уезжаю, а в чемодане нет места. Пусть эти туфли останутся здесь. Я буду знать, что у меня в Ереване много обуви, что в Армении я буду хорошо обут.

И когда он садился в машину, чтобы ехать на аэродром, пришла девушка с конвертом:

— Это вам гонорар от газеты «Гракан терт».

— Хорошо, — улыбнулся Сароян, — куплю себе туфли. Такие, как у Левона. И буду ходить, ходить по этой земле, так, как ещё никто не ходил…

* * *

Я здесь рассказал об Уильяме Сарояне. Понятно, не я один общался с ним и наблюдал его вблизи. Он встречался со многими людьми. В Ереване у него много друзей. И у каждого — свой Сароян и свой о нём рассказ.

— Если писатель может одарить людей радостью, значит, он сделал своё дело, значит, он изменил мир, потому что радостный человек — это изменившийся мир, — говорил Сароян.

Всех, кто с ним близко общался, он одарил радостью… Он душевно щедр и добр.

Таков он в жизни.

Таков он и в своих книгах.

Послесловие

В мае 1981 года Уильям Сароян скончался во Фрезно. Год спустя урну с прахом Сарояна захоронили в Ереване — он об этом просил в своём завещании.

Памяти Сарояна было посвящено множество статей. Было и моё небольшое слово, которое я счёл возможным привести здесь в качестве послесловия к моим заметкам-воспоминаниям об Уильяме Сарояне.

Он не уходит, он приходит к людям

Уильям Сароян любил весёлые сюжеты. Жил-был литературовед, который никак не мог написать книгу о хорошем прозаике, живом классике.

— Понимаете, — вздыхал литературовед, — он ещё не завершил своего творчества, он всё ещё продолжает писать, поэтому я не могу завершить своё исследование. Надо ждать…

Но случилось так, что незадачливый литературовед умер раньше писателя, которого он изучал.

Эта история, её трагикомический финал рассмешили Сарояна.

— А знаете, почему я не умираю? — улыбнулся он. — Потому что я не хочу умирать.

Сароян любил жизнь и жил твёрдо, крупно…

Когда умирают такие писатели, как Уильям Сароян, думаешь о смерти, об утрате, но говоришь о жизни. И как нам ни печально — других слов нет. Разгадка парадокса в формуле Пушкина: «Нет, весь я не умру…»

В жизнь каждого из нас по-своему приходит тот или иной писатель. Где-то в середине 50-х годов в статье Ильи Эренбурга «Путь века» среди других имён, определивших путь и лицо века, был назван Уильям Сароян. Это запомнилось. Были найдены и прочитаны новеллы и книги Сарояна «Приключения Весли Джексона», «Человеческая комедия», были

прочитаны и увидены на сцене пьесы, и в их числе самая, может быть, знаменитая из пьес — «В горах моё сердце».

Позже были прочитаны и многие другие книги («Мама, я тебя люблю», «Папа, ты сошёл с ума…»), вплоть до последних сборников воспоминаний. Недавняя его книга, названная несколько, может быть, необычно: «Некрологи», была посвящена памяти людей, знаменитых и незнаменитых. Для Сарояна всякий человек знаменит, всякий человек — это жизнь.

Сароян известен как писатель великого жизнелюбия. Он проповедовал любовь к жизни, любовь к человеку, и прежде всего к «маленькому» человеку. И это определяющая, сущностная черта его творчества привлекла к нему внимание мировой критики. Он стал знаменит в Америке уже в 30-х годах после первой своей книги «Отважный молодой человек на летающей трапеции» (1934), а затем пришла и мировая известность.

Гуманизм Сарояна социально окрашен и социально активен. Во всём, что он написал, жизнь буквально трепещет, жизнь, я бы сказал, взывает к жизни другой — и более справедливой, и более к людям благорасположенной, что ли. «Я люблю людей, — писал Сароян, — люблю армянский народ, люблю род Сароянов, люблю моего отца Арменака, мою мать Такуи, мою дочь Люси и, если уж сознаться в самом страшном, я люблю самого себя».

Это признание Сарояна характерно и написано в улыбчивой сарояновской манере, но оно лишь в малой мере передаёт то осязаемое, щемящее чувство жизни, которым переполнено буквально всё, что написал Сароян. Его писательский гений, его любовь ко всему, что живёт, что дышит (Сароян знал, что дышит всё — камень, вода, тучи…), счастливо воплотились и выразились в его книгах. Современность сочеталась в нём с древнейшей изначальной человеческой способностью удивляться миру. «Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы?» — это занимало, увлекало Сарояна.

Демократизм Сарояна-писателя сказался и в манере его письма — простота, до того безыскусственная, до того естественная, что во всех его вещах ощущаешь нерукотворность слова и мысли, нерукотворность искусства.

Ещё предстоит изучить вклад Сарояна-новеллиста в мировую литературу.

Американский критик года два-три тому назад писал, что сегодняшней Америке, современной американской литературе так необходима сарояновская доброта, и надо потому заново перечитать его книги. Я уверен, что Сароян будет заново перечитан, что в силу характера своего дарования он не уходит, он приходит к людям…

Американский писатель Сароян подчёркивал, что он армянин, называл себя армянским писателем.

Перечитываю одно из его писем: «Я хочу приехать к вам ещё раз. Хочу всех вас видеть. Жажду снова увидеть холмы и скалы возле дома Гурзадяна, окружённого садом с дивными розами. Сейчас слишком рано обсуждать, в каком отеле остановиться. И всё-таки я осмелюсь сказать, что мне хочется пожить в новом отеле, в “Наири”. Но больше всего мне хотелось бы пожить за городом, у кого-нибудь дома, что-нибудь вроде Зангезура…»

Многое, очень многое в творчестве Сарояна, как и эти несколько слов, написанных им во Фрезно 17 июня 1978 гола, в субботу, в два часа дня, говорит о том, что Уильям Сароян не представлял себе жизни без Армении.

В Армении у него были друзья. Он знал Чаренца, Тотовенца, Маари… Он дружил и переписывался со многими современными армянскими писателями. Высоко ценил Гранта Матевосяна, Ваагна Давтяна, Размика Давояна…

В октябре 1978 года Сароян приезжал в Армению на торжества по случаю 150-летия вхождения Армении в состав России. Из Москвы он летел в одном самолёте с киргизской делегацией, прибывающей на торжества.

— Другие народы прилетают к вам разделить вашу радость, — говорил Сароян на аэродроме. — Это хорошо. А армяне, значит, летают к ним на праздники. Это хорошо.

Хочу, чтобы я был один, хочу смотреть на них, видеть их, не хочу, чтобы смотрели на меня и шумели. Вы мне помогите…

Здесь же, на аэродроме, сообщил встречавшим его друзьям, что в Москве, в Театре имени Вахтангова, видел «Ричарда III» в постановке Капланяна. Сароян несколько раз подчеркнул, что в пьесе играет Михаил Ульянов.

— Я такого Ричарда вижу впервые. Я Капланяну сказал, можешь поставить на сцене Нарекаци. Со сцены слово Нарекаци будет сильно звучать.

Посмотрев на меня:

— А знаешь, я был в «Литературной газете». Русские — мои друзья.

Кто-то из присутствующих говорит, что получил от Сарояна письмо и очень дорожит этим письмом, бережно хранит его.

— Мои письма не выбрасываете? — улыбался Сароян.

Вспомнили в этой связи Гоголя. Почтмейстер из «Ревизора» имел обыкновение читать чужие письма. Неинтересные письма отправлял дальше по адресу, а интересные оставлял у себя для чтения.

— Ваши письма, Уильям, из тех, которые почтмейстер наверняка бы сохранил у себя.

Сароян любил Гоголя и знал его творчество.

— Гоголь раньше Чаплина поведал миру историю маленького человека. Маленького человека принижают, это бедный человек. Но если написать историю этого человека, то он уже перестанет быть маленьким. Гоголь написал его историю. Он возвеличил его.

Рассказывал, что написал за последнее время. Одну пьесу и не то повесть, не то рассказ об Араме Хачатуряне.

— Говорят, что я много пишу. Но я пишу потому, что я писатель. Я говорю сыну: «Ты писатель — и ты не пишешь, как это можно?» Если я не буду писать, я не буду писателем.

Когда Сарояна попросили написать два слова для читателей журнала «Литературная учёба», он набросал несколько строк своим быстрым, размашистым почерком и перевёл мне на армянский: «Нет ничего радостнее, чем читать хорошую книгу. Есть только одно более радостное дело — писать хорошую книгу…»

И он писал.

Его книги нужны его читателям.

…В начале ноября 1978 года Сароян уезжал в Америку с надеждой ещё и ещё раз побывать в Армении. За ужином (прощальный ужин был грустным) Г. Гурзадян рассказал, как он спросил у одного из космонавтов сразу после приземления:

— Что вас больше всего удивило на Земле?

— Запах воздуха, — ответил космонавт.

Сарояну это очень понравилось. Он то и дело повторял: «Запах воздуха». И под впечатлением этих слов сказал:

— В следующий раз я приеду, чтобы лучше узнать камни Армении, запах камней. Мне бы остаться наедине с камнями. Я могу часами смотреть камни, могу целыми днями бродить по каменистым тропам Армении. Я много бывал с людьми. Это хорошо. Но я мало оставался один с камнями, один наедине с воздухом Армении…

Увы, следующего раза, следующего приезда в Армению не будет. Но всё, что было, останется навсегда. С нами его голос, его улыбка, жесты. С нами книги Уильяма Сарояна. С нами — он сам.

Уильям Сароян не уходит, он приходит к людям.

«…И, как песня, молодой»

С Николаем Тихоновым был знаком совсем немного. Встречал его несколько раз в Москве на писательских собраниях и симпозиумах. Летом 1969 года был несколько раз у него дома в Переделкине. Переписывался. Расскажу о письмах Тихонова и немного об одной встрече с ним. Одна эта встреча и была памятной. Остальные несколько встреч были мимолётны. Откуда же, однако, во мне такое ощущение, что я хорошо знал Николая Тихонова?

Русский поэт, Тихонов очень любил культуру, быт, природу, исторические судьбы других стран и народов. Его душа «дрожала болью о кораблях» и неведомых странах… То была боль по жизни, по её полноте… Я искал слова, чтобы сказать об этой важнейшей особенности творчества Тихонова, искал и, кажется, нашёл их в одной из повестей самого Тихонова: «Слова чужих стран, — писал Тихонов о своём герое, путешественнике и учёном, — входили в его голову как бы играя. Он забавлялся их пестротой и музыкой. Он видел их, как видят картины или статуи. Они прыгали перед ним, и каждое означало что-нибудь новое, ещё не известное ему…»[1]

Я любил поэзию Тихонова, этот редкостный, романтический сплав земного и небесного. Я мог до бесконечности повторять:

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой солёной,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов…

Я любил Николая Тихонова, поэта и человека, сказавшего о себе: «Мою душу кузнец закалил не вчера, студил её долго на льду». Я восхищался им и людьми его поколения:

…И когда луна за облака
Покатилась, как рыбий глаз,
По сломанным, рыжим от крови штыкам
Солнце сошло на нас.

Я любил яркую, сдержанную прозу Тихонова. Знал и любил всё, что он написал об Армении, о Грузии, где я вырос. Отсюда, должно быть, и ощущение близкого знакомства лично с ним, хотя этого не было.

* * *

В 1958 году, будучи ещё студентом университета, я стал думать о составлении сборника статей русских писателей и критиков об Аветике Исаакяне. Написал Тихонову письмо — он был автором статьи-эссе о поэзии Исаакяна. «Нечто подобное предлагаемому Вами сборнику, — писал Тихонов 15 апреля 1958 года, — выпускалось уже в Армгизе и переиздавалось в Гослитиздате — я имею в виду сборник “Дружба”. Моя статья об А. Исаакяне была опубликована в этих сборниках.

Благодарю Вас за присылку брошюры о творчестве Ованеса Шираза».

Брошюра о Ширазе была оттиском моей студенческой, восторженной и, как я теперь понимаю, слабой статьи, которой тогда я был очень рад и послал её Тихонову. Сборник «Аветик Исаакян в русской критике» был мною составлен (Ереван, Армгосиздат, 1961). Статья Тихонова — лучшая в сборнике. Позже, в 1975 году, для издательства «Художественная

[1] Тихонов Н. Собр. соч., в 6-ти томах, т. 3. М., 1959, с. 18.

литература» я составил двухтомник Исаакяна — том поэзии и том прозы. Николай Семёнович, по просьбе издательства, дополнил свою статью об Исаакяне разделом о прозе поэта. Статья была опубликована в качестве предисловия к двухтомнику. «Поэтический дар Аветика Исаакяна всемирно известен, — замечал Тихонов. — Но Аветик Исаакян ещё и прозаик, чрезвычайно своеобразный и талантливый».

Проза Исаакяна увлекла Тихонова и необычностью тематики: интерес к древности, философские притчи, навеянные буддизмом и народной восточной мудростью. Тихонов и сам писал прозу крупно, ярко. География поэзии и прозы Тихонова обширна. Это Кавказ, Средняя Азия, почти весь зарубежный Восток — особенно страны Юго-Восточной Азии. Тихонову, несомненно, была близка и выразившаяся в прозе Исаакяна жажда философских поисков смысла жизни, её сути.

* * *

В 1962 году Тихонов завершил повесть о своём давнем путешествии в Армению. «Дни открытий» — так была названа эта поэтичнейшая повесть о путешествии через горы в Гегард, в знаменитый средневековый монастырь, вырубленный в громадной литой скале. Это — лапидарная, многоцветная проза. Она сродни по фактуре языка, по образам армянскому пейзажу. В лаконизме армянского пейзажа есть что-то и от гиперболы, преувеличения, что прекрасно передано Тихоновым.

Впервые Тихонов побывал в Армении в 1924 году. «Я не мог, — вспоминал он много лет спустя, — не воскликнуть в восхищении:

В ладонях гор расколотых
Стозвучным ломом времени,
Как яблоко из золота,
Красуется Армения».

Во время и после поездки 1924 года был написан цикл стихов об Армении. Стихи контрастны. В них широкая тишина гор и приземистая тишина разграбленных ещё со времён первой мировой войны армянских сёл, тишина виноградников, вспаханных полей и настороженная тишина приграничной жизни…

В 1929-ом Тихонов снова приезжает в Армению, приезжает вместе со своим другом поэтом Вольфом Эрлихом, которому, кстати, посвящено стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и который оставил нам воспоминания о Есенине «Право на песнь».

В «Днях открытий» Тихонов сказал о своей любви к Эрлиху, к своему безвременно погибшему другу, и сказал о любви Эрлиха к Армении: «Куда бы он ни ездил, он возвращался в Армению, глубоко полюбив её. Он не мог жить без неё».

Мы с Ириной Карумян (редактор «Армгосиздата», переводчик армянской прозы на русский язык) послали Тихонову письмо: хотели разыскать стихи и рассказы Эрлиха, хотели написать о нём. «Простите великодушно, — отвечал нам Тихонов 2 апреля 1963 года, — что задержал ответ на Ваше доброе письмо. Мне очень приятно было узнать, что мои воспоминания о моём странствовании по Армении вместе с Вольфом Эрлихом встречены Вами с большим вниманием.

Ещё больше меня взволновал Ваш вопрос о Вольфе Эрлихе в связи с его творчеством и с тем, что он писал об Армении.

До сегодняшнего дня я был занят чрезвычайно к совершенно не имел времени, даже ответить не мог на Ваше письмо.

В ближайшие дни я вышлю Вам все сведения, которые касаются его творчества и других связанных с ним материалов».

Тихонов прислал (в письме от 7 апреля) библиографию всех книг Эрлиха, сообщил нам адрес сестры поэта Миры Иосифовны Толкачёвой. «Вероятно, в Ереване есть товарищи, которые его помнят, — писал Тихонов. — Если Вам что ещё понадобится знать о Вольфе Эрлихе, — пишите, я буду рад Вам ответить.

Привет Еревану».

Мы с Ириной прочли книги Эрлиха, его стихотворения, посвящённые Армении («Эриванская дорога — первая моя любовь»), его «Алагязские рассказы». Он писал серьёзно и иронично, писал соразмерно, то есть кратко и легко (лёгкость и естественность таланта). Он Армению любил и знал её. В 1931 году Эрлих написал стихотворение о том, как был убит нахака, председатель Аванского сельсовета, и закончил его словами:

Я прожил день, как будто необычно.
Но я не прав. Я прожил день войны.

Таким было время. Обычный будний день — как день войны…

Нам не удалось издать в Ереване книгу Эрлиха. Его посвящения Армении вошли в сборник стихов русских поэтов «Это — Армения» (Ереван, 1967). А письма Тихонова о Вольфе Эрлихе говорят о его душевной верности памяти друзей, о том, что он был человеком высоких правил.

* * *

В 1968 году я заведовал редакцией литературы на русском языке издательства «Айастан». Составляя планы, написал Тихонову о том, что хотим издать его сборник стихов и рассказов об Армении. «По-моему, — ответил Тихонов 14 августа 1968 года, — в книгу могли бы быть включены рассказы: “Дни открытий” из книги “Двойная радуга” и “Камуфляж” из книги “Рискованный человек”.

Затем статьи о Саят-Нове, Хачатуре Абовяне, Аветике Исаакяне, Егише Чаренце, Ширванзаде. Кроме того, есть отдельные заметки (по вопросам армянской литературы).

Я бы хотел знать, должен ли я сам представить весь текст. Если должен, то мне нужно для этого время. Я могу представить на решение издательства все материалы в первых числах сентября».

Из предлагаемых Тихоновым произведений мне не был знаком «Камуфляж». Это скорее всего не рассказ, а небольшая повесть, написанная в 1926 году. И сюжет, и герои повести необычны. Это чувство необычности усиливается сравнениями и, может быть, несколько ироничной манерой письма («Бритый череп техника Терентьева лоснился, как свежевымытый боб»; «Щёки побурели, точно под ними взорвались склады томатов, потом шея стала похожа на фаршированный кабачок»); усиливается и тем, что в каждом из героев подчёркивается какая-то одна «глобальная» черта характера. Техник Терентьев не любит природу, она ему мешает жить; щёголь Сурхаян читает французских писателей, ухаживает за своей женой и за своей внешностью и вообще не утруждает себя работой; профессор Хачатур только и думает о раскопках, об исторической науке…

Я прочёл «Камуфляж» и попросил Тихонова ускорить представление рукописи. «Получил Ваше письмо за час до отлёта в Тбилиси, — отвечал Тихонов 9 сентября 1968 года. — Могу представить рукопись только в середине октября, потому что из Тбилиси лечу в Ташкент и вернусь в Москву только к первому октября. Переставить сроки поездок не могу».

Переписка возобновилась в январе 1969 года. Тихонов вдруг «усомнился в возможности издания сборника». Он мне прислал список всего, что им написано об Армении. «Всё это вместе взятое, — писал он 19 января, — не имеет намеченных Вами 10 печатных листов. Я сначала думал, почему и написал Вам, что материал есть и может быть представлен уже

в октябре, что у меня действительно наберётся на большую книгу, а теперь вот, что есть на самом деле».

Тихонова интересовало моё мнение: «Я двадцать третьего должен выехать в Ленинград на двадцатипятилетие разгрома фашистских войск под Ленинградом, буду в Ленинграде до конца месяца, вернусь к первому февраля. Если всё будет в порядке, то я за первую половину февраля смогу, вероятно, подготовить сборник к печати, но Вам виднее».

Я был уверен, что может сложиться хороший сборник. Ещё и ещё раз просил выслать материалы. 24 февраля 1969 года Тихонов сообщал: «Проза для армянской книги “Дни открытий” и “Камуфляж” и шестьсот строк стихов моих и переводов отпечатаны и готовы, но со статьями и подготовкой их к печати вышла заминка. Во-первых, меня одолевают дела неотложные по всяким комитетам и союзам, во-вторых, статьи рассыпаны в разных папках, надо их искать в архиве и приводить в порядок». В постскриптуме к письму говорилось: «Двенадцатого марта вечер творческий Сильвы Капутикян… Только что мы справили юбилей дедушки Крылова и теперь юбилей молодой бабушки Сильвы Капутикян. Думаю, что вечер пройдёт хорошо! Её все любят, и она этого заслуживает!»

Вечер Сильвы Капутикян действительно прошёл хорошо. В марте я был в Москве и присутствовал на её вечере в большом, переполненном зале Центрального Дома литераторов. Вечер состоялся 11-го, а не 12 марта.

11 марта днём я говорил с Тихоновым по телефону. Обсуждали — уже в который раз! — состав его армянской книги. Жаловался, что очень занят и не может сложить сборник. Прислал мне в гостиницу «Москва» часть рукописи — прозу и стихотворения. Узнав, что у нас в Ереване невыразительно оформляют книги, сказал, что хорошо бы заказать оформление московскому художнику. Сожалел, что не может присутствовать на вечере Сильвы Капутикян. Он написал ей приветственное слово, которое было зачитано на вечере. «Ещё раз сердечно приветствую Вас с Вашим поэтическим праздником и невольно переношусь в те родные Вам прекрасные края братской нам Армении, где родились Ваши страстные, Ваши глубокие, нежные и суровые стихи, покорившие давно сердца Ваших многочисленных друзей поэтов, я не говорю уже о бесчисленных читателях и почитателях Вашего таланта.

Я хочу принести свою благодарность стране гор и вдохновений, которая дала поэзии такую замечательную дочь!»

И ещё Николай Семёнович просил Сильву Капутикян выполнить одно его желание: «Когда кончится героический труд поворота реки Арпи и наступит день, когда её пенистые воды ринутся в священный Севан, снова наполняя его новыми свежими волнами, я хочу, чтобы Вы приветствовали первые волны своей песней на этом торжестве поэзии и героического труда, чтобы Вы были первой, кто воспоёт первую волну Арпи, сочетающуюся с древним и вечно молодым Севаном!»

Тихонов писал о Севане и строительстве канала Арпа — Севан не потому, что представился случай. Эта тема — обмелевший Севан и канал как выход, как спасение Севана — волновала его очень. И хотя он отдал тему Сильве Капутикян, не удержался и сам написал в 1972 году стихотворение:

Смотри, как славен труд каменотёса,
Что хочет Арпе прорубить ходы,
Чтобы Севан глотнул из тьмы утёсов
Потоки свежей радостной воды.

Всем сердцем мастер верен высшей цели,
И день и ночь работе не стихать.
Поэт подобен мастеру ущелья,
Он в недрах жизни присягнул стихам.

Давая путь метафор ярких грому,
Не устаёт пласты он слова рыть,
К великому Севану стиховому —
Стиху, как Арпе, хочет путь открыть.

Чтоб стих звенел, и светел и раскован,
Всего себя в нём растворил поэт,
Чтобы к народу стиховое слово
Потоком свежим хлынуло на свет!

Тихонов, что называется, повернул тему. Его увлекла возможность сопоставления: Севан, это чудо-озеро высоко в горах, и образ поэзии; Арпа, тысячи мастеров пробивают ей дорогу к Севану, и образ поэта. Умрут стихи, умрёт поэт, не нашедший в горах путей-дорог к стиховому Севану, но и Севан обмелеет без новых стихов-песен, без новых поэтов…

Тихонов сказал здесь ещё и о себе, о своём поэтическом кредо. Это он «в недрах жизни присягнул стихам». Молодой Тихонов сразу же заявил о себе как о поэте необычайной силы. Слово в его стихах (вспомним его первые книги — «Орду» и «Брагу»), как мир, промытый добрым весенним ливнем и освещённый проглянувшим солнцем. Тихонов обновил старый поэтический словарь. Слово у него — то же, что и в традиционной поэзии, но в его стихах оно светится необычным, новым светом. И мир был тот же, что и сто, и тысячу лет назад, но он уже был преображён революцией. И слово как мир, оно тоже было преображено, промыто ливнем времени. Ведь, как сказал Тихонов, «И в каждой капле спал потоп». Это, должно быть, чувствовал ещё Ной, герой библейской легенды о всемирном потопе, но слово нашёл и сказал об этом («и в каждой капле спал потоп») Николай Тихонов.

* * *

В конце апреля я поздравил Тихонова с Первомаем. Напомнил о его обещании в ближайшее время выслать вторую половину рукописи. «…Стихи, переводы и прозу, — отвечал Тихонов 7 мая, — можно было представить в окончательном виде сразу, а статьи требуют дополнительной обработки, иначе они кажутся немного странными. Я приведу их в порядок в середине мая и сразу вышлю Вам. Так что ждать недолго. Тут ничего не поделаешь.

Приму все меры, чтобы всё было в порядке».

20 мая конец рукописи — статьи об армянских писателях — был выслан мне. Статьи были просмотрены Тихоновым и отредактированы. «Желаю хорошей весны, — писал он, — у нас она холодная, сырая и не очень добрая. Я простудился, гриппую, кашляю, чихаю, но надеюсь, это скоро пройдёт».

* * *

В июне — июле 1969 года жил я в Доме творчества в Переделкине. Заходил к Тихонову по делам книги. 6 июня привёз Тихонову из Москвы письмо от Арфо Аветисовны Петросян. Как заместитель директора Института мировой литературы имени Горького она просила Николая Семёновича открыть вступительным словом предстоящую научную сессию ИМЛИ, посвящённую 100-летию со дня рождения Ованеса Туманяна. По этому же вопросу были у Тихонова в Переделкине 14 июня учёный секретарь ИМЛИ А. Ушаков и я. 16 июня вечером зашёл к Тихонову и взял список всего, что войдёт в сборник. Договорились, что он подберёт для книги фотокарточки и пришлёт их мне в Дом творчества, так как сам уезжает в ГДР. Спросил, читал ли я опубликованное в «Правде» воззвание в защиту мира.

18 июня были получены фотокарточки с запиской Николая Семёновича: «Оставляю Вам 3 карточки. Одна относится к 20-м годам, другая — к 50-м, третья — 1948 года, когда справляли юбилей Абовяна. Я снят, как видите, с Исаакяном и латвийским писателем Рокпельнисом. Стоящий рядом с Исаакяном — или Демирчян, или Зорян. Это надо проверить».

Групповой снимок был сделан в Армении на фоне развалин Звартноца. Рядом с Исаакяном стоял Дереник Демирчян.

* * *

2 июля 1969 года в час дня был у Николая Тихонова в Переделкине. Показал ему свою статью о нём. Сказал о своём восхищении тем, как он написал о Месропе Маштоце, создателе армянской письменности: «Я могу себе легко представить его идущим, как и мы, по такой молчаливой древней пустыне. Это земля, окроплённая потом и кровью, но она безмолвна. Она хочет иметь язык. Месроп видит эти горы, камни, испещрённые знаками веков. И он говорит с этим небом, с этими камнями. Заходит огромное багровое солнце. И в мозгу человека рождаются первые знаки армянской азбуки. И потом они, выражая всё, что может выразить человек, будут жить на пергаменте, на камне, на глине…»

Жизнь и дела Маштоца были описаны ещё в пятом веке его учеником Корюном. О Маштоце имеется громадная научная литература. Не в традициях армянской филологии домысливать, дорисовывать образы учёных и писателей средних веков. Тихонов дополняет факт воображением, придумывает детали яркие, необычные. Его герои (что характерно для писателей романтического склада) неординарны, исключительны. Он любит имена легендарные.

— Это верно, — соглашается Тихонов. — Самые достоверные биографии — это биографии легендарные.

Он заговорил о Саят-Нове.

Арутин Саят-Нова — гениальный поэт XVIII века, слагавший свои стихи на армянском, грузинском и азербайджанском языках. Тихонов нашёл в его образе нечто для себя очень близкое и дорогое. Верный своему принципу видеть в легендарном достоверное, он писал о баснословном походе Надир-шаха в Индию и о Саят-Нове, вступающем с его войском в Дели, рассказывал, как после Ирана и Индии ветер странствий заносит поэта «в страну чёрных христиан» — и мы видим его идущим в процессии где-нибудь в Анкобере, где за крестом идут барабанщики, над вельможами и духовными лицами несут серебряные зонтики, «поэт видит незнакомые голубые горы и тростниковые хижины, где по вечерам поются грустные любовные песни».

Все эти подробности придуманы Тихоновым, «извлечены» им из легенд о жизни Саят-Новы.

— Нет ли в Армении романа-биографии Саят-Новы? — спрашивает Тихонов. — Почему никто не напишет? Материал очень богатый. Можно написать, как писал Стефан Цвейг.

Тихонов говорил, что легендарная правда — это не вымысел, это та же правда, только здесь форма увлекательная, захватывающая. Вспомнил свою повесть «Камуфляж». Герои повести находят в далёкой горной пещере с заваленным входом настоящую римскую колесницу.

— Там, где обмелел Севан, — сказал Тихонов, — произвели раскопки и ведь на самом деле нашли римскую колесницу.

Я сказал Тихонову, что он любит неожиданные, редкие, а порой и неправдоподобные сюжеты. Он согласился со мной, заметив, что всё это тем не менее правда. Получалось по Тихонову, что неправдоподобность сюжета есть вернейший признак его правдивости.

Всегда занятый, 2 июля Тихонов никуда не спешил. Он был в хорошем расположении духа и стал рассказывать мне о своих поездках в Индию и о том, что он обнаружил вдруг в

одной из индийских провинций величайший и драгоценнейший символ власти Великих Моголов.

— А вот ещё про бегемота, — посмотрел Тихонов на меня, слушающего его, что называется, разинув рот.

Сюжет про бегемота был таков: когда наши войска окружили Берлин и брали его с боями, то оказалось, что в берлинском зоопарке живёт знаменитый на весь мир бегемот. Поступил приказ чуть ли не от самого Верховного — бегемота сохранить!

Дело было, как заметил Тихонов, престижное, важное, поручили его генералу. Был сброшен специальный десант на зоопарк.

— Взяли бегемота без единой царапинки.

Я привык думать о позднем Тихонове как об известном общественном деятеле, председателе серьёзнейших комитетов — и вдруг увидел в тот памятный день молодого Тихонова, мечтателя и фантазёра, сказавшего когда-то в юности:

Праздничный, весёлый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить…

Это (моё представление о Тихонове официальном и Тихонове-собеседнике, мечтательном до наивности, граничащей с откровением) меня удивило. Должно быть, Тихонов никогда не изменял себе молодому, себе — поэту.

Николай Семёнович просил назвать новые имена в армянской литературе, интересовался, как мы готовимся к предстоящему юбилею Ованеса Туманяна. Принёс, показал мне сборник стихов и поэм Туманяна, вышедший в Большой серии «Библиотека поэта», и книгу Левона Ахвердяна о творческом пути Туманяна.

— Мне эти книги прислали. Буду писать о Туманяне. Как переведён Туманян?

В целом, сказал я, переведён плохо, но многое сейчас переводится заново. Будет ли он, спросил я, возглавлять Третье всесоюзное совещание переводчиков художественной литературы, намеченное на сентябрь 1969 года?

— Да. Это очень важное дело. Возьмёшь переводную книгу, в предисловии академик пишет, что автор — мастер стиха, мастер звукописи, что это — гений, а читать книгу невозможно. Это как в переполненном трамвае, хочешь сойти, пробиваешься к выходу, извиняясь и повторяя: «Вы сейчас сходите?..» Не терпится быстро кончить такое безрадостное чтение.

Был момент, когда в разговоре наступила длительная пауза. Боясь, что нить беседы оборвётся, я не удержался и задал банальнейший вопрос о том, над чем он сейчас работает.

Николай Семёнович сказал, что должен выступить на сессии Верховного Совета СССР, готовит речь.

— Поставлен вопрос о внешней политике. Будет докладывать Громыко.

Рассказал о заседании Совета Мира в Берлине:

— Многих ветеранов борьбы за мир уже нет в живых. А многие мои старые друзья говорили, что в последний раз участвуют в работах Совета Мира… Вначале это была организация чисто общественная, а сейчас в её работах участвуют крупные государственные лица. Некоторые страны были представлены деятелями, которые у себя являются министрами. Это говорит о том, что угроза миру возросла. В мире очень тревожно… Об этом скажет Громыко. В некоторых странах всех сторонников мира перебили…

Я всё это цитирую сейчас по записям, сделанным тогда же, 2 июля 1969 года.

2 июля день в Переделкине был пасмурный. Когда я уходил, сквозь тучи пробилось нежаркое, позднее солнце. Я сказал Николаю Семёновичу, что в следующий раз приду с

фотоаппаратом и сделаю много снимков. Опубликуем в книге совсем, совсем новые фотокарточки.

— На совсем, совсем новых снимках я буду совсем, совсем старый, — улыбнулся Тихонов. И уже у самых ворот, прощаясь со мной, сказал: — Видите, солнце проглянуло. И птицы запели. Это они вас приветствуют.

* * *

Николай Тихонов принял горячее участие в юбилейных торжествах Ов. Туманяна. Он охотно соглашался выступить, написать статью… В конце 1969 года я получил два «туманяновских» письма, одно из них, от 11 сентября, приведу целиком: «Сердечно поздравляю Вас с наступающим праздником — столетием со дня рождения великого Ованеса Туманяна!

Согласно нашей договорённости, посылаю Вам статью о юбиляре: ПРАЗДНИК ВЫСОКОЙ ПОЭЗИИ. Эта статья предназначена для ереванской газеты “Коммунист”. В литературную газету “Гракан терт” я послал “авиа” другую статью на ту же тему — 5 сентября. Они письменно попросили меня, чтобы я написал об Ованесе Туманяне.

Но та статья, что послана Вам для “Коммуниста”, — это не та статья, которую включим, если надо, в армянскую мою книгу. В армянскую мою книгу я хочу включить то моё “Слово о Туманяне”, что будет, надеюсь, мной произнесено 29 сентября в Москве, на специальной сессии, в Институте мировой литературы им. М. Горького. Это я сообщаю Вам для памяти.

Статью “Праздник высокой поэзии” передаст Вам наша чудесная Елена Аветовна Арутчева, потому что боюсь доверить почте, а тут верная оказия.

Очень сожалею, что по состоянию здоровья не смогу лично быть на торжествах, но в Москве думаю выступить дважды — в Институте мировой литературы и в Большом театре 3 октября на торжественном вечере Ованеса Туманяна.

Привет всем ереванским друзьям! Желаю доброго, хорошего праздника».

В другом «туманяновском» письме от 10 октября Тихонов подводит итог сделанному. (Написано оно от руки, хотя, как правило, Тихонов печатал свои письма на машинке.)

«Блистательный юбилей Ованеса Туманяна во всём блеске закончился.

Я очень был рад посильно в нём участвовать. Я написал статью для “Гракан терт” и для “Коммуниста”. Последняя шла в “Лит. газете” в Москве. Я произнёс маленькую речь в Б. театре.

Но посылаю Вам для книги своё “Слово об Ованесе Туманяне”, произнесённое в Институте мировой литературы им. М. Горького 30 сентября сего года на специальной Туманяновской сессии. Мне кажется, что эта речь, это слово заключает в себе всё, что я, как не специалист, а поэт, мог бы сказать о Туманяне…

В “Слове о Туманяне” есть, по-моему, несколько общих важных мест, которые расширяют рамки чисто юбилейной темы и дают более широкий горизонт…»

Говоря об общих важных местах, Тихонов, как я думаю, имел, в частности, в виду следующие слова: «Каждый советский поэт должен хоть раз в жизни побывать в Армении. Там ждут его открытия и чудеса, которые оставят хороший след в его творчестве».

Тихонов говорил об этом, исходя из своего опыта, из опыта своего творчества. Поездки в Армению были действительно плодотворны для Тихонова — писателя и человека.

В июле 1970 года Тихонову было присвоено звание заслуженного деятеля культуры Армении. «Спасибо Вам за доброе письмо и вырезку из газеты, из которой я впервые официально узнал о присвоении мне высокого звания заслуженного деятеля Армянской ССР вместе с высокоталантливыми Мамедом Рагимом и Марией Сергеевной Петровых», — писал Тихонов 19 июля 1970 года.

За месяц до этого, в июне, мы встречались в Москве на Третьем всесоюзном совещании переводчиков, которое было перенесено с 1969 года на 70-й. Николай Тихонов и Леонид Соболев, чтобы придать совещанию вес, поочерёдно председательствовали на нём. Я выступил с докладом «Художественный перевод и литературная критика».

И вот, в том же письме от 19 июля Тихонов, будучи расположенным ко мне, решил в свою очередь сообщить мне добрые новости: «Вчера в Союзе писателей был большой Секретариат, обсуждавший большие вопросы, и на нём, докладывая о сделанном в ближайшее время, Г. М. Марков специально остановился на особом успехе нашего совещания переводчиков. И печать уделила ему тоже особое внимание. Напр., в “Литгазете” в трёх номерах печатались материалы совещания. И есть предложение издать их отдельной книгой. Это, конечно, всё вместе взятое, говорит о большом успехе совещания, которое в какой-то мере обязано и Вам как ответственному и выдающемуся участнику».

Другой человек написал бы: «…как докладчику», но щедрый душою Тихонов хотел похвалить меня. И похвалил, смягчив комплиментарность гиперболы, преувеличения некоей едва различимой лукавинкой, улыбкой.

Тихонов хорошо улыбался.

* * *

В сентябре 1970 года «Дни открытий» Николая Тихонова увидели свет. В начале года он читал вёрстку книги, читал придирчиво, скептически. «Затем у меня осталось, — писал он 12 февраля, — некоторое ощущение чего-то недосказанного в отношении Аветика Исаакяна. В статье в конце говорится так, как и нужно было в своё время. Но статья написана при его жизни, и это чувствуется: говорится, что он гуляет по Москве и т. д. Оставить так, поставить дату написания статьи или что-то добавить?»

Тихонов готовил книгу серьёзно, тщательно. Она была ему дорога. Но армянские полиграфисты очень плохо издали книгу, написанную с таким вдохновением и с таким чувством ответственности подготовленную к печати самим автором. Удручающее впечатление производили казённое оформление, невыразительный серый переплет, плохая бумага, плохая печать…

«Книгу получил. Вы пишете, что издана она небрежно. Конечно, можно издать и лучше, но, видимо, отсутствие хорошей бумаги и необходимой полиграфической базы не позволили издательству придать книге иной вид», — писал Тихонов 14 октября 1970 года. Мне было стыдно за наших полиграфистов. Тихонов это понимал, поэтому и писал мне: «Ничего, придут лучшие полиграфические времена и можно будет увидеть и другое, более улучшенное издание, может быть». И ещё, подчёркивал Тихонов, ему доставляет особое удовлетворение то, что книга «может выйти к большому дню Советской Армении — к её пятидесятилетию в ноябре».

Тихонов подробно писал о всех тех словах, которые в корректуре читались чётко, но в сигнальном экземпляре (особенно в стихотворных текстах) некоторые буквы в конце строк каким-то образом «выпали». Тихонов думал, что всё это можно ещё исправить. Но, увы, тираж был готов и ничего нельзя было сделать. «До сих пор я никак не могу понять, — писал Тихонов 9 ноября 1970 года, — как что случилось, что в книге так много невозможных, выходящих из ряда вон опечаток. “Исаакя…” вместо Исаакяна. Одно это должно было привлечь внимание выпускающих. Такую небрежность при издании книги я вижу первый раз за многие годы…»

Я мог бы сейчас не писать, как по вине армянских полиграфистов (именно по вине) мы не обрадовали, а огорчили хорошего человека, нашего друга. Я подумал и решил, что надо обязательно об этом сказать. Мне ведь действительно стыдно, что мы гордимся Матенада-

раном, гордимся книгами пятого века, а в веке двадцатом выпускаем полиграфически неграмотные книги. И совсем нехорошо, непростительно, когда мы невнимательны и безразличны к нашим друзьям…

В 1976 году книгу Николая Тихонова об Армении я готовил для издания на армянском языке. Письмо Тихонова от 9 ноября 1970 года я показал тогдашнему директору издательства «Советакан грох» прозаику Виктору Балаяну. Он тоже испытал чувство стыда и сожаления и сделал всё, чтобы новое издание было исполнено на хорошем полиграфическом уровне. Издание (в оформлении были использованы работы Мартироса Сарьяна) действительно получилось хорошим, праздничным. Были экземпляры даже в кожаном переплёте… Предисловие к книге (это издание названо по-другому — не «Дни открытий», а «Глина и огонь») написал Вардгес Петросян. У него сохранилось письмо Николая Тихонова, датированное сентябрём 1976 года: «Армения для меня незабываема. Она живёт в памяти, как будто я снова иду по её дорогам и тропам, через горы и долины к новому Еревану, где, увы, не могу я больше встретить старых друзей — бессмертных поэтов пера и кисти Аветика Исаакяна и Мартироса Сарьяна. Но жизнь продолжается…»

* * *

Я сказал о Тихонове всё, что имел и хотел сказать. Замечу только, что жизнь продолжается и будет продолжаться во многом благодаря таким людям, как Николай Семёнович Тихонов.

Я прошёл над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.

И там, где он прошёл, он оставил частицу себя, своего сердца.

В Армении Николая Тихонова любят.

3
Все мы дети одной семьи

1974 году в Ницце, в роскошном Средиземноморском дворце, где проходил VII конгресс ФИТ (Международная федерация переводчиков), выступал я с докладом «Перевод и развитие национальной культуры».

За рубежом день складывается не так привычно, как дома. День полон событий, из которых затем возникает рассказ о поездке. Рассказ не о стране, где ты был от двух до четырёх недель, а именно о поездке и людях, с которыми встречался. Я разговаривал со многими хорошими людьми (с плохими не знался) и часто вспоминал старого индийского писателя. «Все мы дети одной семьи», — говорил он.

Апрель, май…

Весной 1974 года я дважды летал за рубеж — в начале апреля в ГДР, в начале мая во Францию. Вдоль железной дороги из Берлина в Дрезден задумчиво стояли тронутые пламенем белые и розовые деревья. В Париже цвели каштаны…

1. ГДР

Остановился в необычной для восточного Берлина гостинице «Хоспиц». Это гостиница для верующих. На столе Библия в переводе Лютера, отдельное издание Евангелия, религиозный календарь и сборник религиозных изречений на каждый день. В обращении администрации (текст дан и на русском языке) сказано: «Исходя из нашего христианского девиза “принимай охотно гостей”, мы постараемся наилучшим образом удовлетворить все ваши пожелания… Наш опытный персонал тщательно ухаживает за мебелью, просим Вас соблюдать соответствующую осторожность, не стирать бельё и не развешивать мокрое бельё в номере».

В гостинице уютно. Это хорошая гостиница. Но верующих, надо думать, не так много, поэтому администрация сдаёт иногда номера атеистам, — тем более что они, атеисты, не портят мебели. А что касается девиза «принимай охотно гостей», то, как скоро я убедился, в ГДР решительно всюду (и особенно в Союзе писателей, гостем которого я был) принимают гостей охотно, с большой сердечной теплотой.

В первый же день встретился с Хорстом Тевелайтом, редактором издательства «Ауфбау-ферлаг». Тевелайт готовит на немецком языке для «Рюттен унд Лёнинг» (здесь издают классику) антологию армянской поэзии средних веков. В основу немецкого издания положен том армянской средневековой лирики, изданный мною в Ленинграде в Большой серии «Библиотеки поэта», — у нас есть тема для бесед и обсуждений.

Тевелайт тщательно изучил антологии — «Поэзия Армении» Брюсова, «Антологию армянской поэзии» на французском языке, русские сборники айренов Кучака и армянских народных песен. Он занимается армянской средневековой лирикой основательно: на столе «Самоучитель армянского языка», книги об армянской культуре, армянской истории. У Тевелайта множество вопросов, многое ему надо уточнить, многое уяснить. Но общий взгляд на средневековую поэзию у него уже сложился.

— Армянская средневековая поэзия сильна тем, что, будучи столь оригинальной, профессионально столь совершенной, теснейшим образом связана с фольклором, с народной

традицией и народной жизнью. В Армении не было дворцовой поэзии. Я хочу, чтобы немецкая антология открывалась и закрывалась армянскими народными стихотворениями. Произведения великих поэтов средневековой Армении будут как бы обрамлены жемчужинами народной лирики…

Когда мы вдоволь наговорились и немного устали, Тевелайт включил проигрыватель с армянскими пластинками — песнями и музыкой.

— Я впервые приехал в Армению, — говорит Тевелайт, — и подумал: когда ещё раз сюда приеду? Теперь я связан с Арменией работой, которая меня увлекает.

* * *

Работа над антологией «Армянская средневековая лирика» только начинается. В журнале «Зинн унд форм» уже готовы переводы армянской микроантологии от Маштоца и Бюзанда до Исаакяна и Чаренца[1]. Материалы для готовящегося номера я посылал из Еревана редактору А. Цайслеру. Второй год мы переписываемся — и вот теперь познакомились. Цайслер интеллигентен, мягок, говорит, будто соглашается с собеседником, хотя на поверку оказывается, что не он, а ты, его собеседник, согласен и солидарен с ним. Это очень обаятельный редактор и литератор.

В редакции «Зинн унд форм» я познакомился также с шеф-редактором журнала академиком Вильгельмом Гирнусом. Он подарил мне номер «Зинн унд форм» с немецкими переводами стихов Мандельштама об Армении, сказал, что в армянском номере будут опубликованы также статьи членов-корреспондентов Академии искусств ГДР — Э. Межелайтиса о Нарекаци и А. Дымшица о Галенце.

— Я не был в Армении, не довелось. Надеюсь, однако, что в случае чего место в Ноевом ковчеге будет мне зарезервировано, — улыбается Гирнус.

На шутку отвечаю шуткой и думаю: почему бы в Ереване не построить гостиницу «Ноев ковчег»?

Ещё раз вспоминаю о наших строителях, посетив в Берлине Пергамский музей, в стены и залы которого встроены исторические памятники — Пергамский алтарь, Ворота богини Иштар… Это создаёт иллюзию совершенной реальности, будто идёшь по Вавилону, по процессионной дороге (по обе стороны — стены с торжественно шествующими львами), и с чувством трепетного ожидания подходишь к величественным воротам богини Иштар…

В музеях есть всегда что-то условное, неживое. В Пергамском музее всё неподдельно, всё естественно. Идея музея, когда здание специально проектируется для тех или иных исторических памятников, встроенных по принципу реконструкции в залы, могла бы быть реализована в Ереване. Исторические памятники Армении могли бы составить не один великолепный зал.

* * *

В Берлине встречался с писателями.

— Нарекаци очень современный поэт, хотя жил в X веке. Я сейчас пишу стихи, посвящённые Нарекаци и навеянные им. «Мои родственники — мои противники, сыновья — предатели. Я их подробно обозначу ниже, записав по именам». Эти слова Нарекаци, поразившие меня, я взял эпиграфом к стихотворению, — сказал переводчик лирики Туманяна.

— У меня рифмованный стих. Поэтов, пишущих без рифмы, это раздражает. А я доволен. Пусть раздражает, — замечает он же.

О поэзии рифмованной и нерифмованной мы говорили с Фрицем Мирау и Паулем Винсом.

---

[1] Армянские материалы были опубликованы в 1975 году в сентябрьском-октябрьском номере «Зинн унд форм», с. 1009 — 1065.

Мирау — критик и считает, что рифмованные стихи надо передавать без рифмы. Он ссылается на два немецких сборника Ахматовой. Перевели её рифмованным стихом — книга не получилась. Перевели без рифмы — узнали в её немецких стихах поэта большой силы.

Винс — поэт, переводил Маяковского, Л. Мартынова, М. Бажана. Он решительно возражает Мирау. Пример с Ахматовой, как считает Винс, ещё ни о чём не говорит, просто её переложили плохими рифмованными стихами.

Переводные стихи всегда вызывают споры. И прав, очевидно, тот, кто может сослаться на хорошие стихи. Когда Ахматову переведут на немецкий достойными рифмованными стихами, спор решится в пользу Пауля Винса.

* * *

Пока жил в Дрездене — всё время ходил в Картинную галерею. Оригиналы («Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Спящая Венера» Джорджоне, «Динарий Кесаря» Тициана…), виденные мной в репродукциях, проще и конечно же неотразимее. В репродукциях много блеска, — блестит первосортная бумага, блестят свежие краски, а блеск смывает оттенки — пропадает почти всё. Я видел оригинал Мадонны Рафаэля, видел невинность женщины, родившей ребёнка, её укор, обращённый к толпе, которую физически ощущаешь (глаза Мадонны видят толпу и настороженный скептицизм толпы), я видел горькую решимость матери, идущей к людям со своим ребёнком…

По дороге к Мадонне зашёл однажды в церковь. Входящим давали сборники религиозных песен. Я открыл сборник наугад и попросил Герту Мюллер, переводчицу, прекрасно владеющую русским, перевести первый попавшимся абзац. «Он, — прочла Герта, — дозволяет мне радости, выводит на зелёную поляну, а когда трудно, даёт мне советы». Гадание по книге — всего лишь шутка. Пусть это так. И всё-таки я обрадовался тому, что радости мне дозволены.

Из Дрездена ездили в Мейсен смотреть Альбрехтсбургский замок. Во дворе замка дети играли в футбол. Мальчик, стоявший у ворот в чёрных перчатках, как настоящий вратарь, не смог взять мяч. Я видел эту неприятнейшую минуту, и, оттого что я видел, мальчику стало неловко. Это был симпатичный мальчик, он хотел своё вратарское дело делать хорошо.

* * *

Веймар — город Гёте и Шиллера, город-достопримечательность. Но прежде мы заехали в не менее достопримечательное место — в священный для немцев Вартбург. Здесь всё говорит о Лютере. Крепость и вокруг горы, широта и открытость пейзажа — всё это под стать Лютеру, широте и крепости его могучей натуры.

Лютер переводил Библию в маленькой, простенькой комнатке, но за окном всё — и лес, и небо — было крупно и бескрайно. Это его вдохновляло.

О Лютере, его рабочей комнатёнке вспомнил в доме-музее Гёте. Меня поразила не торжественная роскошь дома, а простота и крестьянская непритязательность двух маленьких комнат — рабочего кабинета и спальни. Здесь нет вещей — только самое необходимое. Именно здесь оставался Гёте сам с собой, работал и наслаждался уютом необходимого, свободой от условностей быта. «Все виды удобств решительно не по моей натуре», — говорил Гёте.

В загородном веймарском домике Гёте стоит у письменного стола деревянный «конь», обтянутый кожей. Гёте усаживался на «коня» и писал, словно бы оседлав Пегаса.

Я знаю писателя, который заказал себе приспособление, чтобы писать стоя, как Хемингуэй. Можно, оказывается, писать и, как Гёте, верхом на «коне»…

Был в гостях у веймарского издателя Петера Голдаммера. Петер с женой путешествовали по Армении и теперь рады гостю из Еревана. Показывают фотоальбомы достопримечательностей Армении. Снимки комментируются:

— Памятник Исаакяну нам очень нравится. Поэт на пьедестале, но в нём узнаются армянские труженики, крестьяне. Ведь часто пьедестал — каменный барьер, то, что нас отдаляет от фигуры человека, поставленного на пьедестал. Здесь этого нет.

А вот эта девушка была нашим гидом. Она пела в Гегарде, и нас поразила акустика храма…

* * *

По дороге из Веймара в Лейпциг осмотрели Наумбургский собор. Александр Дымшиц очень советовал посмотреть этот средневековый храм с гениальными барельефами: каждое лицо — страдание, характер, мысль. Изображены не святые, а страждущие. В одной из своих статей Дымшиц писал, что при чтении «армянских средневековых лириков испытываешь такое же удивительное чувство… как при посещении Наумбургского собора в ГДР, где в старинном храме с древней архитектурой смотрят на тебя живые, в сущности реалистические лица».

Когда мы выходили из храма, в притворе человек, продававший входные билеты, размахивал щёткой, насаженной на длинный шест, спугивая залетевшего голубя, и, не давая ему вылететь обратно, пробовал ударить его железными вилами. И оттого, что ему не удавалось настичь голубя, он с ещё большим упрямством метался с шестом и вилами по притвору. Эта сцена запомнилась мне по контрасту с тем, что я видел в храме, по контрасту с чувствами, которые я вынес, глядя на гениальные творения средневековых мастеров — живые, думающие и страдающие лица.

* * *

В Лейпциге, в университетском архиве, встретился с директором — профессором Ренатой Дукор. В 1893 — 95 годах здесь учился великий армянский поэт Аветик Исаакян. Он был вольнослушателем, поэтому в списках студентов (они изданы отдельными томами) его фамилии нет. В списках за 1894 — 95 годы есть фамилия Манука Абегяна, крупнейшего армянского филолога. Рядом с фамилией примечание: «Нахичевань, из России, филолог, лейпцигский адрес: Альбертштрассе, 26, первый этаж».

Дукор обещает посмотреть, нет ли в архиве каких-либо материалов об Исаакяне, любезно соглашается дать справки о тех профессорах, лекции которых слушал Исаакян и имена которых мы встречаем в письмах из Лейпцига. Сохранились даже тексты самих лекций…

* * *

Был у меня в Берлине свободный день, были свободные часы. Ходил по Берлину так просто, бесцельно. Остановился на улице, ничем, казалось, не примечательной. Невысокая ограда. За оградой — голый холмик, заросший травой. Рядом с холмиком — ровная зелёная поляна с грудой камней и полосой битого серо-белого щебня. Там, где щебень, ничего не растёт. Вдали одиноко стоит дерево с неровными, скрюченными ветвями.

— Здесь была рейхсканцелярия Гитлера.

Если бы не это замечание моего спутника, наверное, я бы не обратил внимания на это ничем не примечательное, пустое пространство. Рейхсканцелярия, фюрер, битый щебень…

Вспоминаются стихи Марины Цветаевой. Она любила Германию, и, когда в 1939 году гитлеровская Германия оккупировала Чехословакию, она написала:

О, дева, всех румянее
Среди зелёных гор —
Германия!
Германия!
Германия!
Позор!..
О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

И конечно же истинен афоризм: «По плодам их узнаете их». Люди узнали и прокляли.

Если бы людей ничего не объединяло, их бы объединили страдания.

* * *

Ездил в Кёпеник — один из районов современного Берлина, знаменитый тем, что здесь жил легендарный Капитан. История жизни Капитана из Кёпеника очень популярна. Мне запомнился Кёпеник тем, что впервые я увидел здесь стаю лебедей. Они летели с длинными, ровно-ровно вытянутыми шеями. Это были, в отличие от тех декоративных красавцев, которых я видел, настоящие птицы, умеющие оторваться от земли. И оттого, что лебеди летали, было очень просторно. Река в Кёпенике широко разлилась — летящие лебеди придавали ей ещё большую широту.

И небо было широким и необъятным. Была весна.

2. ПАРИЖ, НИЦЦА

В ГДР летал один. Во Францию — в составе делегации Союза писателей СССР. Летели с остановкой в Париже в Ниццу на VII конгресс ФИТ. В советской делегации — Мирза Ибрагимов (руководитель), Е. Д. Калашникова, Михаил Кудинов и я.

В наш первый парижский день поздно вечером французская журналистка Элизабет Маньян (русская по происхождению, и фамилия у неё не армянская!) решила показать нам Монмартр. Посидели в монмартрском кабаре «Богема». Молодой человек, толстый, в красной рубашке поверх брюк, пел порнографические песенки. Старался очаровать публику «откровенностью», выделяя голосом самые непристойные места. Иногда он вдруг импровизировал на политические темы, говорил о депутатах (предстояли в ближайшие дни президентские выборы)…

Ещё утром я был в Москве, завтракал в кафе недалеко от гостиницы «Будапешт». Кафе открыли в восемь. Я был одним из первых посетителей: спешил на аэродром. Кассирша говорила, что у неё мелочью всего шесть рублей, и не принимала крупную купюру. Не были ещё готовы каша и сосиски. Поэтому всем предлагали яичницу. И вот вечером того же дня я ужинаю в «Богеме». Действительно было чему удивиться.

Я ищу счастья и успехов
На Монмартре…

Была в «Богеме» и такая песня. Ищут на Монмартре счастья девушки, ищут молодые художники. При свете электрических лампочек художники лихо пишут пастелью цветные

портреты туристов. Пишут, сильно приукрашивая. Один только старик художник пишет сурово. Девушка с потухшим взглядом позирует молодой художнице. Старик рисует её для себя — ему не позируют. Рисунок у старика чёрно-белый, похожий, глаза у девушки совсем пустые, пугающие. Старик смущённо опускает свой рисунок, он знает, что у него не купят: туристы любят цветное фото, а он — художник, пишет характеры. Ему уже много лет и живётся, наверно, нелегко, но он не изменил себе.

* * *

На Монмартре рестораны и кафе дорогие. Есть, однако, где насытиться и человеку бедному. Прямо на улицу в окошко продают мелко нарезанную жареную картошку. Её можно есть без хлеба. Повара, они же и продавцы, щедро сыплют горячую картошку в небольшие картонные коробочки. Это для тех, кто ищет на Монмартре счастья.

На улицах Парижа и Ниццы молодые парни и девушки, расстелив на тротуаре коврики, мастерили и тут же продавали дешёвые женские украшения. Нельзя было не проникнуться уважением к этим талантливым молодым людям, зарабатывающим себе на жизнь.

В дождливом ночном Париже запомнилась мне группа молодых людей, расклеивающих портреты Миттерана, совместного кандидата левых сил на пост президента республики, и агитирующих за него листовками. Написанные от руки и размноженные на ротапринте листовки раздавали редким прохожим (время было позднее) и клали под «дворники» на ветровые стёкла стоявших машин (в Париже всегда в два, а иногда в три ряда стоят на улицах машины — машины съедают улицы). Я взял одну листовку на память о молодых французах, об их общественной активности.

Май 1974 года был для Франции временем обострившейся политической жизни — предстояло избрать президента республики. Это была весна ожиданий и надежд. Прошла предвыборная острота политической борьбы. Злоба дня осталась.

* * *

В Париже нас разыскал Рамиз Абуталипов, сотрудник ЮНЕСКО, земляк Мирзы Ибрагимова. Он водил нас по городу, показал нам здание ЮНЕСКО. Вот стена, исписанная Пикассо, — странная, непонятная мне работа великого художника. «Сад камней» во дворе разбит японцами. Камни, причудливые, старые и задумчивые, — располагают к душевным раздумьям и самосозерцанию. В саду — скамейка из ствола громадного дерева. Ствол распилен надвое. Развёрнутые половины образуют скамейку.

— Человек очень тоскует по природе, — говорит Ибрагимов.

В ЮНЕСКО была у нас с Ибрагимовым беседа с французским лингвистом-тюркологом Луи Базеном. Он, в частности, сетовал на засилье в современной Турции языковедов-пуристов, выбрасывающих из турецкого заимствованные, но издавна вошедшие в язык и общеупотребительные слова, как, например, слово касаб (мясник), ставшее теперь объектом гонений.

* * *

Где-то я читал, что люди, никогда ранее не бывавшие в Париже, испытывают в первый приезд такое ощущение, словно они уже здесь были. Идёшь по Парижу и вспоминаешь виденное в фильмах и читанное в книгах. Эйфелева башня (мы жили недалеко, в гостинице). Надо подойти к башне близко, надо увидеть её воочию, чтобы почувствовать всё её изящество и грандиозную мощь. Иногда немного разочаровываешься. Вот знаменитая «Ротонда», но теперь это благополучный ресторан, посещаемый благополучными людьми. А ведь в памяти запечатлелась другая «Ротонда» — бедная и гениальная, та, о которой писал Илья Эренбург.

Приезжаешь в Париж, заочно знакомый с Парижем. Вот набережная Сены и известные на весь мир лавки букинистов. Это ящики-сундуки, насаженные на толстые каменные ограды. Зрелище колоритное. Но с чего живут лавочники? Товар у них недорогой, да и покупателей не видать.

Париж, как мне показалось, ищет покупателей. Я видел, как бухгалтер из Югославии мгновенно пересчитывал стоимость той или иной вещи на соответствующую валюту в Югославии или Италии и, как правило, приходил к выводу, что в Париже жизнь дороже. Бухгалтер купил шлем, в которых ездят мотоциклисты.

— Шлемы надо покупать в Париже, — сказал он и удивился, что я этого не понимаю. — Берите, здесь это дёшево! — уговаривал меня бухгалтер.

В центре Парижа в проходе одного из магазинов встроена витрина. Выставлены, среди прочего, телевизоры. Стоит остановиться и взглянуть на телевизор, как тут же видишь себя на экранах. Это очень забавляет — многие подолгу стоят и смотрят, но покупать не спешат.

В Лувре торгуют прекрасными копиями. Двое мужчин (очевидно, туристы) разглядывали копию Ники Самофракийской. Тот, что был постарше, взглянув на цену — две тысячи франков, стал доказывать, что это не копия, а оригинал.

* * *

Запомнились не одни достопримечательности.

В проходе многолюдного кафе на Больших бульварах мужчина в очках, толстый, думающий о чём-то своём, прошёл мимо молодой пары, толкнул девушку, но сам того не заметил. Молодой человек рванулся было ему вслед, его горящий взгляд говорил о решимости постоять за любимую. Я запомнил чистые и рассерженные глаза молодого человека. Запомнилось, как на площади Согласия нищий старик вёл на привязи кота, он любовался своим сокровищем и взглядом, полным восторга, приглашал прохожих разделить с ним его радость. Останавливался кот — останавливался и старик. Высокий, улыбающийся, он с умилением глядел на кота. Другой старик, холёный, хорошо одетый, долго и недоверчиво разглядывал на набережной Сены перед магазином клетку с петухами. Наконец он выбрал себе петуха и стал дразнить его. Это очень увлекло старика, он всё более и более распалялся. Оба старика были по-своему счастливы.

Запомнилось, как помпезно и важно, в шлемах, в картинных мундирах и картинной позе проскакала мимо целая рота французской гвардии, — сцена для меня почти нереальная, выхваченная из минувших времён. Не мог не запомнить армянский ресторан «Арарат», увиденный в Париже за полчаса до отъезда. Ресторан находился совсем рядом с нашей гостиницей, но мы всегда сворачивали от гостиницы влево, к Сене, и к центру города, а ресторан был на углу справа…

— Лучше всего сказал о Париже Хемингуэй: «Праздник, который всегда с тобой».

— По-английски, — объясняет Калашникова, — это звучит несколько иначе: передвижной, движущийся праздник. Но смысл тот же.

— Конечно, тот же. Достаточно хоть один день побывать в Париже, чтобы убедиться, как верно передана мысль Хемингуэя по-русски: «Праздник, который всегда с тобой».

— Есть такое правило: писатель должен писать о том, что он видел сам. Очевидно, и переводчик должен переводить то, что ему знакомо, что он видел.

— Отличное правило. Переводишь книгу о Париже — слетай в Париж!

Это были разговоры и шутки на тему, заданную конгрессом переводчиков в Ницце.

* * *

Работа конгресса проходила в Средиземноморском дворце, очень роскошном, под девизом: «Перевод как фактор сближения народов».

ФИТ объединяет решительно всех переводчиков — как литературы художественной, так и научно-технической, а также юридических документов и гидов, сопровождающих туристов…

Возник было разговор о том, что надо бы переводчиков художественной литературы отделить от прочих. Но этого не хочет руководство ФИТ и этого не хотят «прочие».

— Нельзя переводчиков технической литературы отделять от переводчиков литературы художественной. Сейчас даже в любовных романах — одна лишь техника, а любви нет, — скаламбурил один из выступающих французов.

Ораторы из капиталистических стран ставили на конгрессе проблемы, у нас отсутствующие. Говорилось, в частности, о том, что во многих капиталистических странах переводчики морально и материально чувствуют себя плохо.

— Мы должны быть более свободны в отношении нашего заказчика, мы должны ему предъявлять свои требования. Надо поднять общественное мнение о нашей работе.

Эта мысль в той или иной форме высказывалась многими переводчиками из капиталистических стран.

— Не могли бы вы, господин президент, воздействовать через ЮНЕСКО и ФИТ на наше правительство, которое никак не признает нас, — сказал представитель Канады, обращаясь к президенту ФИТ Пьеру Франсуа Кайе.

* * *

На конгрессе я выступил с докладом «Перевод и развитие национальной культуры». Мне казалось важным подчеркнуть, что связи с другими литературами оказываются ослабленными в периоды, неблагоприятные для развития культуры внутри страны. И как бы ни была велика и богата та или иная литература, она не может решить проблему мировой литературы для своего языка и своего народа, не обращаясь к переводам. Свои писатели не могут заменить Гомера, Нарекаци, Шекспира, Данте, Хайяма и Франсуа Вийона, Толстого и Хемингуэя, не могут, если даже в число своих входит один из этих гигантов. Этих и других великих надо переводить на свои языки. Нет других путей, приобщающих народ и язык народа к мировой культуре. Есть один — проверенный в веках путь художественного перевода.

И эта форма пересоздания для себя, своего языка культурных ценностей других народов столь же важна, как и собственно национальная литература.

Известно, что художественный перевод — это своеобразная и защитная функция нации. История армянской литературы свидетельствует о том, как благодаря многочисленным переводам с греческого армяне в V — VI веках сумели, в частности, противостоять греческой ассимиляторской политике. Именно греческая культура, которую так активно переводили армянские писатели и учёные, укрепила армянский язык, обогатила и развила его, а главное — помогла армянам, как это ни парадоксально, успешно противостоять политике греков, стремившихся ассимилировать армян.

Мысль о том, что художественный перевод — свидетельство развития национальной культуры, что переводы решают важные общенациональные и политические проблемы, повышают сопротивляемость нации давлениям извне, была развита и в ряде других выступлений. Была признана недостаточной преимущественная забота о пропаганде своих литературных памятников, и было обращено внимание на другую сторону вопроса — организацию переводов на свои языки.

Литературы не могут только отдавать, поставлять книги для переводов. В вопросах политики художественного перевода нельзя увлекаться одним лишь экспортом. Как мне кажется, у нас в Армении, в стране с богатыми традициями, мы уделяем недостаточное внимание переводам на армянский язык и не всегда осознаём всю важность этой проблемы.

* * *

Покорила нас Ницца с её тихими улицами и очаровывающе ласковым побережьем, может быть, слишком застроенным. Особенно много железа и бетона в той части побережья, которая лежит между Ниццей и Монте-Карло. Места здесь дорогие, густо посещаемые, поэтому и много строят, поэтому здесь множество игорных домов.

Оказалось, что на втором этаже Средиземноморского дворца, в котором происходил наш конгресс, — игорный дом.

— Я проиграл восемь франков да один франк заплатил за вход, всего — девять франков. Там вместо шарика мячик. Мячик движется очень медленно, восемь франков я проиграл за два часа. Очень медленно проигрываешь, — так рассказывал Пьер, переводчик технической литературы из Бельгии.

Причём Пьер был доволен, что проигрывал свои восемь франков медленно. Это было несомненным достоинством игорного зала Средиземноморского дворца.

И так как Пьер переводит с русского и на русский, мы разговорились. Пьер молод, не женат, много работает.

— Человек живёт на свете один раз, почему бы ему не стать миллионером, ведь нет никаких запретов, — говорит Пьер. И чтобы окончательно убедить меня в благопристойности своих намерений, добавляет: — Став миллионером, я буду работать так же, как и теперь.

Но из самой посылки Пьера: человек живёт один раз, следует другое: …один раз, поэтому он не может жить для и ради денег. Другое дело, если нет денег на жизнь. Позже, уже в Ереване, я прочёл перепечатанную «Литературной газетой» из журнала «Эспри» горькую статью Пьера Лельетта «Вы нам больше не нужны. Уходите». В статье говорилось: «Если Тристан зарабатывает в месяц девятьсот франков, то сказать Изольде ему нечего».

О Тристане и Изольде вспоминал в Ницце Мирза Ибрагимов. В одном из центральных кинотеатров Ниццы показывали фильм с большим количеством сексуальных сцен и откровенной физиологии. В зале было много молодёжи. Были и люди пожилые. Рядом сидела старушка, смотрела на экран и одновременно что-то вязала. Время от времени она разглаживала на коленях то, что успела связать, и продолжала следить за развитием секс-сюжета.

— От «Тристана и Изольды», от «Ромео и Джульетты» дошли до этих страшных фильмов, оплёвывающих человеческое достоинство, — говорит Ибрагимов.

Французы, с которыми мы общались, считают, что волна секс-фильмов, захлестнувшая экраны, уже откатывается, что со временем всё большую популярность станут приобретать фильмы и книги о любви, где нет всего этого.

И кто знает, не своеобразная ли реакция на грубый эротизм декоративные дощечки с сентиментальными изречениями, выставленные на витрине одного из магазинов Ниццы: «Мама — это так хорошо, что даже боженька имел маму», «Наша любовь и семья так прекрасны — будем всегда вместе»?!

Есть во Франции традиции высокие, восходящие, в частности, к «Тристану и Изольде», к великим французским романистам. «…Я люблю тебя потому, что ты женщина и ангел, я тебя люблю и потому, что я люблю тебя!», «О, мой милый, возлюбленный ангел, на меня нисходит твой свет. Я чувствую свою душу лучом твоей души», «Будь благосклонна, возлюбленная. Целую твою душу. Ты — красота, ты — свет. Я обожаю тебя». Это из писем Виктора Гюго к Жюльетте Друэ. Сейчас так не пишут. Но современный человек тоскует по этому высокому, чистому словарю прямых и откровенных признаний, идущих от переполненности чувств, от их доподлинности.

* * *

Я уезжал в апреле из ГДР, в мае из Франции, думая о том, как прекрасно и непредосудительно «вмешательство во внутренние дела страны», когда оно выражается в окрепнувших симпатиях к народу этой страны, когда весеннее цветение настраивает на особый лад весенних мыслей и весенних пожеланий своим новым друзьям, а также тем улицам, кварталам и городам, которые ты видел и успел полюбить.

1974

Пригоршня живой воды

В Мадрасе, на берегу Бенгальского залива, я вспомнил злой рассказ об одном критике, страдающем близорукостью:

— Какой он критик. Пришёл он однажды к берегу моря. А моря не видит. Зачерпнул в ладонь немного воды, поднёс ладонь к самому носу и сказал: «Это и есть море!»

«Так и я, — думалось мне, — успею зачерпнуть лишь пригоршню воды…»

И эти мои заметки конечно же не об Индии. Я написал о встречах с индийцами, о той пригоршне живой воды, которую удалось мне зачерпнуть в поездке (февраль 1976 года) по великой стране.

* * *

Въехав в Дели (как и в другие, даже небольшие города Индии), сразу же оказываешься во власти улиц, живущих шумно и многоцветно. Всюду — велосипедисты. Особенно много их на магистральных дорогах, ведущих в город и из города. Это общее впечатление. Оно сразу же конкретизируется. Среди сплошного потока велосипедистов — щеголеватый юноша в ярко-красных перчатках.

Эти красные перчатки на фигурно изогнутом руле велосипеда мне теперь видятся как деталь на холсте художника.

Поздно вечером в Дели трое молодых ребят стояли у сложенных штабелями кирпичей и били кирпичи. Я бы не вспомнил об этих молодых людях, которым бы строить, но не ломать, если бы утром следующего дня по дороге в Агру не увидел смирных осликов, тяжело груженных кирпичами…

В черте самого города улицы живут тесно — они сплошь забиты лавчонками. Люди что-то продают, что-то покупают, что-то пекут и жарят… Одни заняты делом, другие просто стоят, сидят или лежат. Но нельзя сказать, что эти другие ничего не делают. Такое впечатление, что они лениво, но напряжённо размышляют о чём-то своём, что-то постигают, познают. Очень может быть, что это моё впечатление обманчиво, навеяно мне книгами об индуизме, а праздно сидящие на улицах думают о другом, не высоком, но необходимом — о работе и пропитании.

Есть улицы, которые кричат о вопиющей нужде их обитателей. Здесь, на этих улицах, я до конца понял знаменитые стихи Аветика Исаакяна: «Согрешил мой отец в былом предо мной, но я ни пред кем греха не свершал». Здесь, на этих улицах, я думал о грустных словах В. Жуковского: «Кто слёз на хлеб свой не ронял». И, наконец, уже после поездки я прочёл в книге Махатмы Ганди «Моя жизнь» о том, как, увидев женщин в грязных лохмотьях, Ганди попросил свою жену узнать, почему они не стирают своей одежды. «Жена переговорила с женщинами. Одна из крестьянок взяла её за руку и привела в свою хижину.

— Посмотрите, — сказала она, — у меня нет ни сундука, ни ящика с другой одеждой. Сари, надетое на мне, — моё единственное платье. Как же я могу его стирать?»

Крайности и контрасты в Индии, как и всюду, где они есть — от крайностей и контрастов имущественных.

* * *

Улицы индийских городов — как книги, хорошо иллюстрированные, но написанные на незнакомом языке. Горько, что не можешь прочесть книгу, но и то, что видишь, говорит о многом…

В Бомбее молодой человек у входа в городской сад продавал специальные устройства для пускания мыльных пузырей. К трубочке была привешена чашечка с водой, и стоило дунуть в трубочку, как мыльные пузыри сыпались из неё, словно из рога изобилия. Мгновение — и пузыри лопались. Надо было снова дуть, дуть и честно делать свой маленький бизнес на мыльных пузырях.

В Бенаресе на узенькой улочке (бесчисленные лавчонки набегают на улицы и сливаются с улицами) я стоял у порога жилища астролога Бхагвана Даса. Для нас, советских людей, специальность диковинная, невозможная. В комнатке, выходящей прямо на улицу, молча сидели клиенты. При мне пришёл старик с сухим коричневым лицом, он разулся у дверей и переступил порог. Кто знает, какие житейские треволнения привели этих людей к астрологу?

Улицы индийских городов проявляют интерес к чужестранцам, которых легко узнают по одежде. К своим — улицы не любопытны… Стоит человек. Два тонких прутика упираются одними концами в живот стоящего, другими — в ствол могучего дерева. Человек что-то шепчет. Когда он налегает на прутики, они прогибаются.

— Это святое дерево, — объясняют нам. Об остальном можно не спрашивать: молящийся общается со святым деревом — и какие-то живительные силы через прутики вливаются в него.

За деревом ниша, в нише — каменный бог. Из ниши выходит старик в коричневом покрывале и с красной повязкой на голове.

— Это святой.

— А что он сделал?

— Нельзя спрашивать, почему святого считают святым. О том, что он святой, знают все, — говорит наш гид.

Другой гид, возивший нас из Мадраса в Канчхипурам (здесь — великие архитектурные памятники индийской национальной культуры), показал нам ещё одного святого, который сидел на священных камнях храма и почёсывал седую грудь.

— Этот святой совершил много чудес. Его однажды выгнали из храма и заперли дверь. Приходят утром, а он сидит в храме. Как он туда попал, никто не может понять… Одна женщина хотела покончить с собой, так как у неё не было детей. А он ей сказал: «Будут у тебя дети». И она родила…

Выслушав рассказ о чудесах святого, я вспомнил предостережение: нельзя спрашивать, почему святого считают святым, нельзя хотя бы потому, что нет на этот вопрос ответа. Вот если бы сказали, что это тот самый зодчий, который выстроил один из великих памятников Канчхипурама, ответ на вопрос был бы найден.

Наш мадрасский гид работал, что называется, на публику. В Махабалипураме, показывая нам пещеру, где на одной стене изображены военные сцены, а на другой — сцены из мирной жизни, он сказал:

— Эту пещеру мы называем русской пещерой, потому что на одной стене война, а на другой — мир, как у Толстого.

Здесь же, в Махабалипураме, на берегу великолепного пляжа — ресторан. Как оказалось, наш гид поддерживает с хозяином ресторана деловые отношения и приводит опекаемых туристов именно в его ресторан. Хозяин поприветствовал нас и показал (не без гордости!) свежий номер газеты со снимком, на котором он стоит рядом с Индирой Ганди и двумя советскими туристами.

— Вчера сюда приезжала Индира Ганди, — сказал владелец ресторана. — Русские туристы здесь часто отдыхают, — добавил он и показал на щит, на котором было написано: «t° воздуха, t° водуха», т. е. воды… И ещё одна забавная деталь: во дворе одного из древнейших храмов стоял современный стальной сейф с двумя замками, а вверху, на крышке, прорезь, куда бросают пожертвования.

* * *

Дни нашего пребывания в Мадрасе и в Бомбее совпали с визитом Индиры Ганди в эти города. Улицы были празднично украшены, всюду были расклеены портреты премьер-министра страны.

— Она приезжает к нам впервые после введения в стране чрезвычайного положения, — сказали нам в Бомбее.

Индийцы ждут социальных и экономических перемен. Они надеются на перемены.

Друг мой,
Должен наступить рассвет.
Сейчас темно,
Но у тебя есть время, —
Поторопи рассвет,
Чтобы, когда он наступил,
Ты смог бы сказать:
«Я ждал тебя!»

Эти стихи (они даны в подстрочном переводе) прочёл нам поэт Таки Хайдер. Нравоучительный, откровенно дидактический характер стихотворения обусловлен всё-таки злобой дня. Ведь ещё Махатма Ганди традиционные для индуизма поиски истины и нравственных ценностей вёл в тесной связи с общественными задачами. Для широкой публики нужны, очевидно, ещё более прозрачные, поучительные произведения. С. Р. Шарма, сотрудник Индийского совета по культурным связям, пересказал нам притчу «Слепой, немой и глухой».

Немой видит, как в двух шагах от него убили человека, но он не может об этом сказать, хочет на происшедшее обратить внимание слепого, но тот не видит и спрашивает у глухого, что тут произошло, глухой же не слышит слепого и продолжает читать книгу. Мораль: наши недостатки помогают нам спокойно жить, но зло совершается рядом.

Мы видели кинофильм «Аманyш» — о человеке, потерявшем всё человеческое. Злодей успешно преследует героя фильма Маду Судана. И всё-таки торжествует справедливость. Сцены, в которых обличался порок, вызывали шумную реакцию зрителей и сопровождались аплодисментами. Когда наконец злодей был арестован, Маду Судан приносит полицейскому комиссару свёрток — это передача человеку, жестоко и подло преследовавшему Маду Судана. Полицейские удивлены. Но этот же поступок Маду трогает их. Они как бы прозревают, и им открывается истина: возлюби врага своего.

Маду Судан сам сидел по наговору злодея, которому он принёс передачу (ему, между прочим, никто передачи не посылал). Он-то знает, каково арестанту в тюрьме.

Зло побеждено. А добро, как и подобает добру, оказывается великодушным.

* * *

С Таки Хайдером мы познакомились в доме делийского прозаика Бхишема Сахни. Последний роман Сахни «Тамас» получил высшую литературную премию Индии за 1975 год.

— Я написал книгу о тех, кто разжигал религиозную вражду между нами и пакистанцами. Заголовок книги «Тамас» можно перевести на русский язык словами «тьма, невежество», — говорит Бхишем Сахни. — Премчанд, — продолжает он, — был первым великим писателем, который нам объяснил, что такое социальная действительность. Он боготворил Горького. Узнав о смерти Горького, Премчанд, будучи уже тяжело больным, поехал в Бенарес и организовал там нечто вроде панихиды. Он написал статью о Горьком, но был так слаб, что прочитать её не смог… Премчанд определил основное направление современной литературы Индии. Есть и другое направление, в котором преобладает влияние западной литературы.

В беседе принимает участие Таки Хайдер.

— Сильным было, — говорит он, — влияние модернизма и поэзии хинди, урду и бенгали. И сейчас пишутся стихи, в которых трудно уловить смысл. Авторы подобных стихов считают, что контакт с читателем не их дело. Это — элитарная поэзия.

Замечу, кстати, что в Бенаресе я встретил одного такого элитарного поэта. Он был уверен, что отсутствие контакта с читателями — свидетельство его исключительной одарённости. «Нас не может и не должна понимать публика. Мы пишем не для публики». И так как это было в Бенаресе, религиозном центре Индии, я сказал, что не только людям талантливым или гениальным, но даже богу, видно, нужны люди, которые бы его понимали, которые бы ему верили и молились ему. Бог — это верующие, это одни только верующие. Боги умирают по мере того, как уменьшается число верующих. Так и писатель. Нет писателя без читателей.

Мой бенаресский собеседник задумался, но остался, как я понял, при своём мнении. Зато с Таки Хайдером мы не спорили.

— В самое последнее время модернистская поэзия пошла на спад, — заметил он с удовлетворением.

А хозяин дома Сахни (чтобы сделать мне приятное и нагляднее объяснить, какая поэзия ему нравится) показал журнал «Лотос» (1974, № 3) со стихами армянского поэта Ованеса Шираза, известного своей приверженностью к классической чистоте и ясности слова.

* * *

В другой раз и в другом доме (в доме делийской издательницы Шилы Сандху) мы спорили о поэтах, пишущих в так называемом восточном ключе. Их стихи перегружены образами, слащавы, и в них много стёртых выражений тысячелетней давности. Такие поэты пишут сегодня о стреле и луке, тогда как современный мир лихорадит угроза атомных взрывов.

Индийские поэты, наши собеседники, говорили о несовременности и неплодотворности такой поэзии. Но самое главное, они прочли свои стихотворения, и в их стихах была напряжённая сдержанность чувства и мысли. Стихи были выстраданы.

Когда на бумаге
Вы ставите вопросительный знак, —
Это само по себе уже ответ,
Вопрос вонзается, как штопор,
И становится значимым, —

прочла нам своё стихотворение Дургавти Сингх (перевод подстрочный).

Понравились мне стихи Рагхвира Сахайа. Этот человек с грустными глазами то уходил в себя и как бы «закрывался» для собеседника, то просветлённо и задумчиво улыбался и принимал участие в общем разговоре. Рагхвир Сахай прочёл нежное и щемящее стихотворение о девочке и о нас, взрослых:

Маленькая девочка ест маленький кусок хлеба,
И вся она поглощена тем, что ест хлеб.
Потом она берёт плод —
И вся она поглощена тем, что ест плод.
Как нам сберечь эту её сосредоточенность,
Чтобы она однажды расцвела
На её округлых грудях?
Мы сбережём для неё хлеб и плоды…
Мы говорим это ей.
И мы хотим, чтобы она запомнила это утро,
А мы сегодня ночью подумаем о том,
Что мы делали весь этот день.

(Перевод подстрочный)

Были прочитаны и другие стихотворения, написанные добротно. Но они мне показались менее интересными.

— О нашей поэзии хорошо пишет в Москве Мариам Салганик, — заметил профессор Намвар Сингх. — А вот мой приятель почему-то считает, что поэзия Индии — весёлая поэзия. Мариам Салганик… Она действительно знает нашу поэзию. И мы её здесь очень уважаем.

— Мы тоже.

— Вот видите, как много у нас общего, — весело улыбается Намвар Сингх.

* * *

Я не люблю туристических поездок. Туриста, как правило уставшего, подвозят к памятникам культуры. Принцип всюду один и тот же: пришёл, увидел, ушёл. И памятники, должно быть, не любят туриста, поспешно записывающего со слов гида начальные сведения — азы.

Мы побывали в Тадж-Махале. Эту жемчужину индийской архитектуры объясняла нам В. И. Выхухолева — великолепный знаток индийской культуры. Её рассказ отличался увлекательностью и… дотошностью. Она знала о Тадж-Махале всё. И всё-таки великолепие и богатство мавзолея (по обе стороны гробницы, словно стражники в почётном карауле, замерли устремлённые ввысь колонны минаретов) ускользнули от моего внутреннего взора. Должно быть, я пропустил что-то очень важное, чего-то не увидел и не понял.

* * *

В Бомбее мы жили на берегу моря, намертво стянутого бетоном и асфальтом. Здесь стояли многоэтажные дома с трубами от санузлов (трубы проложены поверх стен).

Такое ощущение, будто на громадной стене сидит громадное чудовище с длинными лапами-щупальцами, которые всосались в бетон. Набережная Бомбея, как я её увидел, — это жаркое солнце, мрачные громады каменных домов, горячий асфальт улицы и ещё асфальт тротуара у кромки берега, затем бетонная ограда, за оградой на самом берегу — бетонные надолбы (это чтобы волна не разрушала берег) и вода, грязная, униженная. Однажды утром на этой серой каменной набережной я увидел старушку. Она пришла со своей белой коровой и с плетёной корзиной, полной свежей зелёной травы. Старушка предлагала

траву небольшими пучками прохожим. За ничтожную плату можно было купить у старушки свежей травы и накормить священное животное. А если не было покупателей, то старушка сама подбрасывала животному корм. Корова равнодушно и с достоинством жевала траву. Я увидел и, мне кажется, понял старушку с её коровой, пахучей зелёной травой, старушку с её страдальчески глубоким и вопрошающим взглядом. Среди сплошного асфальта и бетона можно было вспомнить о душе, очистить её.

Бомбею мы обязаны ещё и тем, что побывали на знаменитом острове Элефант, расположенном невдалеке от города. На острове — пещера, в пещере — гениальные скульптуры богов (VII век). Не боги — люди. Вот выбитый в камне человек. (Гид объясняет, что это бог Шива!). Человек, а рядом — жена, женщина. Оба молоды и полны сил. Скульптор изваял любящих в их счастливый час, но не преминул между ними, счастливыми, выбить поднятую голову кобры. Побывав на Элефанте, не скажешь, что искусство, посвящённое жизни богов, было оторвано от жизни людей.

* * *

В Калькутте побывали в доме крупнейшего индийского учёного-филолога, президента Литературной академии Индии Сунити Кумара Чаттерджи. (В дни нашего пребывания в Калькутте индийские газеты обсуждали вызвавшую широкий интерес работу учёного о «Рамаяне». И уже в Ереване, вернувшись из Индии и перечитывая «Последнюю поэму» Рабиндраната Тагора, я обратил внимание на то, что герой повести читал книгу Сунити Чаттерджи «Происхождение и развитие бенгальского языка».) Чаттерджи говорил со мной об армянском историке пятого века Мовсесе Хоренаци, о записанных этим историком языческих армянских песнях… Он изучил армянский эпос «Давид Сасунский», знаком с трудами академика Иосифа Орбели, переписывается с художницей Рипсиме Симонян…

С русскими поэтами он говорил о «Слове о полку Игореве», сопоставляя Плач Ярославны с текстами Ригведы. Как переводчик и исследователь «Слова…» он помнил наизусть и декламировал нам отрывки на древнерусском языке.

Узнав, что я долго жил в Грузии, Чаттерджи заговорил о «Витязе в тигровой шкуре»…

С Чаттерджи, как с человеком высокообразованным, легко было общаться. Он объяснял нам Веды:

— Миллиарды лет проносятся, как вспышка света, думай о вечном. Миллиарды звёзд сияют над нами, разве можно думать о мелочном, о своих обидах…

По индийской этике нет греха, есть неведение. Поэтому старайся узнать больше. Санскритская пословица гласит: «Незнание — единственный грех». И если человек причинил тебе боль, он это сделал по неведению — пожалей его. Трудно следовать этому принципу. Но если ты ему следуешь — ты возвышаешься.

Я спросил у Чаттерджи, какое высказывание Махатмы Ганди он помнит и считает наиболее важным. (С этим вопросом я обращался ко многим индийцам.)

В ответе Чаттерджи — он сам, его кредо учёного и гражданина:

— Ганди был великим человеком. Он один из создателей современной Индии. Но он был противоречив. У него были расхождения даже с Тагором. Махатма Ганди верил в дисциплину и считал, что надо идти за сильным человеком, который может выдвинуть сильную идею. Отсюда и его мысль о том, что не каждый должен познавать истину. Достаточно многим следовать за одним, познавшим истину. Вы, наверное, с Ганди согласны. Но Тагор так не считал. Лично я думаю, что надо следовать учению Тагора. Надо всё время задавать вопросы. Я считаю, что, если твой ум в порядке, ты должен познавать истину сам, а не есть разжёванную кашу из чужого рта, будь то рот Ганди, Христа или Магомета.

Своё отношение к Ганди, свои мысли о поисках истины Чаттерджи как бы закрепил высказыванием самого Ганди: «Для меня истина — это бог, а бог — это истина».

* * *

В Бангалуре мы встретили другого могучего старика — Масти Венкатеша Айянгара, знаменитого индийского писателя, пишущего на языке каннада.

— Я стар, — сказал он, — как может быть стар человек. Жизнь человека можно сравнить с письмом. Чем дольше идёт письмо, тем больше на нём печатей и пометок, но содержание письма не меняется. Так и человеческая душа. Она остаётся молодой.

Айянгара выступал на большом собрании писателей. Он говорил кратко и мудро. Я записал некоторые его высказывания.

«Каким бы великим вы ни были, не кричите в своих книгах. Говорите от сердца, и вас услышат».

«Что значит писать о великом человеке и что значит писать о маленьком человеке? Важно, чтобы книга была великой».

«Все языки из одного корня, из одного древа… Языки разные, но сердце у человека одно. И человек, где бы он ни жил, на каком бы языке ни говорил, отвергает всё то, что людям не нужно».

«Куда мы идём? Мы идём к пониманию того, что все мы дети одной семьи».

* * *

Нам говорили, что в индуизме есть все пороки и добродетели людей, что индуизм — это даже не религия, а философия. Так ли это — не берусь судить, но индийцы на самом деле предрасположены к философствованию. Индия — страна, которая может оказать воздействие на взгляды, на миросозерцание человека.

Наш бенаресский гид Хари Каран Сингх, молодой человек с университетским образованием, думал о жизни напряжённо и нервно.

— Я хочу понять принципы жизни на этой земле на тысячу лет назад и на тысячу лет вперёд, — говорил он.

Будучи ещё студентом, Хари Сингх написал работу (он её определил как путаную) о Фрейде и Достоевском, утверждая, что Фрейд силён как психолог, а Достоевский как гуманист.

Хари Каран и теперь интересуется русской литературой. Он хорошо чувствует литературу вообще. Послушав стихотворение Станислава Куняева о матери, он сказал:

— Чувство к матери — святое чувство. Кроме того, когда человек вспоминает мать, он становится ребёнком, а это прекрасно.

Поэтично он говорил о Бенаресе:

— Бенарес — сердце Индии, а утро в Бенаресе — сердце дня. Когда не было ни богов, ни храмов, люди всё равно молились, потому что была природа.

* * *

Мы шли по утреннему Бенаресу на берег священного Ганга. Утро было ранним, серебристым, и было что-то тревожное в чистом холодном воздухе. Словно белые птицы, раненные человеческой болью, срывались со стены одиноко стоящего храма (к стене был прикреплён репродуктор) слова молитвы: «Джай рам, джай, джай рам…». Птицы растворялись где-то в воздухе, а скорбный мотив молитвы «Да славится бог! Да славится, да славится бог…» обволакивал душу.

Накануне мы были в буддийском монастыре. К трём часам ламы собрались в храме, уселись рядами на пол и запели. Молитва, судя по всему, была бесхитростной и простой. Слова — что-то вроде:

Дехá, дехá, дехá, джевóй,
Девó, девó, девó, девóй… —

повторялись. Пели ламы глухими, надтреснутыми голосами. Казалось, что они не поют, а скребут ложками ржавое дно миски. Ощущение не было произвольным. Ламы пели, а перед ними стояли пустые, с широко разинутыми ртами, большие алюминиевые кружки. (У каждого ламы была своя кружка, с которой он пришёл в храм.). Через какое-то время, когда много было спето, появились большие алюминиевые чайники, и кружки наполнились чаем.

Было что-то трогательное в том, что чаепитию, столь прозаическому для нас акту, предшествовала молитва.

Но здесь, над Гангом, молились о другом, о вечном — пели о бессмертии души. Здесь, на берегу священного Ганга, совершался один из самых таинственных обрядов индуизма — сжигали тела умерших, чтобы помочь бессмертной душе освободиться от бренного тела.

Мы плыли на лодке по Гангу и видели с середины реки, как несколько мужчин принесли на носилках из ещё зелёного бамбука тело женщины, укутанное с головою в красное, — лица не видать. («В красном хоронят женщин, если муж жив, в белом — вдов и мужчин», — объясняет Хари Каран.) Носилки с телом чуть опустили в воды Ганга, затем положили носилки на землю и стали готовиться к обряду сожжения…

«Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают… И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чём, что делается под солнцем».

«Живые знают, что умрут…» Заметьте, это сказано библейским философом в утешение живым. О смерти — в утешение нам, живым. У нас преимущество — мы знаем, что умрём. И там, на священном Ганге, я думал об этих словах, древних, как жизнь и как смерть. А наша лодка тем временем плыла дальше по реке, и мы увидели, что и здесь возвышенное соседствует с будничным. Душа душой, а в водах Ганга купаются и моются, стирают одежду. Невдалеке же на шумных улочках торгуют железными кувшинчиками с припаянными к горлышкам крышками. В кувшинчиках — разных размеров и разной стоимости — вода из Ганга.

Конечно, моющийся в водах Ганга не просто моется и стирающий бельё не просто стирает. И тот и другой, по Хари Сингху, совершают обряд. Я бы сказал иначе: религиозное они сочетают с полезным. Но Хари Сингх настаивает на обряде и продолжает свой рассказ:

— Самое главное в этом обряде — познать себя, свою душу. Душа человека — это частица общей души. Мы это не можем понять умом, потому что ум конечен, а душа бесконечна…

Все религии мира пекутся всё больше о душе, предоставив каждодневные заботы о теле самим верующим. Не хлебом единым жив человек. Но ведь и без хлеба не проживёшь. Да и само это изречение «Не хлебом единым…» не снимает проблемы хлеба насущного. Считается (я бы сказал, демагогически считается), что проблема хлеба решена. А есть надо, надо прокормить себя и семью.

— Да, да! — соглашается Хари Сингх. — Нельзя религию ставить выше интересов народа. Я знаю, ваша коммунистическая страна всегда нам помогала… Но почему Индия, а Индия богата и талантлива, не может прокормить своих детей? Я много об этом думал. Если ни религия, ни культура не могут прокормить народ, то я вправе, очевидно, в них усомниться.

* * *

Профессор малаяльского языка Мадрасского университета С. К. Найяр ставил вопрос несколько иначе. В религии, как таковой, он не сомневался, но считал, что нельзя жить по одним лишь понятиям индуизма, нельзя, потому что эти понятия могут привести к пассивности.

— Наши религиозные доктрины, — говорил он, — взяты из священной «Гити». Махатма Ганди хотел объединить религию с политикой. Ему это не удалось. Многое сделал Неру. Он для меня как учёного и человека был нужнее. Неру спорил с Ганди, так как боялся, что народ будет жить пассивно, забыв, что каждый божий день надо что-то делать. Он говорил: «Ты хочешь молиться богу или вести машину?» Если поставить рядом Ганди и Неру, то Ленину был ближе Неру… Но как бы далеко мы ни продвинулись вперёд по пути прогресса, наша религия и наш бог всегда будут с нами. Запад сейчас задыхается. Они там ищут спасения в нашей религии. Но у них ничего не получается…

Французский профессор Жан Карпонтье, с которым мы познакомились здесь, в Мадрасе (в театре, во время антракта), словно был призван проиллюстрировать слова Найяра о бездуховности Запада.

Узнав, что я из Армении, Карпонтье воскликнул:

— Прекрасно! Вы возглавите офис дхармы в Армении и в Закавказье. Дхарма спасёт мир. Только дхарма.

— А что это такое? — поинтересовался я.

— Я сейчас еду в Кабул. Там мы открываем офис дхармы. А вы, значит, откроете офис в Армении.

— Но что это за учение?

— Дхарма спасёт мир. Я написал книгу. Её сейчас читает Индира Ганди. Мир может спасти дхарма.

— Нельзя ли в двух словах сказать, что же это такое?

— Дхарма — это когда человек занимается своим делом. Представляете, если каждый из нас будет заниматься своим делом, мир будет спасён, — горячился профессор, сухой подвижный человек с острым, фанатичным блеском в глазах. Он разъезжает по Индии с дочерью и именует свою поездку весьма значительно: «Экспедиция. Миссия дхармы».

Дочь, худая молодая девушка с плоской грудью и тонкими упрямыми губами, завороженно слушала отца. Она ему больше чем дочь, она его ученица, его последовательница.

Жан Карпонтье приглашал нас присоединиться к его экспедиции «Миссия дхармы». Чтобы перевести разговор, я спросил, давно ли он из Франции.

— Во Франции — эгоизм! — крикнул он. — Дхарма спасёт мир и Францию. Дхарма…

Во всех этих суждениях и Сингха, и Найяра, и Карпонтье, суждениях противоречивых, подчас сбивчивых и путаных, выразились жизненные противоречия, выразилась острота поисков политических и нравственных доктрин, на которые человек мог бы опереться в своей повседневной жизни.

* * *

Индийцы гостеприимны. Нас то и дело приглашали к себе домой наши друзья и искренне нам радовались. А когда мы пришли в Мадрасский университет на кафедру профессора С. К. Найяра, он сразу же протянул нам лист бумаги. На бумаге от руки был нарисован план нескольких главных улиц Мадраса, по которым можно проехать к дому профессора. В левом верхнем углу стрелки указывали, где север, запад, восток и юг. Внизу — подробный адрес и телефон. Сразу видно, что в семье Найяра любят гостей, и для их удобства профессор нарисовал дорогу к своему дому и размножил рисунок на ротапринте.

Утром следующего дня по бумажке да по стрелочкам, указывающим, с какой стороны города как надо ехать, мы без труда нашли дом Найяра.

Мы провели в семье Найяра прекрасное утро. Он нам читал свои переводы, не читал, а пел — на малаяльском стихи поются. Он спел в своём переложении отрывок из поэмы Мирзо Турсун-заде «От Ганга до Кремля». В переводе Найяра издан на малаяльском сборник стихотворений советских поэтов от Владимира Маяковского до Вознесенского и Евтушенко. (Кстати, в Бангалуре один из индийских писателей подошёл к Станиславу Куняеву и сказал: «Вы — Евтушенко?»)

Мы познакомились с семьёй Найяра. О его младшем сыне, славном пятнадцатилетнем мальчике, я сказал:

— Он будет хорошим человеком.

— А что такое плохой человек? — спросил Найяр.

Пусть всякий отец удивится, как удивился Найяр: «Будет хорошим человеком! А как же иначе? Ребёнок и должен стать хорошим человеком. А что такое ребёнок, который станет плохим человеком?»

* * *

В Калькутте я встретился с армянскими детьми, учениками армянского колледжа, основанного в 1821 году. Издавна в Калькутте и Мадрасе, а также и в некоторых других городах Индии существовали армянские колонии. В любом современном учебнике по армянской истории можно найти сведения о том, что во второй половине XVIII века армянские колонии в Индии становятся центром движения за освобождение Армении. Можно найти рассказы о деятельности Иосифа Эмина (Калькуттская колония) и Шаамира Шаамиряна (Мадрасская колония). Оба эти деятеля не мыслили освобождение Армении без помощи России. Они искали и устанавливали контакты с русскими государственными деятелями. В Индии была организована армянская типография. Сподвижник Иосифа Эмина Мовсес Баграмян в 1773 году издал в Мадрасе «Новую книгу, называемую увещеванием», книгу патриотическую, призывающую армянскую молодёжь бороться за освобождение родины. Наконец, если первая армянская книга была издана в Венеции (1512 год), то первое периодическое издание на армянском языке вышло в Мадрасе — это был ежемесячный журнал «Аздарар» («Вестник»), первый номер которого помечен 1794 годом.

Многие индийцы знали об этих фактах и рассказывали нам о них. (Несколько лет назад было издано в Калькутте на английском языке обстоятельное исследование Анны Базель «Армянские поселения в Индии».) В Калькутте и в Мадрасе индийские друзья показали нам армянскую церковь и армянскую улицу:

— Вот смотрите, улица так и называется — Армянская!

А я стоял на многолюдной Армянской улице в Калькутте и смотрел, как индийские ремесленники мастерили чемоданы, крытые железом, и тут же продавали их.

Но сами армяне сложили, как говорят, чемоданы. И в Калькутте, и в Мадрасе осталось всего несколько армянских семейств. Остальные разъехались. И всё-таки армянский колледж в Калькутте существует. В нём около двухсот учеников. В основном это дети, прибывшие из Ирана, из тамошних армянских колоний.

На встрече с учениками армянского колледжа был вместе с нами знаменитый бенгальский поэт Субхас Мукерджи.

— Я полюбил этот большеглазый мир армянских детей, и во мне укрепилась давнишняя моя мечта съездить в Армению и написать об Армении, рассказать индийскому читателю о родине этих детей.

В Калькутте мы побывали в армянской церкви. Здание церкви — одно из старейших в городе. Настоятель, красивый молодой человек по имени Акоп, изучал армянские рукописные книги и старые печатные издания. Я ему подарил сборник стихов средневекового армянского поэта Наапета Кучака «Сто и один айрен». Он перелистал сборник и тут же посоветовал мне в 7-м айрене «капа» перевести словом «ряса». У меня в подстрочном переводе было нейтральное «одежда» («Откину край одежды»). Поправка настоятеля многое меняла:

Луна, ты хвастаешься, говоришь:
«Я даю миру свет».
В моих объятиях земная луна
прижалась щекой к моей щеке.
Если не веришь мне, пленённому,
откину край рясы, покажу её,
Но боюсь, ты в неё влюбишься
и слабее станешь освещать землю.

Любит не просто некто, а служитель церкви, человек в рясе.

— В переводе это должно быть передано, — говорит настоятель.

В одном из магазинов, где мы покупали сувениры, настоятель вдруг стал торговаться, требовать, чтобы хозяин магазина сбросил ещё две рупии. Настоятель рассердился, хотел было вернуть купленные сувениры (вырезанные из дерева статуэтки Будды). А когда рупии были получены, настоятель тут же, на виду у хозяина, отдал их нищенке с ребёнком, которая долго стояла у порога, боясь войти в магазин. Отдал и сказал, чтобы она ушла.

Я познакомился в армянском колледже с одной из преподавательниц — милой Ратна Гангулу Молохарпур. Мы с ней говорили по-армянски. Она переводит на бенгальский язык стихотворения армянских поэтов Ованеса Туманяна и Аветика Исаакяна… В Индии, стране многоязычной, вообще много переводят. Очень интересуются опытом советской переводческой школы. И сами много думают о проблемах художественного перевода.

* * *

Калькуттский прозаик Мани Шанкар Мукерджи рассказал нам старую притчу об индийской принцессе, китайском императоре и… художественном переводе:

— Жила-была в Индии принцесса. И жил-был в Китае император, который влюбился в принцессу. Приехали высокие послы от императора китайского к императору индийскому. Китайский император, говорят они, просит руки вашей дочери. Согласие было дано, и принцессу снарядили в путь. Но когда караван прибыл в Китай, принцесса была мертва: она не вынесла длительного путешествия. Так и переводы. На пути из одного языка в другой (а это трудный путь) оригинал умирает. И хотя далеко от Калькутты до Москвы, мне говорили, что русские писатели умеют перевести книгу так, чтобы не повредить живому дыханию оригинала.

Шанкар (так он подписывает свои книги) — известный бенгальский прозаик, его книги переведены на многие языки, а роман «Перекрёсток» издан на русском языке («Прогресс». М., 1968). Шанкар — человек весёлый, заразительно смеющийся.

— Писательское дело — серьёзное дело. И этим серьёзным делом должны заниматься серьёзные люди. Чтобы понять писателя, надо понять его книги, — пародировал Шанкар кого-то из бенгальских критиков.

Некоторые произведения Шанкара экранизированы. Сейчас по его юмористическому рассказу «Была такая страна» снимается комедия. Это рассказ о мальчике и кандидате в

депутаты. Мальчик изобрёл чудодейственную сигарету. Стоит её выкурить, и целый час говоришь одну только правду. Кандидат в депутаты выступает перед избирателями, но так как его угостили той самой чудодейственной сигаретой, то он говорит о подлинных своих намерениях. Мы пришли на студию, когда снималась эта сцена. Будущий депутат не кричал (как это было принято в той стране), что он осчастливит народ. Будущий депутат посвящал избирателей в свои замыслы: он станет депутатом и осчастливит себя. Получалось действительно смешно. Комизм не в том, что политик, домогающийся депутатства, лжёт. Если бы он бессовестно лгал, было бы совсем не смешно. Было бы, очевидно, скучно. Комизм в том, что он говорит правду и изменяет себе, изменяет элементарным «нормам морали».

Фильм снимает известный кинорежиссёр Тапан Синх.

— Он заставляет зрителя смеяться и плакать, — говорит Шанкар о Синхе. Он же нам объясняет, что фильмы, посвящённые серьёзным социальным проблемам, снимаются, как правило, в Калькутте. В Бомбее всё больше делают фильмы по голливудским образцам с острыми, закрученными сюжетами. Критически отзывается Шанкар о фильмах сентиментальных, перегруженных танцами, музыкой и песнями.

* * *

В одной из деревень (палящее коричневое солнце, коричневые поля, хижины с островерхими соломенными кровлями почти до самой земли) нам говорили, что кино очень популярно в народе, что крестьяне мечтают попасть в город, чтобы посмотреть фильм. Это же целое событие в их жизни, это другая, красивая жизнь. И, конечно, им не кажутся утомительными фильмы, обильно сдобренные песнями и танцами. А если говорить о собственно индийском танце, собственно музыке и песне безотносительно к кино, то всё это прекрасно и освящено тысячелетними традициями. Даже замученные бродячими укротителями кобры отзывались на звуки бина (музыкальный инструмент, нечто вроде дудки). Укротители держат змей в мешках. Стоит появиться туристу, они сбрасывают со спины мешки, развязывают их, садятся на землю и начинают играть на бине. Кобры лениво высовывают из мешков головы и покачиваются в такт мелодии — чисто человеческая, казалось бы, способность забыться в музыке.

…В Мадрасе на концерте известной танцовщицы Приту зрители тихонечко прихлопывали или отбивали ритм ногой. А на лицах — благоговейная отрешённость.

Танец был задан сюжетом из «Рамаяны». Это не просто танец, но и актёрская игра.

— Каждое утро я собираю цветы в своём саду, чтобы послать их богу, — пели сидящие на полу сцены (справа от танцовщицы) певцы. Тут же сидели музыканты.

Приту изображала то, о чём пела. Песни были длинные, с сюжетом, поэтому каждый танец длился не меньше 25 — 30 минут.

— А сейчас она выражает радость, что ею доволен муж. Он счастлив, — значит, и она счастлива. Женщина может не молиться богу. Если она молится мужу, она близка богу, — говорит переводчик.

Танец Приту напомнил мне древние статуи танцующего бога Шивы (Шива-натараджа). У Шивы-танцора не две, а много рук. Собственно, это — те же две руки, но мы их видим в движении, в танце, они по-разному изогнуты в разных положениях. «Руки милой — пара лебедей». От этой строчки Сергея Есенина мысль вдруг перекинулась в раннее средневековье к Мовсесу Хоренаци. Армянский историк говорит, что танцовщица пела руками (еркер дзерамб). Так и статуи танцующего Шивы. Так и Приту. Она танцевала, и она пела руками. И в каждом движении руки, в движении пальцев был свой смысл, часто для нас скрытый. Символика индийского танца идёт из глубины веков. Сейчас возрождается индийский ритуальный танец — и возрождается на основе древних литературных текстов.

* * *

Мы побывали в Индийской национальной академии танца. Академия находится недалеко от города Кочина, в местности с музыкальным названием Чхерутурути. Мы туда приехали в четверг 19 февраля и попали на большой народный праздник в честь богини Кали. В середине дня в центре Чхерутурути появились слоны. Они в окружении большой толпы людей шли группами — по три, по пять и по семь. Издалека были видны высоко поднятые над слонами небольшие круглые зонты, имевшие чисто декоративной смысл. Головы слонов были украшены ковриками-панцирями со сплошной золотой чеканкой, условно изображающей ниспадающие бусы и драгоценные камни. На слонах — празднично одетые мужчины в белом. В руках у них — круглые белые веера и тяжёлые белые опахала, очевидно из перьев. На каждом слоне — по три человека. Тот, что впереди, держал зонт. Двое других начинали действовать в особенно торжественные минуты. Мужчина с веерами вытягивался во весь рост и высоко поднимал руки. Третий держал на полусогнутых поднятых руках опахала и торжественно махал ими.

На одном из слонов, на том, который считался главным и шёл в центре, везли, помимо всего, изображение богини Кали. Впереди несли чашу с огнём. Возглавляли процессию музыканты, лихо игравшие на круто изогнутых, как лук, трубах, называемых комбо.

Соперничающие группы со своими слонами, музыкантами и танцорами собрались на площади перед храмом Кали — и начались игры. Слоны стояли среди всеобщего шума, фейерверочной пальбы, музыки и танцев так спокойно, что в их спокойствии, в их массивности было что-то нездешнее и была полная безучастность ко всему окружающему. Даже казалось, что слоны потому и такие большие, что они думают о другом, несуетном.

…Игры были в самом разгаре, когда появились танцоры с нагрудными и набедренными многоцветными украшениями из резного дерева. Танцоры в громадных масках, тоже резных и тоже ярко раскрашенных. Собственно маска, которая надевалась на лоб и лицо, вставлена в широкий деревянный полукруг, похожий на распустившийся павлиний хвост. Сходство усиливалось тем, что полукруг был окаймлён ленточкой из перьев.

Всё было декоративно и подчинено древней символике условного рисунка, цвета и движения. Это были, очевидно, не просто танцоры. Они изображали древних воинов и охотников, которые исполняли перед сражением или охотой ритуальные танцы.

Были танцоры с масками, не доходящими до губ и подбородка. Зато верхняя часть с деревянным полукругом была у них массивнее. К полукругам приделаны сзади верёвочки, концы которых танцоры крепко держали в широко раскинутых руках, — иначе маску на голове не удержать. Танцоры по одному входили в круг и плясали, притопывая и подпрыгивая, — руки у них были заняты. Затем они становились на колени и губами захватывали с земли рупию. Это было тяжелейшим испытанием. Танцоры изо всех сил оттягивали назад руки, чтобы удержать с помощью верёвок маску, чтобы суметь оторвать губы от земли и встать на ноги. Если танцору удавалось захватить рупию, все кругом начинали кричать и прыгать, а сам герой плясал от радости до совершеннейшего изнеможения.

* * *

Вечером мы поехали из Чхерутурути в село Кадаваллур. Здесь выступала прославленная группа танцоров, музыкантов и певцов «Каламандалам». В середине поля, на вспаханной чёрной земле, была выстроена временная сцена, а перед самой сценой стояла священная чаша, в которой полыхал огонь. Публика со всего села сидела на огромном чёрном поле, на комьях сухой земли. Приходили посмотреть танцы, послушать пение и музыку семьями. Представление началось поздно и длилось всю ночь до самого утра. Кто смотрел, а кто и спал тут же на поле — благо ночи здесь тёплые. На улочках, ведущих к полю, и на самом поле торговали сладостями и фруктами.

Представление началось вступительным танцем. Танцоры с преобладающей зелёной краской на лице (зелёный цвет — цвет положительного героя, красный — отрицательного) вымаливали у богов во вступительном танце право на последующее выступление. Право было получено, и на сцене разыгралась история из «Махабхагаваты». У брамина Кучилы дом полон детей, но живут они бедно. Жена ругает брамина и велит, чтобы он попросил бога Кришну помочь им. Кучила после долгих уговоров соглашается пойти к Кришне. И так как они бедны и у них нет дорогих подарков, он берёт с собой немного рису. Кучила очень волнуется, узнает ли его Кришна, ведь он так опустился. Бог узнаёт брамина, осыпает его ласками, вспоминает былое. Кучила, видя, что бог во власти сладостных воспоминаний, ни о чём его не просит. А когда бог спрашивает, принёс ли он, Кучила, что-нибудь поесть, то брамину стыдно показать свёрток с рисом. Кришна силой отбирает свёрток и съедает щепотку риса. В этот самый момент дом брамина (сам брамин об этом не догадывается); преображается — он и его жена становятся богатейшими людьми. Воодушевлённый Кришна хочет съесть ещё одну щепотку риса, но одна из его жён останавливает его:

— Ты хочешь, чтобы я стала рабыней брамина!

Оказывается, если бы Кришна отведал ещё рису, он стал бы по своему положению ниже Кучилы.

Эту назидательную историю можно, очевидно, понять так: богу угодны любые дары. Главное, чтобы дары подносящий был искренен, чтобы он ничего не утаивал, и он будет вознаграждён во сто крат. Возможны и другие интерпретации. Но меня тронула в этой истории не мораль, которую можно из неё извлечь, не аллегорический её смысл, а самый текст, взятый безотносительно к подтексту. Образ бедного, обременённого семьёй человека, который хочет улучшить свои дела, не может не волновать.

Жизнь современной индийской деревни и современного индийского города, несомненно, помогла мне как-то понять этот сюжет с его древним и, может быть, потаённым (по крайней мере, для меня) смыслом.

* * *

Из Бангалура мы ездили в близлежащие деревни. Видели лозунги: «Мы идём к лучшему, завтрашнему дню». Видели стандартные домики, построенные для бездомных крестьян на правительственные ссуды. Нас пригласили в один из таких домиков. Хозяйка, встретившая нас, сказала, что ей 65 лет и что это первый в её жизни дом. Муниапа — так звали хозяйку — кротко и с достоинством показывала нам своё скромное жильё.

Мы познакомились с замечательными людьми — тружениками индийского села. Мы приехали в центр по закупке сельскохозяйственных продуктов сразу после того, как кончилось важное совещание — обсуждался вопрос, как и в какие хозяйства распределить посевную картошку, привезённую из-под Дели (раньше привозили из-под Рангуна, что обходилось дороже).

— В этом году килограмм картошки стоил одну рупию. В неурожайный год цена поднимается до 4 — 5 рупий, — сказал председатель центра по закупке сельскохозяйственных продуктов Венкоба Рао.

Он обрадовался Станиславу Куняеву, его рассказу о том, как после войны, у себя в деревне, он, мальчик, сажал вместе со взрослыми картошку:

— Каждую картофелину мы делили на маленькие дольки…

На замечание одного из нас, что писатель должен работать так, как работают крестьяне — всё, что они делают, свято, Венкоба Рао ответил:

— Писательское дело — тоже святое дело. Даже солнце не видит своей тени, а писатель видит и свет, и тень.

* * *

Эта тема — писатель, его работа, его долг перед людьми — с неизбежностью возникала на встречах с индийскими писателями.

— Лицо писателя определяется двумя факторами: доходит ли его слово до сердца народа; облегчает ли он своими книгами страдания своего народа, — говорили в Бангалуре на большом собрании писателей.

— Вы напомнили слова Достоевского о том, что за людьми надо, как за больными, ходить. Такой подход к человеку объединяет нас, писателей, — сказала в Тривандруме поэтесса Сугата Кумари. Она прочла нам своё стихотворение — о жестокости человека по отношению к человеку.

— Мы сами творим зло. Писатель должен сделать всё, чтобы в его собственной стране зло побеждалось добром, — убеждённо говорила Кумари.

— В ночи, и в полутьме, и в ясном свете мы видим свет, — так определил писательское кредо К. Г. Менон, архитектор из Мадраса, пишущий стихи на малаяльском и покровительствующий поэтам.

А на обложке брошюры об Индийской литературной Академии приводится высказывание Радхакришнана о том, что писатель не просто отображает мир, но ещё и освобождает мир.

В Дели мы с Бхишемом Сахни вспомнили африканское предание, услышанное нами в Алма-Ате на V конференции писателей Азии и Африки. Если человек болен, то надо выкрикивать имя больного. И чем громче кричать, тем больше шансов, что больной выздоровеет. Так и писатель — он должен кричать о боли народной, и чем громче он будет кричать, тем больше надежды, что он поможет своему народу и исполнит свой долг.

Это же предание я вспомнил в Мадрасе, в музее древней индийской скульптуры. Здесь была выставлена скульптура из чёрного камня — голова, устремлённая подбородком вперёд, и открытый кричащий рот, кричащий чёрный камень, и руки, разрывающие рот, руки, тоже мучительно кричащие. Может быть, это была деталь фигуры индийского атланта, может быть, этот каменный крик имел иной совершенно смысл. Но и я был вправе увидеть в древней скульптуре то, что меня волновало.

* * *

Побывать в Индии — значит, помимо всего, подивиться художественному гению индийского народа, подивиться афористичности разговорной речи индийцев.

Святослав Рерих, художник и сын знаменитого русского художника Николая Рериха, прожил в Индии почти всю свою жизнь, и, когда мы с ним встретились в Бангалуре, он, человек в летах, с юношеским жаром говорил о том, как щедро талантлив индийский народ.

— Вы здесь увидите удивительные памятники. Это — как кружева. Талантов здесь очень много. В деревнях и всюду вы найдёте исконный талант. У меня есть работница. В одну минуту она наводит на бумагу сложнейшие рисунки. Это в них заложено. А текстильное производство… Всё это изумительно, и особенно на юге. Мы не знаем, когда это началось. Мы знаем, что в древности вывозились индийские ткани в Египет… Таланты всюду. Надо их поощрять, дать возможность таланту развиться.

Я много путешествую по Индии. В Индии всегда что-то есть новое. Здесь ещё сохранились племенные группы, и у каждой — свои особенности. Всё это создавалось и сохранялось на протяжении тысячелетий. Индия меня привлекает своим внутренним богатством… Многое ведь уходит. Животный мир поредел. Раньше не было границ, а сейчас всюду дороги проложили… Тигров теперь очень мало. Львы только на западе в Гуджарате живут. Слоны ещё есть. Сюда к нам (мы были под Бангалуром в имении Рериха Татгуни. — *Л. М.*)

они приходят и пасутся. Ведут себя спокойно, но есть и ущерб — ломают деревья, заборы. Слон, знаете, всегда слон…

Жизнь выявляет так называемые общие человеческие свойства. Люди всюду — одни и те же. Но крестьянам индийских деревень присуща некая утончённость. Это от культуры, от их эпоса. Они знают эпос наизусть. Он живёт в них. Крестьяне — прототипы героев. Знаете, как Платон говорил: от красивых образов — к красивым мыслям, от красивых мыслей — к красивой жизни, а от красивой жизни— к абсолютной красоте. Так и действуют герои эпоса… Но проблем очень много. Острейшие проблемы. В Индии очень любят детей, это несомненно. И их надо кормить, надо о них заботиться…

В искусстве сильно напирали модернисты. Это пришло с Запада. Я сам присутствовал на выставке, которая была прислана сюда из Франции. Были проставлены цены. Абстрактная картина — тысяча рупий, а местный художник и за десять рупий не мог продать свою работу. А главное — мода. Хотя Запад уже выходит из этой полосы, но здесь модернизм ещё в силе. Местные художники живут тут и, может быть, поэтому не замечают красоты своей жизни и ищут чего-то другого. Это трагично. В деревнях искусство чище. Здесь, в нашем штате, была народная школа живописи, резьбы. Я был заинтересован, чтобы всё это сохранилось. Сейчас начали интересоваться этими работами, и цены на них возросли от нескольких рупий до сотен. Здесь есть традиционные ваятели, они с изумительной лёгкостью воспроизводят сложнейшие мифологические сюжеты. Они легко и быстро обрабатывают камень, потому что знают этот камень.

Святослав Рерих говорил на чистейшем русском языке и говорил интересно. Он нам показал некоторые свои живописные работы. В портретах родниковая чистота и ясность красок выражали чистоту и ясность человеческого лица. Запомнился мне портрет молодой женщины в ярком, горящем сари. «Ты — огонь, и платье твоё — огонь», — сказал бы Саят-Нова. Женщина куда-то спешит. Её словно бы манят яркие краски: выразительный национальный орнамент написан в левом углу полотна не как фон, а как существенная деталь общей композиции. Женщина спешит, а за ней увязался чёрный как смоль поросёнок. И здесь, в этом портрете, — та же определённость и оттеняющая мир человеческих эмоций контрастность красок. Мне подумалось было, что полотно написано на какой-либо определённый литературный сюжет.

— Нет, я это видел в одной из деревень, — заметил художник.

Святослав Рерих показал нам часть своих работ. Смеркалось, а он хотел ещё засветло похвастаться обширными плантациями эфироносных деревьев. Видно было, что он гордится своими плантациями, гордится тихими озёрами в своём имении, гордится чистотой и порядком, царящими всюду. Эфироносные плантации — это богатство и страсть Святослава Рериха.

Девика Рани, супруга Рериха, в прошлом знаменитая индийская актриса, преподнесла нам гималайские орхидеи и спросила по-русски:

— Устали?..

И хотя мы действительно устали — день был плотно забит мероприятиями и надо было спешить на очередную встречу, — я спросил у Святослава Рериха, что он думает о Махатме Ганди, что в его учении ему дорого.

— Нужно всем интересоваться, держать открытыми глаза, быть живым человеком, — сказал Рерих. — У меня были исключительные родители, я им обязан… Что у Ганди самое важное? Это его внутреннее стремление к совершенствованию. А его служение людям? Он им служил, потому что любил их. Он хотел дать Индии независимость и учил, что каждый человек должен найти в себе внутреннего, совершенного человека. Материальные блага не дают счастья. Часто ведь богатство несёт с собой большие осложнения. Я знал людей, которые накопили большие богатства, но у них не было личного счастья. Да и предела

этому нет. У него миллион, а он хочет, чтобы было десять. У него десять миллионов, а он хочет тридцать… Мы должны помнить, что мы должны стать лучше. Надо совершенствоваться не потому, что это выгодно… Самое главное в жизни — это воспитание человека. И всё ведь зависит от нас самих, всё в наших руках, — твёрдо заключил Святослав Рерих.

Нам говорили, что есть нищие, для которых просить милостыню — это профессия, неплохой заработок. Но если человек от голода умирает — это уже не профессия, это смерть. Не о богатстве, а о хлебе насущном думают простые индийцы. И они не могут, увы, сказать: «Всё в наших руках»…

* * *

В моей записной книжке часто встречается имя Махатмы Ганди. Я хотел узнать, что взяли для себя из учения Ганди, столь популярного и противоречивого, те немногие индийцы, с которыми я встречался. Собственно высказывания Ганди я мог почерпнуть из его книг.

Я уже писал о Чаттерджи и Найяре, об их критическом восприятии наследия Ганди. А прозаик Шанкар сказал, что в Бенгалии надо спрашивать не о Ганди, а о Рабиндранате Тагоре. Редкие индийцы не могли вспомнить что-либо из Ганди. Наиболее резко высказался о нём М. Т. Дас, сотрудник Индийского совета по культурным связям в Мадрасе:

— Ганди — великий человек, но он уже история. Я его не вижу. Знаю, что был такой великий человек, однако я его не вижу рядом с собой.

Но это было единичное высказывание. Большинство говорили о Махатме Ганди восторженно, а один из индийцев сказал:

— Он нам так близок, что это не для вас.

Хотя невелико было число опрашиваемых лиц, но ответы вскоре стали повторяться. На первом месте по числу ответов был афоризм Ганди: «Истина — это бог, а бог — это истина».

(К. И. Канампилле, дипломат, бывший посол Индии в ряде стран, пошутил: «Я бы сказал иначе: “Красота — это бог, а бог — это красота”».).

На втором месте была известная идея Ганди о ненасилии. Разные люди приводили разные варианты этой мысли, к которой сам Ганди неоднократно возвращался:

— Только храбрец может позволить себе ненасилие (Д. Р. Найяр, Тривандрум).

— Хороший поступок тот, который не связан с насилием (Субхас Мукерджи, Калькутта).

— Ненасилие — это метод не для слабых, — сказал калькуттский кинорежиссёр Тапан Синх и тут же добавил: — А вот Бернард Шоу выразился иначе: «Бойся человека, который не возвращает тебе удар».

— Всегда пользуйся ненасилием как своим единственным оружием (К. Васудеван, Бомбей).

— Истина и ненасилие так же древни в Индии, как и её горы (С. Р. Шарма, Мадрас).

На третьем месте было высказывание Ганди (на него ссылались почти все писатели) о плодотворности культурных контактов и связей при условии сохранения своего национального лица. Высказывание передавалось в разных редакциях, но идея была одна и та же:

— Я хочу, чтобы развивалась культура всего мира, я хочу, чтобы развивалась индийская культура, поэтому пусть окна наших домов будут открыты. И пусть врываются в наши дома ветры со всех сторон света, но я не хочу, чтобы эти ветры сбили меня с ног.

Позже это высказывание Ганди я прочёл в русском переводе: «Я не хочу, чтобы мой дом был окружён стенами со всех сторон, чтобы мои окна были заколочены. Я хочу, чтобы в дом мой со всей свободой ворвалась культура всех народов. Но я против того, чтобы хотя одна из них сбила меня с ног».

Три эти доктрины Ганди (истина и бог; ненасилие; оставаясь самим собой, широко общаться с культурным миром) были наиболее популярны среди тех индийцев, с которыми мне довелось беседовать в разных городах Индии в феврале 1976 года.

И ещё целый ряд высказываний Махатмы Ганди записан у меня со слов моих индийских собеседников. Приведу некоторые из них:

— Неважно, ты — индуист, мусульманин, христианин или буддист. Главное — мы индийцы, и, если мы будем вместе, нас никто не победит (Д. Р. Шарма, Дели).

— Для бедняка даже бог может явиться в виде хлеба (М. С. Рагунатан, Мадрас).

— Спасение Индии — в её деревнях (В. Д. Наяран, деревня под Бангалуром).

— Самое главное — жить просто и думать возвышенно (Шайлиш Махадевиа, Бомбей).

И, наконец, делийский журналист Харинмай Карлекар заметил, что, с его точки зрения, значительны следующие высказывания Махатмы Ганди:

— Самое важное — сделать так, чтобы слёзы ушли из всех глаз.

— Мне не нужна независимость, если она означает эксплуатацию бедняков.

И это действительно мысли актуальные, актуальные с точки зрения сегодняшнего дня и тех задач, которые стоят перед Индией.

* * *

Говоря о Махатме Ганди, индийцы, как правило, затрагивали волнующую их тему недавней и памятной для многих борьбы с колониальными английскими властями. Из города Кочина нас повезли на небольшой остров, на котором высится импозантное строение — одна из резиденций бывшего английского вице-короля Индии. В одной из комнат бывшего вице висел в застеклённой раме портрет самого короля Англии, помеченный 1911 годом. А под стеклом в раме — маленькие паучки. Их было много в левом углу рамы, но, наверно, паучки бегают по всему портрету, ходят по лицу его величества.

Что и говорить, времена меняются. А ведь в старину даже гоголевский Поприщин знал, как могущественна Англия. «Луна ведь, — рассуждал Поприщин, — обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия».

И ещё. Здесь же в Кочине мы видели странные паукообразные сооружения. На самом берегу в воде стояли громадные деревянные пауки с высоко поднятыми длиннющими кривыми лапами-жердями, к которым были привешены громадные сети. Эти странные несообразные устройства (они действовали по принципу журавля) были предназначены для ловли рыбы. Широко торчащие лапы медленно и зловеще опускались в воду. Затем так же медленно лапы поднимались. В сети бились две-три рыбёшки. И так как торчащие жерди с сетью были громадными, рыбёшки выглядели жалко. Часто сеть оказывалась пустой, но она тут же погружалась в воду — и так без конца…

И была какая-то связь между этими столь несимпатичными прожорливыми пауками из огромных жердей и портретом короля английского, с тем самым его старым портретом, под стеклом которого прижились маленькие невинные паучки.

* * *

В поездке по Индии я часто вспоминал великого кавказского поэта XVIII века Арутина Саят-Нову. (Саят-Нова писал на армянском, грузинском и азербайджанском языках). Я видел краски и образы его лирики на многолюдных базарах, на улицах, в торговых рядах, в лавках… Индия в стихах Саят-Новы — далёкая и желанная страна редкостных, дорогих товаров. И образ женщины в его поэзии далёк. Женщина — нечто очень редкостное и дорогое:

Ты — узор парчи, ты как золото ткани, о джан!
Каламкар ты, что с Инда везли в караване, о джан!

*

О соловей, не говори: краток цветка розовый час,
И в Индостан не улетай, что тебе ткань, бархат, атлас.

*

Ты — бриллиант! Бесценный лал индийских стран ты для меня.

Индия для Саят-Новы — страна великих умельцев и мастеров:

Индийский резчик пусть посмотрит узоры, тонкость оценя.

*

Ты — кисти Индостана вдохновенье.

И наконец — это страна грозного владыки, а с владыками поэт был всегда в разладе:

Трон индийского владыки, — знаю — мне на горе ты.

Я думал о Саят-Нове и думал о правдоподобии версии, согласно которой он был в Индии и черпал своё вдохновение здесь, на этой земле, под этим небом. Неспроста ведь Николай Тихонов пишет о том, как Саят-Нова с войсками Надир-Шаха вошёл в Дели. «Сколько видел ашуг при этом баснословном походе, — продолжает Тихонов, — какие краски, какие чувства, какие воспоминания! Сколько он встретил поэтов и певцов, мудрецов и учёных. После Ирана и Индии ветер странствий заносит его в страну чёрных христиан — и мы видим поэта уже идущим в процессии, где-нибудь в Анкобере…»

Может быть, всё это так и было. В жизни великого Саят-Новы много неразгаданных страниц.

* * *

Вскоре после поездки в Индию я встретил в Москве на VI съезде писателей СССР делийского прозаика Бхишема Сахни.

— В старых индийских книгах на санскрите сказано, что люди, как волны в океане, — встречаются и расходятся. Но я бы хотел, чтобы мы чаще встречались, — говорил Сахни.

К счастью, люди дружат не от встречи и до встречи. Волны в океане встретятся и разойдутся, а человек встретит человека и унесёт с собой его слово, его взгляд, поймёт его надежды и ожидания…

1976

В стране шестидесяти тысяч озёр

Хельсинки. Первые впечатления, и я вспоминаю ереванские Черёмушки. Дом, в котором мы жили, стоял рядом с виноградниками. Когда строительство ещё только начиналось, я видел многоэтажные дома будущего жилого массива на белом ватмане. На ватмане дома и улицы были красивее — всё было аккуратнее, чище, тротуары не были разрыты, во дворах не было строительного мусора, а в самих домах — так называемых недоделок.

— Мы строим, не рисуем, — оправдывались строители.

Я поехал в Финляндию на семинар переводчиков. Финско-советский семинар состоялся недалеко от Хельсинки в живописнейшем местечке Кивенлахти (Каменный залив). И я подумал, почему бы ереванским строителям не приехать сюда на семинар строителей?

В Финляндии хорошо строят. Так хорошо, что хочется им подражать.

— Хорошие книги переводят, чтобы обогатить себя и свою культуру. Я бы перевёл на армянский умение ваших строителей так чисто, так артистично воплощать архитектурные идеи.

— А я бы перевёл на финский Гарни и Рипсиме, — улыбается Вальдемар Меланко, директор Института культурных связей Финляндия — СССР, знаток финской архитектуры.

* * *

Природа в Финляндии очень богата, и здесь очень дорожат ею. Строить в согласии с природой — вот принцип финской архитектуры. Дом ставят на земле, но дом — часть пейзажа, а пейзаж — это и земля и небо. Поэтому всё, что строится, всё должно дополнять пейзаж, дорисовывать картину земли и неба над землёй. Небо — существенная часть архитектуры.

— А дерево на земле — это ведь как звезда на небе. Наш крупнейший архитектор Альвара Алто за каждое сбережённое дерево давал строителям по бутылке водки, — сказал Вальдемар Меланко.

Мы с ним говорили о современном строительстве и необходимости беречь природу, говорили о том, что волнует сегодня людей всюду, в какой бы стране они ни жили.

Толстой начал «Воскресение» фразой: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе».

Толстой писал о другом и в другой связи. Но его тоже волновало то, о чём говорили мы с Меланко.

* * *

В Финляндии не шесть тысяч, а свыше шестидесяти тысяч озёр — цифра для армянина фантастическая. И невозможно не подумать о Севане, единственном нашем Севане… У финнов есть пословица: воды да ветра у нищего вдоволь. В Армении так никогда не скажут. Ветра вдоволь у нищего. А вода — это богатство. И неспроста по-армянски говорят, что и от мочи мышонка может быть польза водяной мельнице.

В Финляндии есть озеро, а на озере остров, а на острове ещё одно озеро. В Армении есть горы, а на тех горах — другие горы:

Темнеют горы на горах,
Ущелья в глубине ущелий,
Мне чужд заката смутный страх.
Темнеют горы на горах.
Воспел я отчий мир в стихах,
Я от камней зачат в камнях,
Мне в колыбели камни пели.
Темнеют горы на горах,
Ущелья в глубине ущелий.
Мне чужд заката смутный страх.

(Амо Сагиян)

В Армении, должно быть, больше шестидесяти тысяч гор. И обилие согласных в армянских словах, должно быть, от обилия камней. Об этом подумал я в стране шестидесяти тысяч озёр, в стране, где говорят на мягком, певучем языке гласных. И ещё я подумал о сказке, в которой русалка ключ от своего сердца забросила в озеро.

— В каком из озёр искать этот ключ? — спросил я у финской переводчицы Кирси Вяхяла.

И она мне сказала, что переводчику так же трудно найти ключ от оригинала, как было бы трудно в одном из шестидесяти тысяч озёр найти ключ от сердца русалки.

* * *

Кирси познакомила меня с молодым финским поэтом Яркко Лайне. Она подарила мне сборник его стихов на финском. Я попросил, чтобы она подстрочно перевела мне некоторые его стихотворения. Кирси долго вглядывалась в одну из страниц сборника — она переводила стихи в уме, про себя. Чувствовалось, что подстрочник не получался. Она ещё немного помолчала, а потом захлопнула книгу и сказала виноватым тоном:

— Это такие хорошие стихи, что нельзя их перевести.

Небольшой цикл стихов Яркко Лайне перевёл для меня Владимир Богачёв. (В Финляндию мы ездили втроём — Лев Озеров, Богачёв и я.) Главным образом это были стихи из сборника Лайне «Цирк огня и льда». Легко было заметить (даже по подстрочникам) пристрастие Лайне к ёмкому броскому образу: за окном неоновые вывески, как летающие тарелки, собравшиеся на карнавал… А цветок вожделения — синий, он такой синий, как джинсы садовника. В стихотворении «Идиллия» ветер поёт печальную песню у маленького кладбища, поезд врывается в тишину города и уходит, мерцает сквозь ветви дерева фонарь, и тишина вновь вступает в свои права. Но чтобы мы почувствовали, какая она, тишина, Лайне пишет: «Тихо. Так тихо, как тиха мечта бедного юноши». И традиционный идиллический пейзаж видится по-другому. И тишина уже другая.

Яркко Лайне тяготится обыденностью быта — и особенно быта городского: «В полутёмном углу дети сосут свою печаль — холодное молоко телевизора». «Как грустно. В радиоприёмнике горит свет. Но при таком свете нельзя даже читать. Я смотрю на свою девушку. Она, тряся бёдрами, подходит к окну и отодвигает занавеску». Здесь поэт нарочито груб. Бездуховность быта угнетает Лайне, угнетает героя его стихов. «Если бы, если бы наступила ночь, я бы на лету поймал горящую сигарету и нарисовал бы в воздухе огненное лицо». Лирический герой Лайне тщится уйти от серой, бескрылой действительности.

* * *

Мы познакомились ещё с одним молодым финским поэтом — Пентти Сааритсой. Он выступал на семинаре.

— Переводить невозможно, и в этом нет ничего удивительного, — сказал Сааритса. — Можно и надо удивляться другому, тому, что нельзя не переводить.

Сааритса много переводит с русского. Он работает вместе с Раей Рюминой. Сааритса и сам говорит по-русски. Но Рюмина — знаток русского языка и русской литературы. Им вместе работается хорошо и споро. Они совместно с Наталией Башмаковой, Пекки Песоненом и Анной-Майей Раиттилой издали сборник русских поэтов — Брюсов, Блок, Есенин. Они работают сейчас совместно с другими переводчиками над новыми сборниками русских поэтов на финском языке. На семинаре Рюмина рассказала, как они переводили знаменитых «Синих гусаров» Николая Асеева, стихотворение, воссоздающее образы декабристов, очень трудное для перевода. Стоило Рюминой прочесть на финском языке первую строфу, как Лев Озеров сразу же узнал оригинал. Рюмина читала по-фински, а Озеров вторил ей по-русски:

Глухие гитары,
высокая речь…
Кого им бояться
и что им беречь?
В них страсть закипает,

как в пене стакан:
Впервые читаются
строфы «Цыган»…
Тени по Литейному
летят назад.
Брови из-под кивера
дворцам грозят…

Сааритса — мастер стиха. Он артистично пересоздал на финском сложнейший ритмический рисунок, богатую звукопись «Синих гусаров». Хорошие стихи, считает Сааритса, — первое условие переводимости. Если оригинал прекрасен, то между переводчиком и автором оригинала устанавливается взаимопонимание. И это, утверждает Сааритса, важнее знания языка:

— Взаимопонимание прежде всего!

Сааритса пригласил нас в кафе «Централь», завсегдатаем которого он был. Здесь мы познакомились с молодым юристом, работником профсоюза рабочих Микко Ваарисом.

— Я хочу сказать от имени миллиона рабочих, что Пентти Сааритса — прекрасный поэт! — заверил нас Ваарис.

Сааритса к тому же — прекрасный человек. Мы с ним подружились. На вопрос: «Как живёшь?» — Сааритса ответил:

— Сейчас хорошо. Один раз я женился неудачно, а потом три раза удачно.

Лев Озеров сочинил тост в честь Пентти.

Живёт себе — не старится
Писатель Пентти Сааритса.
Вставайте, пиво вспеньте.
И будем пить за Пентти.

* * *

В работе семинара принимали участие финские писатели старшего поколения. Основной доклад был сделан Элой Пеннанен, известной финской романисткой.

— Мы не всегда в достаточной мере ценим наш язык, — сказала она. — Ведь он всё же является сильным выразительным языком… Отношение к нему надо изменить. В кругу профессиональных писателей и переводчиков часто встречается явное безразличие к финскому языку и его чистоте.

Эта мысль Пеннанен была поддержана многими финскими ораторами. Например, Майя Савутие говорила, как ещё в начале 60-х годов появлялись переводы, в которых тупое стремление сохранить вопреки финскому языку те или иные особенности оригинала приобретало в глазах финских читателей комические черты.

— Лишь молодое поколение финских переводчиков, — заметила Савутие, — избавилось от этой помехи, ставя себе задачей в первую очередь выражение мысли на хорошем, непринуждённом финском языке.

Издательского корректора Пяйвё Тауберта волновал вопрос, как избавиться «от плоскостей и бумажного вкуса в переводе». Но само выражение «бумажный вкус» (так перевели Пяйвё) — пример буквализма, как, впрочем, и рекламная надпись, увиденная нами в Хельсинки: «Средство для полового натирания».

Низкий уровень переводных книг объясняли на семинаре низкой оплатой труда переводчика.

— Получаемая переводчиками зарплата и в особенности их социальное обеспечение настолько малы, — сказал Пекка Песонен, — что люди, отлично владеющие русским языком, продолжают переходить на работу в сферу торговли и промышленности, где в них ощущается острая нужда.

Оказалось, что и финские вузы готовят переводчиков — коммерческих секретарей. В основном докладе было сказано, что «при организации институтов иностранных языков, очевидно, совсем не думали о собственно переводчиках на финский язык».

О том, что «необходимо повысить уважение к труду переводчика» и что хорошо бы брать «пример с соседней страны, где труд переводчика ценится очень высоко», говорил в своей речи министр просвещения Финляндии Калеви Кивистё.

Финские переводчики и издатели подчёркивали в своих выступлениях, что они хотят изучить опыт организации переводческого дела в Советском Союзе. Это их стремление продиктовано и углубляющимся интересом к нашей литературе, и её успехами.

Улла-Лииса Хейно заметила, что если ещё недавно в Финляндии интересовались лишь русскими советскими писателями, то теперь финский читатель хочет знать наиболее крупных представителей многонациональной советской литературы, которая создаётся более чем на 70 языках, Хейно говорила, в частности, о книгах Чингиза Айтматова, переведённых на финский и получивших признание у финского читателя.

* * *

Знаменитый финский поэт Арво Туртиайнен начал свою речь по-русски. «Сердце колотится», — сказал он и уже на родном языке развил свою мысль о том, что у каждого языка своя тональность, свой цвет, свои оттенки. И свобода переводчика — это свобода в пределах разницы двух языков. Не больше. В остальном надо следовать оригиналу. Даже когда переводишь свободный стих, говорил Туртиайнен, надо помнить, что это стих организованный. Например, у Уитмена. Переводчики и поэты довели до упадка свободный стих. Они лишили его всякой организации, пишут без профессионального навыка, как попало.

Не обошёл Туртиайнен и повсеместно дискутируемую проблему подстрочника. Он сказал, что хотя и говорит по-русски, но подстрочник ему нужен. Если бы не подстрочник, он не стал переводить Маяковского. Подстрочник как бы страхует жизнь и работу переводчика. Туртиайнен сравнил переводчика с человеком, который ныряет. Ныряет он в скафандре, а в руках у него канат. Если ему трудно, он дёргает за канат, и ему помогают. Так и подстрочник. Без подстрочника рискуешь утонуть. Но вместе с тем, заметил Туртиайнен, если человек ныряет, он не может всё время дёргать за канат. Опасно поэтому переоценивать подстрочник.

Мысль о вреде чрезмерного следования подстрочнику Туртиайнен подкрепил примерами переводов древнегреческой лирики на финский язык. Когда читаешь эти переводы, сказал он, такое впечатление, что ты находишься в мире восковых фигур. Нет воздуха. Подстрочник — нечто очень точное, но неживое. Туртиайнен сослался на Озерова, который сказал, что переводы быстро устаревают. Жаль, что это так. Но с другой стороны, заметил Туртиайнен, это нас должно радовать, потому что работу, плохо выполненную одним переводчиком, другие могут сделать лучше.

— А чтобы переводчики работали лучше, — сказал Мартти Ларни по окончании семинара, — надо чаще устраивать подобные финско-советские встречи. Встречи писателей всегда плодотворны и всегда желанны.

* * *

После семинара были экскурсии. Мы побывали, в частности, в гостях у финских издателей, познакомились с работой крупной типографии в городе Порво. Когда мы пришли в наборный цех, готовилась к набору книга воспоминаний епископа Олави Кареса. Епископ во вступительной заметке «Почему?» своеобразно объяснял, как он пришёл к мысли написать воспоминания. Оказывается, епископ родился под знаком Овна. Прочитав в одном из гороскопов, что родившийся под знаком Овна должен высказаться, епископ решил написать книгу о своей жизни.

В Хельсинки на центральной городской площади, там, где Ратуша, — рынок. Сюда неизменно приходят туристы. Мы видели, как здесь торговали забавными итальянскими босоножками на толстенных деревянных подошвах под пробку. На каблуках и по всему краю деревянной подошвы надписи: «Я тебя люблю», «Любовь, мир, дружба», «Я люблю Боба…» И рядом с надписями рисуночки — два сердца, пронзённые стрелой, цветочки… Предприимчивые дельцы зарабатывают на всём. И ходят девушки, постукивая деревяшками — признаниями в любви.

«А что, — подумалось было мне, — наверно, всё-таки башмаки имеют отношение к любви. Сетовал же шекспировский Гамлет:

О женщины, ничтожество вам имя!
Как? Месяц… Башмаков ещё не износила,
В которых шла за гробом мужа,
Как бедная вдова, в слезах… И вот она,
Она…

А Дмитрий Карамазов у Достоевского? «Всякий порядочный человек, — говорил он, — должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины».

Выдумка бизнесменов (любовь как реклама для дешёвых башмаков) — это, конечно, мелочь, небольшой штришок, но штришок характерный.

Площадь у Ратуши одной стороной упирается в берег моря. У причала стоят катера, они образуют торговый ряд. Меня удивило, что хозяева катеров торгуют не только рыбой, но и… картошкой, хотя известно, что из моря её не выловишь. Очевидно, подумалось мне, это не рыбаки, а торговцы, и катера у них не рыбачьи, а торговые. Но я ошибся. Меня поправил Вальдемар Меланко:

— В Финляндии картошка именно «ловится в море». На нашем побережье более 30 000 островов. На островах климат мягче, чем на материке, и земля песчаная — как раз условия, располагающие для выращивания картошки. Рыбаки, живущие на островах, разводят на своих маленьких полях картошку. Она у них растёт вкусная, крупная, чистая…

Мы провели несколько часов в библиотеке Высшей технической школы в Отаниеми. Преподаватели и студенты могут отыскивать здесь литературу по теме с помощью электронно-вычислительных машин. В огромной библиотеке доступ к книгам открытый. Читатели сами берут с полок литературу, но обратно поставить книгу на место им не разрешается — вдруг не туда поставят. Этим занимаются штатные работники библиотеки. Они не выдают книги, а ставят книги на свои места.

Наше пребывание в Финляндии было кратковременным. Немногое мы увидели и услышали. Но, как сказал Александр Блок,

Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

1976

Глоток Ниагары

Из Москвы в Монреаль лететь долго — больше десяти часов. В составе писательской делегации я летел на VIII конгресс ФИТ — Всемирной организации переводчиков. Пока мы летели над Атлантикой, Вильгельм Левик и Иосиф Семежон переводили на русский и белорусский языки стихотворение Наапета Кучака, средневекового армянского лирика.

— Твоя грудь — белый храм,
Груди (сосцы) — горящие лампады.
Устроиться бы мне звонарём и
Лампадщиком в твоём храме.

— Уйди, несмышлёныш,
Не подобает тебе быть лампадщиком:
Тебя увлекут игры,
И храм мой оставишь во тьме.

Это подстрочник. Надо в другом языке облечь стихи в другую, адекватную форму, а ещё точнее — надо найти новое единство содержания и формы.

— С белым храмом сравню твою грудь
И сосков огоньки со свечами.
Я б зажёг их, не дал бы задуть
И звонил бы всю ночь в твоём храме.

— Не зажжёшь, мой незваный звонарь,
Мал и глуп ты, оставь эти враки.
Увлечёшься игрою, как встарь,
И мой храм ты оставишь во мраке.

В этом переводе Левика есть одно «чужое» выражение — «как встарь», оно придаёт переводу, в отличие от оригинала, другой смысл. Можно подумать, что герои стихотворения были знакомы, что уже был случай, и она имела возможность разочароваться в нём…

— Одно слово! Всегда так — из-за одного слова переписываешь перевод, — говорит Левик.

Встарь — рифмующееся слово. Левик ищет другое рифмующееся слово: тварь, царь, ларь, ударь, звонарь и даже — вратарь.

— То он звонарь, то он — царь. Нельзя! — замечает Левик и находит другое решение:

Мой незваный звонарь, не зажжёшь,
Мал и глуп ты, оставь эти враки!
Станешь в игры играть, не придёшь,
И останется храм мой во мраке.

Перевод мне нравится. Это стихотворение переводили на русский язык раз пять. Перевод Вильгельма Левика, хотя и сделан он просто так и ни на что не претендует, — один из удавшихся, и я рад случаю процитировать его.

В самолёте оказались белорусы, которые сумели оценить и перевод Иосифа Семежона[1]. Здесь также не обошлось без правок и вариантов. Пассажиры (и среди них — известный трубач Тимофей Докшицер) пристрастно обсуждали переводы Левика и Семежона, просили переписать стихи-переводы, которые появились тут же, на их глазах.

---

[1] И. Семежон увлёкся и перевёл ещё ряд айренов Наапета Кучака, опубликовав их в журнале «Далягляды» (Минск, 1979, с. 221 — 223).

* * *

Знает не тот, кто много жил, а тот, кто много ездил, — гласит пословица. В дороге всегда знакомишься с интересными людьми. Человек в пути предрасположен раскрываться, исповедально рассказывать о себе. Фёдор Николаевич Гаврилов, бухгалтер из Донецка, пенсионер. Летит вместе с нами в Монреаль. У него в Канаде брат Павел. Не виделись 50 лет. Переписываются.

— Я ему везу конфеты. Специально в Донецке на кондитерской фабрике заказывал. Везу набор духов «Красная Москва». Брат мне писал: «Пришли хорошие духи»… Я вам скажу так, как он писал: здесь, говорит, нет духов — одно дерьмо. Я ему послал тогда «Красную Москву». Две недели ходили к нему, как ходят в церковь, стояли в очереди, чтобы брат Павел обмакнул в духи кисточку и провел ею по лбу.

— Нельзя человеку без родины, — вздыхает Фёдор Николаевич.

И не только человеку. В Оттаве на улице к нам подбежала собачка и стала радостно прыгать, ласкаться, лизать нам руки.

— Вы говорили по-русски, а она истосковалась по русским. Мы из Ленинграда. И собачку вот с собой привезли. Услышит она русскую речь — и радуется, радуется, — объясняла нам дама с собачкой, а собачка прыгала вокруг нас, пританцовывала…

Глядя на даму с собачкой, на её тоскливый и далёкий взгляд (стояла близко, но смотрела откуда-то издалека), я вспомнил стихи Иосифа Уткина:

Жестоко разлукой терзаемый,
Я чувством собачьим томим.

Это из «Стихов о потерянной собаке». Вот и начало стихотворения:

О, как это близко и знаемо!
…Толпа тротуаром плывёт,
А пёс, потерявший хозяина,
Во мне его ищет…
И вот
Он тычется мордой в прохожих…
Обнюхает боты, пальто.
Посмотрит — как будто похожий,
А в душу заглянет — не то!

Уткин писал о другом («И в банде красавиц прохожих Кидаюсь, как пёс, под авто. Я тоже встречаю похожих И в ужасе вижу — не то!»), но собачья ностальгия — это ведь тоже близко, тоже ведь знаемо.

Я побывал в армянской колонии Монреаля, я видел, как тоскуют по Армении дети и внуки тех немногих армян, которые в первую мировую войну спасались на чужбине от резни и погромов. А вот другой случай. В Монреале я познакомился с армянской семьёй, эмигрировавшей из Армении.

— В Ереване мы жили хорошо. Но мы хотели соединиться с родственниками, — сказал отец семейства Григор, человек средних лет, по специальности ювелир.

Григор рассказал, как он с женой и двумя сыновьями думает наладить свою жизнь. Вот-вот он устроится на работу и будет получать столько-то долларов в месяц. На еду — столько-то, на квартиру — столько же и на одежду немного… И так всё время — доллары, доллары… Неизвестно, однако, найдёт ли он работу, раздобудет ли те 200 долларов, которые надо

платить за квартиру в районе неимущего населения Монреаля. О ближайших родственниках он упомянул в начале своего монолога. Говорил всё больше о долларах, о том, сколько можно истратить и сколько надо припрятать.

Я не спросил Григора, вывез ли он из Еревана собаку.

Ностальгия — это собака, которая всегда с нами.

* * *

Сохранить на чужбине родной язык, родную культуру гораздо труднее, чем это может показаться. В один из вечеров я побывал в армянской церкви Монреаля. (Церковь по своей архитектуре англиканская. Община купила её у англичан. Надо бы церковь перестроить, придать внешнему виду черты армянской архитектуры. Но, как мне сказали, это дорого стоит — нет денег.)

В просторном полуподвальном зале давали обед с лотереей, песнями и танцами. Энтузиасты продавали лотерейные билеты и объясняли, что вся выручка пойдёт на нужды армянской школы. Билеты предлагали участникам обеда по два и три раза — брали не очень охотно и не сразу.

Поздно вечером было объявлено, что продано 983 билета и что хорошо бы продать ещё 17 билетов, чтобы довести выручку до 1000 долларов.

На призыв округлить вырученную сумму откликнулся под общие одобрительные возгласы молодой человек.

Мне объяснили, что все 1000 долларов — это чистый доход, так как разыгрывались в лотерее подарки, которые поступают время от времени от родителей учеников. Путёвка в Майами — это был самый дорогой выигрыш.

Один из главных устроителей обеда доволен был результатами. 1000 долларов для школы, как он сказал, это — хорошая выручка.

Мне всё это было внове. Я проникся уважением к тем, кто организовал в пользу школы обед, кто продавал и кто покупал лотерейные билеты.

Родина — мать, чужбина — мачеха. Эта старая пословица выстрадана людьми с горькой судьбой.

* * *

В Оттаве, узнав, что мы писатели, нам показали советский журнал «Отчизна» (1977, № 4) со стихами Сергея Зубарева. Из журнала узнали, что Зубарев живёт в Торонто, издал за свой счёт сборник стихов на русском языке. Одно из стихотворений посвящено матери:

Рассвет, как видно, не забрезжит:
Глухая ночь в моём окне,
И в эту ночь всё реже, реже
Приходишь ты на память мне.
Когда ж из светлого былого
Твой образ предо мной всплывёт, —
Застрянет, дрогнув, в горле слово
И что-то к сердцу подойдёт…

…Чужбина — мачеха. И образ матери в этих стихах сливается с образом родины. И мать и родина — образы из светлого былого.

— В Канаду я попал в середине двадцатых годов. Работал за десять долларов в месяц. Был случай, когда три дня ничего не ел… Работал и за пять долларов, — рассказывает Никифор Сидорчук, торговец скотом.

— А чем вы торгуете? — спрашивает Никифор, увидев у меня записную книжку с надписью на обложке «Разноэкспорт».

— Хорошим настроением в хорошей упаковке.

— Товар редкий, но не ходовой, — смеётся Никифор и интересуется, как бы ему приобрести папиросы «Стамбул».

— Нет у нас таких папирос.

— А в двадцатых годах были. Сам курил, — говорит Никифор.

* * *

Монреаль, если судить по центральным, отнюдь не многоэтажным и не многолюдным улицам, производит впечатление небольшого городка, хотя до недавнего времени это был самый крупный город Канады.

Достопримечательность города — Олимпийский комплекс. Железо и бетон позволили зодчим воплотить свои замыслы в гигантских блоках, легко и изящно изогнутых, держащих самих себя и громадные строения комплекса. Олимпийские стадионы и олимпийская деревня хорошо смотрятся издали в час, когда начинает смеркаться, — видны силуэты и линии, свободно и дерзко прочерченные по синему полотну весеннего неба.

Мы подъехали близко к Олимпийской деревне и увидели, что громадные здания пустуют, — тоскливо и слепо смотрели на нас неосвещённые окна. Здесь никто не живёт. А ведь дом держится не на бетоне, не на фундаменте, держится на людях, которые в нём живут. Есть на эту тему афоризм у Арсения Тарковского: «Живите в доме — и не рухнет дом».

Участникам Конгресса переводчиков подарили тщательно упакованные в картон копии гравюры старейшего здания Монреаля, построенного в 1725 году, построенного ещё в 1725 году, — сказали бы в Канаде. Для армянина это молодое сооружение. Но когда вдоль берега нескончаемого Онтарио мы ехали из Монреаля в Торонто, я подумал, что для канадца наш великий Севан — маленькое озеро. Канада — это расстояния.

В поезде мы разговорились с красивейшей мулаткой. Вильгельм Левик, глядя на оригинал, сочинил по моему «подстрочнику» четверостишие:

Чёрное солнце, твой взор меня жжёт,
Белые женщины — стужа и лёд,
Губы мои обожгла ты огнём,
Жажда томит меня ночью и днём.

Мадлен (так звали мулатку) нисколько не удивилась, что мы заняты столь несерьёзным, как писание стихов, делом. Сама она работает на таможне и мечтает о высоком — хочет, чтобы всё в мире было заполнено великим искусством.

Живёт Мадлен в Монреале. В Торонто едет к родителям. Часто она бывает у родителей, но Ниагарский водопад ещё не видела — не было случая, а специально добираться от Торонто до Ниагары (мы ехали на машине немногим больше часа) накладно.

* * *

Думая о Ниагаре, современный армянин не может не вспомнить стихи Ованеса Шираза:

Как обвал, устремившись дорогой крутою,
Ты навеки поссорилась с высотою —

Ниагара! Ты рвёшься к желанной свободе —
Воплощение гнева в бессмертной Природе.

Пусть и рёв и стремленья твои бесполезны,
Слишком ты велика для открывшейся бездны…

Но грозу твоей страсти и пены кипенье
Я в груди ощущаю в часы вдохновенья.

Александр Гитович, автор этого перевода, не был доволен своей работой, говорил, что стихи не почувствовал. Пропала магия оригинала. Но и по переводу видно, что у Шираза — другая Ниагара, это, я бы сказал, армянская Ниагара, перенесённая в армянские горы, и поссорилась она с армянскими высотами. Шираз писал о Ниагаре, но видел Армению: узкие каменные пропасти и в каменных тисках кипящие горные речки. А Ниагарский водопад — это широко разлившаяся река. Течёт она просторно и уверенно. Ничто не стесняет её движения. Перед самим падением вода кажется даже остановившейся, застывшей — белая лава с зелёными прожилками.

Ниагара — это неожиданность: широкое движение воды вдруг обрывается. И там, где обрывается движение, спокойная уверенность контрастирует с падением. Нога, ступавшая твёрдо, вдруг проваливается… Воистину, как говорил но другому поводу Г. Р. Державин,

Не жизнь ли человеков нам
Сей водопад изображает?

Всё рушится! Где-то невидимо внизу всё поглощается бездной. И только облако белой водяной пыли неподвижно стоит в громадном провале. Лучи солнца проходят сквозь призму серебряного облака и чуть поодаль, где вода вновь обретает спокойствие, образуют радугу — полукруг умиротворения.

Ниагара — это трагедия, увенчанная радугой.

Падающая вода кричит. Крик оглашает (и оглушает!) окрестность. Воздух дрожит от рёва.

Собираясь на Ниагару, я взял с собой магнитофон. И сейчас в Ереване слушаю запись — грохот непрерывного обвала. Грохот обрушивается на грохот — и я слышу, как нарастает скорость, слышу падение… Ниагара — неотвратима.

Магнитофонная лента запечатлела также наши голоса, наш разговор:

— Подтверди, пожалуйста, что этот вот шум и есть шум Ниагары.

— Торжественно под присягой подтверждаю, что мы стоим на берегу Ниагарского водопада, слушаем его шум и наши лица мокры от брызг…

— И сияют. Лица наши сияют…

— Смотри, как много чаек. Значит, тут много рыбы. Значит, с такой высоты…

— Чайка видит.

— Во-первых, видит чайка, во-вторых, рыбы тут не погибают. Много воды, и они не разбиваются, когда падают.

— Они плывут себе как ни в чём не бывало.

— Живут, как рыбы в воде.

Ниагара обрушивается и впечатляет сразу. Но об этом мы не говорили.

* * *

Смотрели в Монреале нашумевший фильм Федерико Феллини «Казанова». Зал пустой. Мы с Левиком насчитали кроме нас ещё семь человек. Правда, сеанс был дневной, но всё равно — зрителей мало.

«Казанова» — сложный фильм. Живопись ленты гениальная. Усложнена символика. Мы с Левиком прочли перед фильмом высказывания Феллини о «Казанове». Это нам по-

могло понять авторский замысел. Фильм — не исторический. Феллини говорит, что он прочёл мемуары исторического Казановы и был страшно разочарован: «Какое несчастье! Что у меня может быть общего с таким типом? Он не художник, он никогда не говорит о природе, детях, собаках — ни о чём…»

В интервью, данном Жоржу Сименону, Феллини постоянно подчёркивает, что он сделал фильм о пустоте существования, о человеке, который постоянно играет, забывая жить по-настоящему.

«Казанова» — это жизнь, прожитая всуе. В конце фильма больные красные глаза старика Казановы, показанные крупным планом (видны склеротически набухшие вены), как бы вопрошают: «Что же произошло? Где жизнь?» Было много женщин, но жизни не было. «В конце концов Казанова, сам ставший марионеткой, механически погружался в безысходное созерцание своего мира, населённого одними женщинами», — замечает Феллини.

Самые нежные слова говорит герой фильма кукле: «Я тебя долго искал, и вот я с тобой. Разве можно тебя сравнить с ними. Ты — рай…» Живые женщины были для него куклами, а он был исправно работающим механизмом. Один лишь раз проснулся в нём человек, и это случилось тогда, когда он полюбил куклу… Но женщина — не кукла. И мужчина — не механизм. (Казанова ходит на любовные свидания с ящиком, в который упакован заводной музыкальный механизм с танцующей птицей. В самые ответственные моменты птица подпрыгивает под звуки музыки, хлопает крыльями и воодушевляет Казанову.)

«Казанова» — фильм многозначный и многоплановый, поэтому нельзя замысел Феллини свести к какой-то определённой идее. Но одна главная идея — жизнь Казановы не состоялась — проходит через весь фильм. И эта идея современна.

* * *

В Монреале даже человеку приезжему нетрудно заметить, что люди, и особенно молодёжь, ищут в жизни нравственные и философские опоры. Мы видели, как на улице группа верующих читала вслух Евангелие и призывала прохожих любить ближнего. Мы были свидетелями уличного шествия проповедников одной из разновидностей индуизма. Молодые люди в индийских национальных костюмах блаженно улыбались и раздавали прохожим брошюрки, рассказывающие о смысле и назначении Мантра Хара Кришны. Оказывается если произносить и слушать внимательно нижеследующую Мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама и т. д., то можно:

освободиться от нервных состояний, порождаемых современной техникой,

приобрести идеальное лекарство против отравлений сигаретами, алкоголем и всякими медикаментами,

расширить сознание,

решить духовные проблемы,

обрести веселье и внутреннюю гармонию…

Конечно, никакая Мантра не решит всех этих проблем, но это проблемы, действительно волнующие канадскую молодёжь.

В Монреале, как нам рассказывали, было много хиппи. Сейчас их стало меньше. В районе старого Монреаля мы видели бродячих артистов. Они давали представление — стремительно неслись по кругу на одноколёсном велосипеде, показывали фокусы… А один из артистов обходил зрителей с протянутым сачком и собирал мелкую монету… Здесь же, в старом Монреале, популярны дешёвые пивные. Желающих посидеть в пивной так много, что даже проходы сплошь заставлены узкими столами. В углу — небольшое возвышение, нечто вроде сцены, на котором сидит молодой человек и поёт. Стоят два микрофона —

один плотно прижат к губам певца, другой — к гитаре. Иногда гитара используется как барабан: певец стучит кулаком по гитаре, отбивает ритм и поёт. Аудитория — совсем молодые юноши и девушки — в такт музыке аплодирует певцу и подпевает ему…

Подобных пивных много — и всюду очереди.

В Монреале я увидел странные украшения — золотые лезвия (размер и форма точно воспроизводят лезвия, которыми бреются). Носят лезвия на цепочках как мужчины, так и женщины. Носят, как носили кресты.

Золотое лезвие-украшение (висит оно на шее, у самой глотки) должно, очевидно, обострить притупившееся чувство жизни у богатых людей. А разве мода на «старые», «залатанные» и «вылинявшие» джинсы и юбки возникла отчасти не по той же причине? Предприимчивые дельцы стали производить «поношенные» джинсы, и они стоили дороже новых — считалось, что «старьё» стимулирует ощущение жизни. Но всё это уловки наивные и напрасные. Полнота жизни или есть, или нет её. Искусственно жизнь не культивируется.

* * *

— Бездуховность — болезнь века. Болезнь надо лечить. И многое можете сделать вы, переводчики, — говорил на одном из приёмов в честь делегатов конгресса ФИТ представитель монреальских властей, а я в это время объяснял своей соседке, канадской переводчице, стихи Бориса Слуцкого:

Как в Индию зерно для голодающих,
Перевожу правдивых и дерзающих…

Мы переводим, и мы перевозим из языка в язык культуры и страны. «Чтобы перевести “Приключение Алисы в стране чудес”, надо перевезти всю Англию», — так выразился русский переводчик Льюиса Кэрролла.

Мы переводим, и мы часто встречаемся с такими трудностями, что говорим о невозможности перевода. Иное произведение действительно невозможно перевести. Но сотрудничество культур и народов всегда возможно. И мы переводим. Мы перевозим.

— Я хочу поклониться собравшимся здесь переводчикам. Они работают, и непонятное становится понятным, — сказал Феликс Кузнецов, руководитель нашей делегации. — Вдумайтесь в эти слова — непонятное становится понятным…

Ещё в Москве, перед вылетом в Монреаль, Кузнецов показал мне свежий номер «Литературной газеты» от 11 мая. (Вылетали мы 12-го). В газете был опубликован указ о награждении В. В. Левика за заслуги в развитии советской литературы орденом Дружбы народов.

Вильгельм Левик — переводчик немецкой, французской и английской поэзии. Он развивает своими переводами литературу оригинальную, он — писатель. И это не литературоведческий комментарий к указу, но положение, закреплённое в самом указе, где сказано: награждён писатель Вильгельм Левик.

— Хорошо бы так и начать своё выступление на конгрессе, — решаю я. — Ведь и самый орден Дружбы народов так точно, так полно выражает общественную суть работы переводчика. Не случайно ещё один член нашей делегации — белорусский переводчик Иосиф Семежон — награждён этим орденом.

Один из юмористов как-то сказал, что жизнь — это вопрос времени. Переводы — это тоже вопрос времени. Переводы стареют, выходят из употребления. У каждой эпохи — свой Шекспир. А Шекспир, как известно, это прежде всего переводы… Мне хотелось, в частности, сказать в своём выступлении, что ФИТ может организационно способствовать появлению новых переводов.

В перерыве между заседаниями мы разговорились с английским переводчиком Эвалдом Осерсом.

— В научных книгах на английском языке пишут, что есть старая армянская поэзия, пишут, но никто не знает, что это за поэзия, — нет переводов, — сказал Осерс, и мы с ним договорились, что я пошлю ему подстрочники некоторых средневековых армянских лириков и он попробует переложить их на английский язык.

Осерс был героем конгресса — он получил премию Натхорста (5 тысяч шведских крон), присуждаемую раз в три года по решению ФИТ. Одна премия присуждается за заслуги в области художественного, другая — за успехи в области технического перевода.

На Монреальском конгрессе Совет по художественному переводу при Союзе писателей СССР был принят в ФИТ. Вступление советских переводчиков было событием, желанным для членов и руководства ФИТ. Об этом говорил на закрытии конгресса президент ФИТ Пьер-Франсуа Кайе.

На конгрессе (хотя была заявлена одна общая тема «Перевод — это профессия») обсуждался широкий круг вопросов, поэтому разнообразной была тематика докладов. В секции технического перевода долго дискутировали по вопросу, каким должно быть образование технического переводчика — техническим или филологическим. Оратор из Нидерландов говорил, что в связи с приливом рабочей силы в Нидерланды нужны устные переводчики, которые бы помогли иммигрантам устроиться на работу… Бельгийский теоретик доложил о результатах своего исследования на тему: вступление Англии в Общий рынок и влияние английского языка на языки стран Общего рынка… Широкий интерес вызвал доклад Павла Топера о специфике художественного перевода, о том, что переводчик творит новую культурную ценность в новых условиях — языковых, национальных, социальных, исторических и т. д.

Много внимания было уделено творческим отчётам национальных организаций. Ораторы (и особенно наши словацкие, польские и болгарские друзья) стремились показать, что нового и интересного в их странах в области теории и практики. А японская делегация продемонстрирована, помимо всего, церемонию приготовления чая. Японские женщины в национальных костюмах долго священнодействовали, не варили чай, а колдовали. Меня удивила заварка — зелёный порошок, не порошок, а пудра… Две девушка-японки Чиеко и Хумико (их движения и взгляды выражали кротость и смирение) разносили чай. Они были заняты важным делом. Не так просто сварить чай, но и поднести его не так просто. Необычен чай на вкус — словно он заварен из только что собранных душистых листьев. Чай был горячий, но во рту осталось ощущение прохлады, приятной, утоляющей жажду прохлады…

И вся поездка в Канаду — как глоток диковинного напитка: глоток Ниагары…

Эти свои заметки хочу завершить так, как завершил своё выступление на конгрессе.

В нашей Краткой литературной энциклопедии приведены слова канадского писателя Я. Дейвиса: «Если вы смотрите в будущее, не теряйте Канады из поля зрения». Эго хорошие слова. Мы действительно смотрим в будущее, и мы хотим, чтобы будущее Канады было светлым. Чтобы оно было счастливым.

1977

Ветка кизила

Вот и София… Декабрь выдался снежный. Ласково и щедро падают-летают большие белые хлопья.

— У болгар есть такое поверье: идёт снег — это значит бог взбивает свои небесные подушки.

Весь день 8 декабря и до поздней ночи бог на радость болгарским студентам весело взбивал подушки — студенты праздновали свой традиционный день. В нынешнем году праздник особенный — Софийскому университету имени Климента Охридского 90 лет. Охридский — один из прославленных учеников Кирилла и Мефодия. В сквере напротив университета открыли накануне студенческого праздника памятник Охридскому. Скульптор изобразил просветителя во весь рост, с высоко поднятыми руками, держащими по факелу. Благородные формы камня, серого гранита, хорошо передают лёгкость ниспадающего одеяния — фигура движется. Сухое, тонкое лицо, отлитое из меди, устремлено вперёд, выражает сосредоточенность и волю. Скульптура стоит на невысоком постаменте почти вровень с землёй: создаётся ощущение интимности.

— Охридский заслуживает настоящего, большого постамента.

— Истинно большому человеку подходит и маленький постамент.

— Надо просто привыкнуть к скульптуре, — спорят студенты. С некоторыми из них я успел познакомиться — читал им лекцию о критериях оценки художественного перевода.

* * *

Болгарские студенты, как и всюду, народ любознательный, интересный. Со студентами Софийского университета мы поехали на Витошу, смотрели с её высот город, слушали блаженное молчание горного леса. Снег да ржаво-коричневые ветви деревьев словно бы стерегли пугливую тишину гор.

— Человек может восстановить связь с природой через тишину. Надо, чтобы была тишина, живая тишина лесов, полей, звёзд… И человек услышит природу, она откроется ему, она его примет, как блудного сына…

— Когда я ещё училась в школе, зимой, как только выпадал первый снег, мы любили играть в Андрея Болконского — ложились на снег и смотрели на небо, — сказала Кина Стоянова.

— Разве это игра? Князь Андрей был ранен. Толстой его лечил небом.

— Природа лечит.

— Природа и стихи, — улыбнулась Кина Стоянова и прочла стихотворение Пейо Яворова:

Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи, музика — лъчи.
Не искат и не обещават те.
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли!..

Меня удивила звукопись. Мне вдруг открылся музыкальный смысл редуцированных гласных. Слово «лъчи», произнесённое с некоторой задержкой, что ли, диссонировало и разнообразило музыку…

Корней Чуковский показывал в своей «Чукоккале» чистую страницу и говорил, что Шаляпин смотрел на эту страницу и пел, что на этой белой странице — голос Шаляпина. И там,

на Витоше, на белых её вершинах, запечатлелись стихи Яворова, музыка болгарского слова…

* * *

Пейо Яворова читает вся молодая Болгария. Его знаменитое стихотворение «Армяне» знают все.

— Вы из Армении? — спрашивают в Болгарии и говорят о стихотворении Яворова «Армяне».

Это стихотворение — пароль любви и братства.

— Вы из Болгарии? — спрашивают в Армении и говорят о стихотворении Яворова «Армяне». Могут показать в Ереване школу имени Яворова и памятник поэту перед школой.

В самолёте я разговорился с пожилой женщиной, армянкой из Пловдива:

— Болгары — это такие люди, такие люди, знаете, как русские… Мы в Пловдиве ходим и в армянскую церковь, и в болгарскую…

На древних улицах Пловдива, сохранивших архитектуру живой старины, красочные афиши оповещали о том, что пловдивцы отпраздновали 150-летие вхождения Восточной Армении в состав России.

В Софии в редакции армянской газеты «Ереван» мне говорили об успехах болгарской экономики и культуры. И конечно же речь зашла о Яворове. Заместитель главного редактора газеты Каро Айрапетян читал выдержки из книги Николы Инджова «Высоты и подножия» (книга целиком посвящена Армении, её истории, культуре, экономике).

— Написано в традициях Яворова… Надо, чтобы о книге узнали в Армении, надо активнее развивать культурные связи, — горячился Айрапетян.

В Софии я побывал в Музее Яворова. Но ещё прежде в Софийской картинной галерее видел портрет Яворова работы Ц. Тодорова. Запомнились глаза — грустные-грустные. В глазах — вся скорбь земли. Тот же глубокий, задумчиво-горестный взгляд передал в камне скульптор Ив. Блажов — памятник стоит перед Домом-музеем.

Аз не живея,
аз горя, —

писал Яворов. И он сгорел, чтобы другой, очищающий и возрождающий огонь его поэзии пылал в сердцах его соотечественников.

* * *

Слово по-болгарски — дума. Меня это удивило, и, смешивая болгарское с русским, я пробовал обнажить первоначальный смысл болгарского «думи». Без «думи» нет и не может быть слова. Слово — это суть «думи». Древние это понимали и называли слова думами. Слова — как бумажные деньги. Чтобы не было инфляции, они должны обеспечиваться думами, как золотом.

Я поведал об этих своих произвольных «думах» Валерию Петрову. Знаменитый поэт и знаменитый переводчик Шекспира поделился со мной одним своим любопытным наблюдением.

— Я читаю и научные издания оригиналов Шекспира, и издания для широкого читателя. Порой меня удивляют примечания к массовым изданиям. Пишут, что так надо понимать такое-то слово. А слово это так и понимается мною, так как для меня слово не утратило свой древний смысл, — я изучал язык времени Шекспира. Но для массового английского читателя старый смысл слова, очевидно, утерян.

Петров перевёл на болгарский язык почти всего Шекспира — работал 15 лет. Сейчас он переводит «Хроники». Известный болгарский режиссёр Григор Азарян завершает постановку «Короля Лира» в новом переводе Петрова. Он очень увлечён работой, изучил богатейшую сценическую историю «Лира». Мы с ним встретились (молод, в его поджарой фигуре, в больших ладонях длинных рук, в его живых глазах — напористость и движение) и вспомнили, какие резкие оценки дал «Королю Лиру» Лев Толстой, вспомнили остроумное замечание Михоэлса о том, что сам Толстой кончил свою жизнь, как король Лир.

Валерий Петров говорит, что мы, естественно, не можем разделять крайние оценки Толстого, но в наследии Шекспира, действительно, не всё равноценно. То, что в Шекспире он очень любит, что ему очень близко, он бы хотел дать в виде диалогов друзей Шекспира, знакомых ему и незнакомых актёров, которые пришли навестить больного Шекспира, и речь, естественно, зашла о его драмах…

— Не всё, что переводишь, остаётся, — размышляет Валерий Петров и рассказывает о двухтомной греческой антологии на болгарском языке, о том, что в его памяти остался из этой антологии один поэт Константин Кавафис — он стал реальностью болгарского языка.

Мы с Петровым встречались в Ереване и теперь в Софии продолжили разговор о том, что, куда бы человек ни ехал, он едет в свою страну. В поездках мы ищем себя…

* * *

Много общего в судьбах болгарского и армянского народов. В Болгарии я это ощущал на каждом шагу. И прежде всего общность — в той роли, которую сыграли русские люди в исторических судьбах народов болгарского и армянского.

«Патриарший Кафедральный собор святого Александра Невского: этот храм-памятник воздвигнут всем болгарским народом в память 200 000 русских воинов, павших в 1877 — 78 гг. за освобождение Болгарии от османского ига.

Поклон перед их светлой памятью».

Я переписал эти слова, начертанные в знаменитом Софийском храме, поклонился светлой памяти воинов и, будучи атеистом, поставил всё-таки свечу в благодарность русским, освободившим Болгарию и Армению.

Наши страны корнями своими уходят в древность. Цивилизации, как люди, стареют и оказываются погребёнными. Мы ходили по улицам Софии с Любомиром Павловым, образованнейшим человеком, переводчиком классических литератур. Он мне объяснял древнейшие строения, обнаруженные при постройке подземных переходов, читал греческие надписи на тысячелетних камнях. В Пловдиве мы стояли над полукругом амфитеатра, частично так и не раскопанного. Ангел Тодоров, известный поэт, редактор журнала «Болгаро-советская дружба», председатель Союза переводчиков, рассказывал, что на территории нынешней Софии торговали в древности книгами.

— Книги тиражировались. Один раб читал, а сто рабов переписывали. Это были грамотные рабы…

— А какие это были книги! Если книга тиражируется переписыванием, то рукопись должна быть поистине выдающейся.

— Это были такие рукописные книги, какие хранятся в вашем Матенадаране…

Разговор всё время касался культуры болгарской и армянской. В армянской газете «Ереван», издающейся в Софии, я прочёл (в номере от 8 декабря) заметки вице-президента ФИТ — Международной федерации переводчиков, секретаря Союза переводчиков Болгарии Анны Лиловой, заметки о недавнем Международном симпозиуме теоретиков перевода, состоявшемся в Москве и в Ереване. Лилова писала, что Месроп Маштоц и его ученики-переводчики в становлении культуры Армении, Кирилл и Мефодий в становлении культуры Болгарии сыграли аналогичную роль.

Нас роднит многое, нас связывает сегодняшний день.

* * *

У нас дома (в архиве родителей жены) хранилось письмо Георгия Димитрова. Я вспомнил об этом письме в Доме-музее Димитрова, в музее, где так богато представлены документы болгаро-советского братства. Вернувшись в Ереван, я никак не мог отыскать его, оно затерялось в бумагах. И вот теперь случайно найдено. Адресовано письмо работникам Арменкино и написано вскоре после Лейпцигского процесса.

«Дорогие товарищи.

Я и мои товарищи по процессу горячо благодарим рабочих и творческих работников Арменкино за их приветствия по поводу нашего освобождения. Пусть новая победа трудящихся СССР, могучий голос которых остановил занесённую над нами руку фашистских палачей, ещё более вдохновит нас на дальнейшую борьбу за освобождение всех пленников германского и австрийского фашизма, и в первую очередь — вождя германского пролетариата тов. Тельмана.

Я сердечно благодарю вас за то, что вы объявили себя ударной группой им. Димитрова, и вижу в этом новое проявление глубочайшей солидарности трудящихся СССР с германскими рабочими, борющимися против диктатуры буржуазии.

Желаем вам дальнейших успехов на производственном фронте.

Да здравствуют работники кино — этого могучего орудия агитации, пропаганды и социалистического воспитания борцов за дело мировой революции!

С товарищеским приветом

Георгий Димитров».

Письмо машинописное, без даты. На выцветшей бумаге подпись Димитрова тушью, внизу штамп с пометкой: «Получено 1 апреля 1934 года». Написано письмо где-то в марте, после приезда Димитрова в Москву. Можно представить радость, творческий энтузиазм работников Арменкино. Письмо Георгия Димитрова было в их жизни событием…

* * *

Я общался с болгарскими переводчиками и теоретиками перевода, общался с поэтами известными и начинающими. «Неразделённая любовь — удел евнухов», — читала молодая красивая поэтесса. «Неразделённая любовь — удел поэтов», — поправляли её друзья. Но она была мила, хороша собой и настаивала на своём.

Секретарь Союза писателей Болгарии Лучезар Еленков говорил о расширении международных литературных связей, рассказывал, в частности, о турецком прозаике Демирташе Джейхуне, который в результате поездки по Болгарии написал книгу, хорошую, дружественную книгу… Когда речь зашла о тенденциях развития современной литературы, Еленков выразил удовлетворение тем, что поэты преодолевают соблазн писать громкие обличительные стихи о мещанах (не в том назначение литературы), а прозаики, пристрастившиеся к «маленькой правде», не имеют былого успеха…

Божидар Божилов рассказывал о своей многолетней работе над большим однотомником Николая Заболоцкого.

— Я усложнил себе задачу тем, что поставил себе целью сохранить формы русского стиха, сохранить архаизмы лирики Заболоцкого. Некоторые архаичные слова можно не переводить…

О проблемах художественного перевода мы говорили с Сидером Флориным и Цветаной Узуновой-Калудиевой. Спорили о том, как передавать имена собственные. Например,

немецкое Элеонор и по-русски и по-болгарски принято писать и произносить Элеонора. Лишнее «а» указывает в данном случае на женский род. Помните у Сельвинского:

Я говорю: «пошёл», «бродил»,
А ты: «пошла», «бродила».
И вдруг — как будто веяньем крыл
Меня осенило!
С тех пор прийти в себя не могу…
Всё правильно, конечно,
Но этим «ла» ты на каждом шагу
Подчёркивала: «Я — женщина!»

И всё равно болгарские теоретики пришли к выводу, что надо писать Элеонор. Привилось же Элизабет (Тейлор)…

В Болгарии работает плеяда талантливых практиков и теоретиков перевода. Работы Сидера Флорина и Сергея Влахова о реалиях приобрели добрую известность за пределами Болгарии.

— Сидер Флорин и Сергей Влахов сами стали реалиями, — шутили друзья.

* * *

Рано, уже в первой половине декабря, появились в Болгарии любовно выписанные новогодние поздравления: «Честита Нова година». Пишут, как правило, начальные буквы «ЧНГ». На улицах и площадях предновогодней Софии целые фейерверки из «ЧНГ», осыпанных серебром и золотом, блистающих весёлыми праздничными красками…

Кина Стоянова показала мне сурвачки — кизиловые ветки, украшенные яркими лентами, пряниками, орехами, бубликами… С такими сурвачками ходят подростки и молодёжь на Сурвакане — церемонию поздравления с Новым годом:

…Сурва, сурва година,
До година, до амина!

Кизиловое дерево по болгарским народным представлениям символизирует пробуждение земли, надежду на урожаи, на хлеб, на здоровье…

Я привёз из Болгарии ветку кизила, взял её на счастье.

На кизиловой ветке уже в декабре пробиваются почки…

1978

«Во-первых, любить друг друга…»

Монгольское нашествие — далёкое прошлое. И всё же, когда едешь в сегодняшнюю Монголию, эта тема возникает сама собой. Она даже придаёт поездке дополнительную остроту, что ли.

О монгольском нашествии существует в Армении богатая литература. Писали очевидцы[1]. Понятное дело, они рассказывали о бедствиях, постигших страну. Но есть в их книгах страницы, о которых я хотел поведать монгольским друзьям. Например, в предании,

[1] См.: Всеобщая история Вардана Великого, пер. Н. Эмин. М., 1861. История монголов инока Магакии (Григора Акнерци), XIII века, пер. и объяснения К. Патканова. СПб., 1871; История Монголии по армянским источникам, вып. I. СПб., 1873, вып. II. СПб., 1874; Армянские источники о монголах. Извлечения из рукописей XIII — XIV вв. Пер. с древнеарм., предисл. и примеч. А. Г. Галстяна. М., 1962; Гандзакеци Киракос, История Армении, пер. с древнеарм., предисл. и коммент. Л. А. Ханларян. М., 1976.

которое находим в книге Григора Акнерци (Магакии). Златокрылый орёл сообщил Чингису божественные законы: «Во-первых, любить друг друга; во вторых, не прелюбодействовать, не красть, не лжесвидетельствовать, не быть предателями, почитать старых и нищих». Или о том, что, по свидетельству Киракоса Гандзакеци, монголы «одну и ту же пищу подавали как господам, так и слугам». Он же, Гандзакеци, составил в XIII веке словарик монгольских слов: «Бога они называют тангри, человека—эрэ, аран, женщину — эме, апджи, отца называют эчка, мать — ака, брата — ага, сестру — акатчи, голову — тирон, глаза — нитун…» и так далее.

Когда в Улан-Баторе мы познакомились с Наран, внучкой великого Сухэ-Батора, я уже знал по словарику Гандзакеци, что Наран по-монгольски — это солнце. Я ей сказал, что имя её известно в Армении с XIII века, а она открыла мне семейную «тайну»: «Моя внучка по отцу армянка. Она наша любимица…»

Друзья, приехавшие к друзьям, говорили о дружбе. Эта тема была заглавной в поездке по Монголии. Она возникла и на монголо-советском симпозиуме, посвящённом проблемам теории и практики художественного перевода.

Симпозиум состоялся в Союзе монгольских писателей. На столе — блокноты для записей и наша армянская минеральная вода «Джермук».

Участники симпозиума говорили профессионально и интересно. Я записал сведения о монгольских переводах XVII — XVIII веков. «В истории старомонгольского перевода, — сказал Д. Дашдаваа, — видное место занимают переводы буддийской энциклопедии канонического характера «Ганжуур» (108 томов содержат 1161 произведение) и «Данжуур» (226 томов содержат 3427 произведений). Переводы осуществлены с тибетского».

Дашдаваа рассказал о тибетско-монгольском терминологическом словаре «Источник мудрецов» (1741). Во вводной части словаря — «Пармита» — сформулированы некоторые вопросы теории перевода. Различали следующие типы переводов:

дуун — дословный,

утга — вольный,

чиг — прямой,

тонгорогсон — обратный…

Ц. Хасбатар, председатель секции монгольских переводчиков, начал с того, что сказал: «Переводчик — это Флобер». Очевидно, должность обязывала его уяснить для себя, кто такой переводчик. Говоря о Флобере, он, должно быть, имел в виду известное признание Флобера: «Описывая смерть от отравления Эммы Бовари, я в такой сильной степени ощущал во рту вкус мышьяка и я сам чувствовал себя до такой степени отравленным, что два дня кряду отказывался от обеда».

Переводчик, как и писатель, должен жить и умирать вместе с героями книги, которую он переводит, которую, я бы сказал, он пишет. Воистину, переводчик — это Флобер.

За «круглым столом» симпозиума я встретил своего давнего друга М. Цэдэндоржа. Мы с ним встретились в августе 1966 года в Ереване.

— Я перевожу стихи или прозу, если произведение мне очень нравится, если я хочу рассказать об этом произведении своим друзьям, своим соотечественникам. Перевод — это книга, которую ты полюбил и о которой ты рассказал своему читателю, — сказал Цэдэндорж.

Одна из таких полюбившихся ему книг — «Мой Дагестан» Гамзатова — вышла в свет в его переводе в дни симпозиума…

Вспоминали мы с Цэдэндоржем Армению 1966 года. Прошло много лет, а поездка ещё не забылась. В первом номере монгольского журнала «Искусство» за 1980 год опубликованы заметки-воспоминания Цэдэндоржа об Арутюне Галенце, в мастерской которого он был в 1966 году. После поездки Цэдэндорж написал цикл стихов об Армении:

— Очень хорошие стихи. Очень! — говорит Джамба, дядя Цэдэндоржа. У Джамбы, известного в Улан-Баторе экономиста, сын Сонинбаяр учится в Ереванском университете, изучает математику. — Об Армении наша семья знает всё, — заверяет меня Джамба. — Это ваша площадь, а это университет, здесь вот общежитие, где живёт мой сын, — показывает мне Джамба фотоснимки.

Цэдэндорж принёс мне свои записи 1966 года. Тогда, в августе, мы с ним ездили в село Айгезард Арташатского района. Нас принимали председатель колхоза Саркисян Амаяк Мхитарович, директор школы Мирабян Аник Мкртычевна, её муж Григорян Рафик Айрапетович, колхозник. Вместе с нами ездил в село сотрудник Арташатского райкома партии Вартанян Мушег Мгерович. Все эти забытые мною имена я прочёл в блокноте Цэдэндоржа. Он очень интересовался, не знаю ли я, как теперь живут, что теперь делают его айгезардские друзья. Спрашивал Цэдэндорж о Бэлле, девушке, которая в его блокноте записала стихи Егише Чаренца «Девушка, как абажур, голубая, с глазами мадонны…». Стихи на армянском.

— Я их не могу прочесть, — говорит Цэдэндорж. — Но всегда смотрю на эти страницы и вспоминаю, как эти стихи читала Бэлла.

В Улан-Баторе, в буддийском монастыре Гандантэгчинлин я узнал, что можно всё-таки прочесть текст, если даже ты не разумеешь чужие письмена или вовсе неграмотен. Правда, это не простые тексты, а молитвы.

Во дворе монастыря стоят под навесом жестяные барабаны разных размеров. Они вращаются, в них, как уверяют, заложены молитвы. Если неграмотный буддист крутит справа налево эти самые барабаны, то крутятся во чреве барабанов и молитвы, а это всё равно, что ты их прочёл. Барабанов много, я видел, как буддисты крутят их один за другим. Это у них всё равно что свечку поставить. На барабанах приклеены бумажки с именами усопших. Из одной такой бумажки я узнал, что 5 мая 1980 года преставился некий Б. Амжав. Я был в Улан-Баторе в середине июня. Больше месяца, как я понял, крутят барабаны — молитвы с именами Амжава. И не только они, буддисты. Крутят туристы. И все они всякий раз как бы молятся за упокой души Амжава.

Интересно, кем он был, этот самый Амжав, как он жил-ладил с этим миром? И почему я вдруг подумал об этом человеке, и существуют ли какие-нибудь связи между людьми, никогда друг друга не знавшими?

А вообще весь мир и всё в мире взаимосвязано.

О край мой, золотое гнездо моё, здравствуй!
Ты ли это, земля моя, где я родился и вырос? —

поют казахи Монголии. Такие же песни поют армяне… Казахи живут в Баян-Ульгийском аймаке, что значит Богатая Колыбель. Расположен аймак в самой западной части Монголии, на Монгольском Алтае. Вместе с казахами здесь живут халки, дурваты, уринхайцы, тувинцы, торгуны… Мы прилетели сюда на Дни монгольской литературы. Наш «Ан-24» взлетал и садился прямо на поле, не было ни взлётных полос, ни посадочных площадок — одна лишь жухлая трава. К скотоводам прилетели лучшие монгольские писатели. И с ними — гости из Советского Союза: прозаик Валерий Поволяев, поэт Алексей Марков, переводчица с монгольского на русский Галина Яскина… Мы были в аймачном центре Ульгий и в трёх сомонах: Дэлун сомон, Толбо-Нур, Сагсай сомон. Нас принимали монгольские скотоводы.

— Писательское перо и палка чабана — одно и то же: и чабан, и писатель погоняют, — сказал первый секретарь Союза монгольских писателей Д. Цэдэв.

Сравнение — характерное. Там, где живут скотоводством, палка чабана — мерило всего.

— Общественное богатство — это и материальное, и духовное, — заметил в ответ Б. Хурметбек, первый секретарь райкома партии. — Писатели принимают участие в создании ценностей и духовных, и материальных.

К встречам с писателями скотоводы готовились как к большому празднику. Союз монгольских писателей наградил грамотами победителей соцсоревнования в честь Дней литературы. Надо было видеть, с какой радостью, с каким волнением принимали араты грамоты и книги известных монгольских писателей с автографами. В местечке Барунсала (долина высоко в горах, окружённая могучими горными вершинами) скотоводы устроили в нашу честь состязания. На скачках первым пришёл милый мальчик со светящимися чёрными глазами и светящимся счастливым лицом, его зовут Самидола, и ему всего 9 лет. Грива его коня была украшена яркими бантами (банты — словно бабочки), а из длинного лошадиного хвоста мальчик любовно сплёл косички, много косичек. И лошадь не подвела мальчика, она пришла первой.

По-настоящему накалились страсти, когда всадники с силой выхватывали друг у друга чёрную шкуру козлёнка. Кокбар — так называется эта игра. Наиболее сильный и ловкий должен выхватить шкуру и ускакать от многочисленных преследователей…

Украшением праздника был могучий беркут. Он восседал на специальном деревянном устройстве. Глаза были закрыты тохмахом. Тохмах сшит из кожи и похож на корону. Он и надевается на голову беркута как корона. Беркут — царственная птица.

На празднике мы познакомились с чабанами. Орунбай, человек знаменитый на весь аймак, награждённый многими орденами, сказал нам:

— Я рад, что писатели преодолели такое большое расстояние и посетили нас. От себя лично, от своей жены, от своего помощника-чабана желаю вам добра и благополучия.

Эти слова Орунбая (ему 56 лет, выглядит молодо, глаза острые, понимающие) мне дороги своей простотой и бесхитростностью.

В сомоне Толбо-Нур я был гостем семьи Кызая. (Каждого из нас пригласили в одну семью, в одну юрту.) Юрты стояли в местечке Урт-Булаг, то есть Глубокий Источник. У Кызая и Халпаны (так звали хозяйку юрты) семеро детей: 4 сына и 3 дочки. Младшая — девочка, ей 2 года, старший — сын, ему 21 год, зовут Болат, учится в Софии третий год, будет экономистом. Невестка, жена Болата, Айдабирге, учится в Москве на инженер… Всё это приметы времени, приметы новой жизни.

Кызай и его семья — великие труженики. Он пасёт 500 овцематок (приплод — 480 ягнят). Кроме того, у него и свой личный скот: 14 яков, 12 лошадей, 35 овец и 3 козы.

Когда мы ехали в гости к Кызаю, а ехали мы несколько часов, дорогу справа перебежал заяц.

— Это хорошо, — сказала Наран. — Если змея ползёт, плохо, а заяц — хорошо.

Монголы носят дэли (национальные халаты). И если справа бежит добрый зверь, он как бы вбегает за пазуху — будет в доме удача, а если слева — удача уходит, зверь словно бы выбегает из-за пазухи.

Мне понравилось это старое монгольское поверье. Но в юрте Кызая я думал о том, что достаток в доме арата — это его каждодневный нелёгкий труд. Никакая удача так просто не вбежит за пазуху.

По долинам и бесконечным горным склонам Западной Монголии мы ехали на газике. Ни дорог тебе, ни автоинспекции. Наш газик был изрядно потрёпанный, но безотказный. Мотор работал даже тогда, когда выпадал из замка ключ зажигания, а ключ то и дело выпадал, так как газик трясло и бросало.

На этом самом газике мы приехали однажды вечером в ущелье Ухиэртэ и остановились в доме отдыха межкооперативных объединений. Мне показалось, что я нахожусь в Арзни, я видел здесь те же, что и в Арзни, безлесые, покрытые сухой, скудной растительностью

горы. А плакат в столовой Ухиэртэ «Минеральная вода лучше, чем лекарство» напоминал Арзни, арзнийские источники.

Каменные пейзажи Западной Монголии всё время напоминали мне Армению.

С ленинградским профессором Андреем Фёдоровым как-то мы поехали на Севан. День был светлый, солнечный.

— Отсутствие растительности, — заметил Фёдоров, — природа восполняет здесь игрою красок.

Надо было видеть игру красок в горах Западной Монголии. Это непередаваемо. Солнце гигантскими мазками окрашивало окрест горы и предгорья. Вершины имели не только свои очертания, но и свои цвета, целую гамму цветов, многообразно меняющуюся в зависимости от движения времени. Солнце играло красками.

Только здесь, в Западной Монголии, гор было много больше, чем в Армении, здесь, так сказать, Армении было больше…

А вот незадолго до поездки в Монголию друзья меня пригласили на Севан, на небольшой необитаемый остров. У меня было такое ощущение, будто я попал в какую-то другую страну и в другое время.

Остров на озере Севан неправильно было бы назвать необитаемым — здесь живут чайки, тысячи, десятки тысяч чаек. Там, где мы идём (нас несколько человек), чайки взлетают и тревожно, густо кружат над нами. Воздух сотрясают пронзительные крики… Вдруг мы увидели птенцов. Они прячутся и согреваются в расщелинах. Оперение у птенцов тёмное, мышиного цвета. Они сами как камни в камнях. Видели яйца, из которых, должно быть, вот-вот вылупятся птенцы. Яйца чёрные с пятнами. Поодаль стояли чайки, осанистые, рослые… У самого берега, в двух-трёх метрах, в складках зелёной волны — форель. Так близко к берегу рыба нигде в другом месте не подходит. Остров — голый (камень да известняк), поверхность неровная, изрытая. Кое-где растут кусты облепихи…

Это был кусочек незнакомой мне Армении, хотя на Севане я был и сто, и двести раз.

Как бы хорошо ты ни знал свою страну, всегда в ней отыщется островок, который ты не видел.

Монгольский Алтай напоминал мне Армению и оттенял Армению. Я никогда не видел у нас в горах верблюдов, хотя в старой Армении они были… Есть даже такая армянская песня о караване верблюдов, гружённом слезами… Я и не думал, что верблюды могут быть так грациозны. Я видел, как красиво и легко двугорбые верблюды неслись по долинам Западной Монголии. Ненавьюченные, они свободно паслись. И свобода украшала их.

Я сказал Явуухулану, моему другу, знаменитому монгольскому поэту, что монгольские поэты, должно быть, хорошо чувствуют цвет. Монголия — страна красок.

— Надо было поехать в Гоби, — ответил Явуухулан. — Там сейчас очень интересные миражи. Целые города видны… Таких миражей нигде нет.

Явуухулан хорошо говорил о миражах, так хорошо, что мне подумалось: миражи — это ведь тоже реальность.

В Сагсай сомоне (мы здесь жили в гостевой юрте, в юрте пять импортных кроватей, импортные шкафы, столы, на полу импортный ковролит) состоялось закрытие Дней литературы. На закрытии много было детей. Мы сидели под открытым небом в окружении гор. Нас слушали дети и горы. Дети — надежда. И горы — надежда.

Здесь, на закрытии, поэт и прозаик Чойжилсурен прочёл своё стихотворение «Армянское солнце», посвящённое Арамаису Саакяну.

Б. Явуухулан перевёл мне подстрочно стихотворение Чойжилсурена:

Армянское солнце одинаково согревает
Всю армянскую землю.
Но в летнюю жару величественно стоит

В вечной снежной шапке Арарат.
Мне кажется, в эту летнюю жару
Арарат вспоминает зиму…
И эти воспоминания окрашивают армянскую землю
В два цвета —
белый и зелёный…

Стихи мне понравились. Я подумал, что в такой стране, как Армения, воспоминания, должно быть, действительно окрашивают в нашей жизни, увы, очень многое. И если это так, то пусть наши воспоминания будут белыми и зелёными.

* * *

В Монголии я был в 1980 году. В 81-м умер мой друг Цэдэндорж, умер молодым, в 82-м внезапно скончался Б. Явуухулан, лучший лирический поэт Монголии.

Явуухулан был человеком неразговорчивым, молчаливым, и, несмотря на это, скорее даже благодаря этому, он был хорошим собеседником. В Монголии мы с ним сочинили беседу. Теперь эта беседа дорога мне как память о безвременно ушедшем друге.

Л. М. Какой совет вы могли бы дать молодому поэту?

Б. Я. Правильно выбрать свою будущую профессию.

Л. М. Но поэт, он уже выбрал.

Б. Я. Пока он молод, он должен проверить себя. В каждом человеке есть частица поэтического таланта, но не каждый может стать поэтом.

Л. М. Однажды в Индии мне сказали, что мир будет спасён, если каждый человек будет заниматься своим делом.

Б. Я. Действительно, в современном мире далеко не все занимаются своим делом… Очень важно, чтобы молодой человек, пробующий писать стихи, не ошибся, чтобы он выбрал себе такую работу, которая соответствует его способностям и может принести людям пользу.

Л. М. К сожалению, человек порой думает не о пользе, которую он может принести людям, а печётся о своей собственной выгоде и тем самым ступает на скользкий путь ошибок, делает то, чего не следовало бы. Надо человека укрепить нравственно. Никакая личная выгода не может оправдать недостойного поступка. То, что плохо для других, плохо и для меня!

Б. Я. Я с вами согласен. Но этого мало. Надо что-то делать, чтобы человек стал лучше, совершеннее. Этим, собственно, и занимается искусство. И в особенности самое передовое искусство — социалистическое.

Л. М. Могу ли я сказать, что вы только поэтому и пишете стихи?

Б. Я. Поэзия священна. Поэзия нужна человеку, его душе. Думаю, что и мои стихи нужны.

Л. М. Не могли бы вы назвать стихотворение, которое вам дорого? Это могут быть и ваши стихи, и стихи близкого вам поэта.

Б. Я. У каждого большого поэта есть хорошие стихи и хорошие мысли. Меня очень волнует стихотворение нашего классика Д. Нацагдоржа «Моя родина». Это песнь песней монгольской поэзии. Здесь всё сказано о человеке и о том, что значат для него предки, родная земля, родной пейзаж… Здесь предугадано будущее:

Национальный язык, которым ты овладел с детства, —
Это культура, которую ты никогда не потеряешь.
Земля, где ты живёшь, и будешь жить до гроба, —
Это родина, с которой ты никогда не расстанешься.

Л. М. Я, конечно, понимаю, что в этом подстрочном переводе разрушена форма стиха. Я слушаю эти стихи в вашем чтении и понимаю, что в оригинале каждое слово — стрела, попавшая в цель. И каждое слово звенит, как, например, монгольское орон — родина.

Б. Я. Эти стихи знает каждый монгол. А вообще я думаю, что поэта можно узнать по его патриотическим стихам, по стихам, где он говорит о самом сокровенном.

Л. М. По большому счёту это конечно же так. Но и «чистая» лирика имеет несомненное общественное значение. Не случайно ведь все мы симпатизируем, все мы предрасположены к тем из нас, чья душа открыта миру. Да и природа благорасположена к людям, умеющим жить и радоваться жизни.

Б. Я. Стихи пишутся от жизнелюбия. Поэтами становятся люди жизнелюбивые, остро, до боли чувствующие жизнь… А вот патриотическая лирика может быть и личной. Вспомним Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью…» И у Блока: «О Русь моя! Жена моя…» Всё, что пишет поэт, проходит через его «я», через его сердце. В конце 50-х годов я написал стихотворение «Где я родился». Критика, да и читатель отнеслись к стихотворению равнодушно. Оно казалось им слишком личным, слишком «моим». Тогда писали «обобщёнными» образами — небо, земля, горы, реки, степи… Я же попытался выразить свои мысли и чувства в раздумьях о том крае, где я родился и рос:

Я на свет появился владыкой реки светлорунной,
Где волна серебристая плещется полночью лунной, —
Пыль тяжёлых копыт омывали коням эти воды,
Когда предки мои возвращались из дальних походов!

(Перевод Л. Букиной)

Так я писал, так я чувствовал. Прошло время, и читатель мне поверил. Эти стихи сейчас поют, их знает монгольская молодёжь. «Где я родился»… И каждый думает о своей колыбели, о Монголии.

Л. М. В городе Кобдо мы с вами пошли в городской сад разыскивать тополь, тот самый тополь, о котором вы написали в стихотворении «Колыбельная песня тополю под номером четыре кобдинского горсада».

Я тебя, как часть души своей,
В землю посадил: расти быстрей!
Деревце планеты, засыпай!
Кобдо нежный тополёк — бай-бай!

Из реки Буянту воду пей,
Укрепляйся венами корней!
Вырастешь до неба! Засыпай!..
В два обхвата станешь — баю-бай!..

(Перевод Л. Букиной)

Мы прошли в сад — тополя стояли окрепшие, высокие. В ветвях и листьях играл лёгкий вечерний ветер. Взрослые тополя теперь уже сами пели колыбельную…

Я знаю, что многие ваши стихи положены на музыку.

Б. Я. Песней стали и стихи о тополе. Но «Где я родился» — одна из самых популярных песен на мои слова. Я писал о родине и писал о любимой девушке:

Я владыкой любви темноглазой монголки родился, —
Мягкий терлик вокруг её тонкого стана обвился,

Робкий взгляд её светится мне сквозь ресницы,
Ласк горячих и нежных наивная юность стыдится…

Родина — это всё: колыбель и мать, любящая женщина, дети, радости и горечи. Родина — это жизнь.

Л. М. Очевидно, мы недостаточно осознаём общественное, патриотическое звучание любовной лирики. Не случайно ведь в военные годы всенародно известна была песня на слова М. Исаковского «Выходила на берег Катюша…». А «Жди меня» К. Симонова!

Б. Я. Настоящая лирика всегда общественно значима.

Л. М. В Баян-Ульгийском аймаке, куда мы с вами ездили на Дни монгольской литературы, в местной газете были опубликованы дружеские шаржи на монгольских писателей. Художник изобразил вас играющим на домбре. Не хотел ли он сказать, что вы поэт камерный?

Б. Я. Наверное, хотел. Но домбра в руках поэта — это и барабан, и даже меч. Главное — найти дорогу к сердцу читателя.

Л. М. Я всегда считал, что подлинно народная поэзия близка и простому крестьянину, арату, и читателю знающему, профессионально подготовленному. Александр Блок в середине десятых годов увлёкся стихами Аветика Исаакяна, теми его стихами, которые уже тогда народ пел. Есть, однако, и такие поэты, которыми зачитывается одна элита.

Б. Я. Кто живёт жизнью народа, тот и пишет для народа, более того, такой поэт интересен и другим народам.

Л. М. Есть у меня один частный вопрос о рифме в монгольской поэзии. Известно, что в монгольском (а также в бурятском и калмыцком) рифмуются созвучия слов в начале, а не в конце строки. Например,

Девушка…
Дело…
Демос…

Б. Я. Это связано с особенностями нашего языка. Начальная рифма у нас обязательна. Современные монгольские поэты пишут стихи и с конечной рифмой. Так пишут сейчас многие, сохраняя, разумеется, начальную рифму, но не у всех это получается — чувствуется искусственность, нарочитая заданность конечной рифмы. Конечные рифмы, как я думаю, хорошо привились в бурятском стихе… Стихи с конечной рифмой хорошо поются…

Л. М. В поездке по Западной Монголии я часто вспоминал Армению. Как и в Армении, здесь нет лесов. Я смотрю на наши голые горы, и мне кажется, что они одеты в шкуры гигантских волов. А иногда мне кажется, что наши горы — доисторические гиганты, они легли отдохнуть и окаменели! А какие впечатления из поездки в Западную Монголию вынесли вы?

Б. Я. Поездки — это стихи. Я и раньше бывал в Западной Монголии, писал об Алтайских горах, о чёрном озере Хар-ус-Нур… Но только в этот раз мне удалось побывать в Толбонурском сомоне, там, где в 1921 году героически сражались против белогвардейцев монгольские революционные отряды Хас-Батора и части Красной Армии под предводительством К. Байкалова. Так зарождалось монголо-советское братство.

Л. М. Когда недалеко от озера Талбанур мы осматривали место, где стоял буддийский монастырь Сарул гуна, некоторые из нас нашли пустые винтовочные гильзы. Именно здесь в 1921 году произошло основное сражение. Белогвардейцы 42 дня осаждали монастырь, в котором закрепились русские и монгольские воины. И если ещё сегодня, спустя почти шестьдесят лет, можно найти пустые гильзы, то нетрудно представить, какие горячие бои здесь шли… Я тоже нашёл гильзу, взял её на память. Гильза хорошо сохранилась, небольшие вмятины на боках, самый конец, там, где она сужается, разорван, кое-где на латуни

зелёные пятна порчи… На краешке основания, у капсулы, заводской номер — 20, внутри — тёмная, неприятная пустота…

Б. Я. Когда мы осматривали места боевой революционной славы, я подумал о стихотворении, может быть, даже поэме. Я хочу написать о сражении монгольских и русских воинов против совместного врага. Благодаря зарубежным поездкам расширилась «география» моей лирики. В Советском Союзе я писал о могучей Уссури. В прошлом году я побывал в Эфиопии и Южном Йемене. Когда мы прилетели в Аден, в аэропорту сидело много женщин в чёрных чадрах. Мне показалось, что я нахожусь в лесу, где после пожара остались одни чёрные пни… Я думаю, что этот образ в конце концов станет стихотворением. Поездки — это вдохновение.

Л. М. Поэт — всегда в поездке. А поэзия, по слову Маяковского, — езда в незнаемое. В знаемое едут только подражатели.

Б. Я. Надо подражать жизни, не книгам. Не подумайте, однако, что я проповедую натурализм, он мне чужд в любых проявлениях. Книги великих надо хорошо знать и для того, чтобы не подражать им. Я подражаю жизни. Когда мне это удаётся, я счастлив.

Л. М. Спасибо, дорогой Явуухулан, за беседу.

Б. Я. Надеюсь, мы с вами занимались своим делом — говорили о поэзии. Поэзия — наша любовь.

Л. М. Кроме того, мы с вами верны старинной заповеди: «Во-первых, любить друг друга…».

Б. Я. Верность этой высокой идее тоже говорит о том, что мы занимаемся своим делом и живём на этом белом свете хорошо и правильно.

1980, 1982

4
Этот удивительный человек

(Из записной книжки)

Жизнь прекрасна ещё и потому, что иногда мы становимся участниками или очевидцами интересных историй.

С некоторых пор я стал записывать короткие, само собой понятные «сюжеты».

Словно мелочь разного достоинства, я собрал в книгу, как в копилку, притчеобразные или просто чем-либо примечательные истории. Мелочь — а в ней иногда виден человек.

Духан дяди Костаса, длинного худого грека, с длинным худым носом, имел вывеску:

Шашлык кушай — кормит вас,
Деньги смотришь — кормит глаз.

На большом центральном столе духана стояла большая тарелка, полная блистающих жёлтых монет достоинством в одну копейку.

Тарелка с копейками стояла для того, чтобы после шашлыка и бутылки имеретинского насытился человеческий глаз.

У сытого человека глаза голодные.

— Живот кормить легко, глаз кормить трудно, — философски объяснял дядя Костас.

Удивительный был человек дядя Костас.

Удивительны герои многих других коротких историй, составивших этот цикл.

Армянские письмена

— Когда я был в Армении, — говорил грузинский поэт Фридон Халваши, — армянская молодёжная газета попросила меня написать два слова. Я написал, что армянские письмена похожи по своим очертаниям на следы заживающих на теле человека ран.

…Армения много страдала в прошлом. Армянские писатели со времён Маштоца, изобретателя письменности, делали всё, чтобы раны на теле родины зажили. Буквы армянского алфавита они ставили как швы на рану.

Камни на солнце

В фойе гостиницы «Москва» подошёл ко мне отощавший старик в широченном, длинном, до колен, пиджаке, с громадным портфелем в руках. Портфель был похож на пиджак.

— Вы из Армении? — спросил он. — Армению знаю. Не был в Армении, но знаю. Коньяк армянский пил. А вот случай у вас был. Убрали в поле камни (в Армении, я знаю, много камней) — виноград стал чахнуть. И тогда пришёл ранним утром мальчик и сказал, что нельзя виноградники очищать от камней. Ночью камни согревают лозу. Без камней нельзя. Солнце заходит, но кусочек солнца остаётся в камнях.

Мальчика больше никто и не видел, — многозначительно взглянул на меня старик и ушёл.

Этот странный старик с сухими пергаментными пальцами, с пергаментным бледно-жёлтым лицом и был, как я теперь совершенно уверен, тем самым мальчиком, который знал, почему в Армении так много солнца и так много камней.

Перед памятником

Я армянин, а мы, армяне, много страдали, много боролись за жизнь, за свою землю, свой дом… Боролись не больше, чем другие народы, но и не меньше.

Много боролись — это не преимущество. Я хотел сказать всего лишь о том, что армянская судьба — она не только армянская.

На подступах к Ростову, там, где высится памятник воинам, защищавшим город, я видел старую русскую женщину. Она стояла перед памятником на коленях и плакала: — Зачем нас убивали, зачем? Думали, сами станут жить лучше…

Отчётливо, как на хорошем снимке, вижу памятник павшим героям и перед памятником — старую коленопреклонённую женщину.

Разрешите рассказать

Таксист Амбарцум Казарян написал воспоминания о своих фронтовых друзьях и попросил, чтобы я их прочёл. Каждый новый рассказ-воспоминание он начинает одними и теми же словами:

— Уважаемый читатель, разрешите вам рассказать…

Казарян пишет только о друзьях, погибших на фронтах: сержанте Арутюняне, рядовом Мамиконяне, майоре Саркисяне…

— О себе не могу написать, я живой, наград имею достаточно — четыре ордена Красной Звезды.

— Да, но впечатление такое, что вы сами не воевали.

— Пять суток с автоматом в руках стоял я на посту в окопе. Впереди метров пятьдесят — немцы, сзади метров пятьдесят — наши. Стреляют немцы, стреляют наши… Пять суток днём и ночью стоял. На шестой день пришли ребята, увидели меня и заплакали: за эти пять суток я поседел. Много таких эпизодов помню…

Помолчав, Казарян вдруг воодушевляется:

— Разрешите рассказать о подвиге военного санитара Михайлова.

Таксист Амбарцум Казарян не рассказывает, он докладывает, как это сделал бы солдат на войне. Его рассказы одинаково начинаются («разрешите рассказать…») и одинаково кончаются.

— Царство небесное военному санитару Михайлову. Выпьем за его героическую душу.

— Царство небесное сержанту Арутюняну. Выпьем за его героическую душу.

Таксист Амбарцум Казарян — герой.

Андраник правильно сказал

В Цахкадзоре художник из Ленинграда рассказывал:

— Тут недалеко — разрушенный мост. Пошёл я рисовать. Познакомился с семидесятилетним стариком, героем трёх войн. Говорит, что в пятнадцатом году служил под началом генерала Андраника.

«Андраник мне сказал: держитесь русских — и вы будете счастливы, у вас всё будет».

«Ну и как теперь живёшь, отец?» — спрашиваю я.

«Хорошо, — говорит, — дом, двор, сад — всё есть. Андраник правильно сказал».

Вынес мне старик хлеб с сыром, ешь, говорит, это наш армянский хлеб и армянский сыр, а если хочешь, нарисуй мой дом, мой двор и сад — покажешь в Ленинграде.

Хлеб

Вылетал из Ташкента в Ереван.

— Это вам на дорогу, — сказали узбекские друзья, вручив мне увесистый свёрток.

Рейс был на редкость удачным, лёгким. Дома я нашёл в свёртке фрукты, восточные сладости и хлеб — знаменитые ташкентские лепёшки. Была ещё записка: «Лепёшки я положила потому, что по нашим обычаям хлеб охраняет человека в дороге от несчастья».

Очень хороший обычай. Надо, чтобы о нём знало как можно больше людей. Хлеб оберегает нас всюду — в дороге и дома.

Всё в мире взаимосвязано

В Батуми наши соседи-аджарцы говорили по-турецки. Речь их была пересыпана пословицами. Часто они говорили о бренности жизни: «Бу дуния султан Сулеймана калмади, сяна да калмаз». («Этот мир султану Сулейману не остался и тебе не останется».) Позже я узнал, что султан Сулейман — это библейский царь Соломон, ставший в Коране Сулейманом. Всё в мире взаимосвязано. Даже враждующие религии.

Соломон (по-армянски Согомон) и Сулейман — это один и тот же человек, как, впрочем, Иван и Джон. Как мы все…

Апсос

Прилетел в Ереван известный непальский писатель Кедар Ман Вьятхит. Очень интересуется армянской древностью.

— К сожалению, вы приехали ненадолго, — сказал я.

Переводчица переводит:

— Апсос…

Оказалось, что по-непальски «к сожалению» — это апсос. И по-армянски — апсос.

Это маленькое открытие очень нас обрадовало.

Кедар Ман Вьятхит спрашивает, есть ли у нас писатели — лауреаты Ленинской премии.

— Апсос, — говорю я.

— Апсос, — говорит Кедар Ман Вьятхит.

— Но у вас будут писатели — лауреаты Ленинской премии, — дружески заверяет меня непальский писатель Кедар Ман Вьятхит.

Сила двух братьев

Мы с братом были в гостях. Хозяин дома, добрый человек, чтобы сделать нам приятное, сказал:

— Медведь против семи друзей пойдёт, против двух братьев не пойдёт. Это известно. Я в жизни всего добился сам. У меня не было родственников в шляпах. Даже начальник милиции меня не поддерживал. Брат, простой колхозник, вот кто меня поддержал.

Праздник роз

В Тбилиси, во дворе церкви Сурб Геворг, там, где похоронен Арутин Саят-Нова, ежегодно в последнее воскресенье мая собираются тысячи любителей поэзии. Тбилисцы приходят почтить память великого лирика и по традиции приносят на могилу поэта красные розы.

В 1975 году последнее воскресенье мая пришлось на 25-е число.

Праздник открыл поэт Иосиф Нонешвили. Были прочитаны стихи, произнесены речи. Выступил композитор Арно Бабаджанян. Сказал, что Саят-Нова повлиял на него ещё в детстве.

— Он мой учитель, я склоняю голову перед его могилой, я ему обязан…

К празднику роз был приурочен торжественный вечер в тбилисской армянской школе. Первоклассники преподнесли десятиклассникам розы, а те подарили им наборы цветных карандашей и книги. Выступала самодеятельность. Маленькому танцору в красных сапожках не терпелось войти в круг, он то и дело вставал на кончики пальцев и приплясывал. Его партнёрша, девочка в белом, удивлённо смотрела на него, но вдруг снизошла — пошла с ним танцевать. За всё время длинного танца мальчик ни разу не коснулся ступнями пола: бегал, прыгал на одних пальцах. Ему было больно, но он горел от воодушевления.

Познакомились с преподавателями школы. Настоящие подвижники, очень любят своё дело, работают самоотверженно, живут скромно и гордо.

Вечером банкет.

— Мы братья, — говорит Морис Поцхишвили и рассказывает, как во время войны армянская мать подкармливала его, хотя у неё были свои дети, которым тоже было голодно. Он говорил, и в его глазах стояли слёзы…

Были Бесо Жгенти, Иосиф Нонешвили…

Серо Ханзадян вспомнил Аветика Исаакяна:

— В гости я могу поехать в любую страну, — говорил Исаакян, — но если нужно будет укрыться от врага моим детям, я их отправлю в Грузию, а сам умру на поле боя.

Воистину, как писал Арутин Саят-Нова, любовь приносит любовь.

Старушка из Хор Вирапа

Ездили в Хор Вирап. Это у самого подножия Арарата. Так близко Арарат я ещё никогда не видел. Арарат, и тут же — старая церковь, а чуть ниже — старое-старое кладбище. Много надгробных камней. Камни заплесневели, зацвели. Умер человек, пришло время — умерло и надгробие, память о человеке.

…Встретили старушку — она шла из церкви.

— У меня тоже горе, — подошла она к нам, почему-то решив, что горе привело нас в Хор Вирап. — Сын упал, позвонок повредил, — запричитала старушка. — Жив, слава тебе, господи! Жив! Оперировали. Пусть зазеленеют пальцы профессора Даниеляна. Третий месяц, как сын лежит. Теперь после операции, как ребёнок, еле передвигается. Во сне что увижу, то и сбудется.

— Потому что вы женщина праведная.

Старушка испуганно замахала руками:

— Грешная я, грешная. Умереть бы мне, а сыну бы жить. Недавно сон видела, упала я в тондыр и не могу выйти. По краям тондыра — красный свежевыпеченный хлеб. Думаю, что же это такое, как вдруг опускается лестница, пятнадцать ступенек насчитала. Вышла я из тондыра и хлеб с собой взяла, не весь — один только лаваш. Сын, значит, у меня выздоровеет. Умереть бы мне за его солнце.

Там, где мы стояли, всё: камни, горы, небо — было всегдашним, вечным. И старушка мать, как это было всегда, со дня сотворения мира, мучилась — вымаливала сыну здоровье, просила природу, богов, людей и нас, случайных прохожих, за сына, за его жизнь и его солнце.

Умирают люди, приходит время, умирает и память о них, а женщина-мать всегда во все времена страдает-печётся о своём дитяти, о жизни на нашей старой, трудной земле, увенчанной белыми, чистыми вершинами Арарата.

Мать и сын

Матери было 88 лет, а сыну, капитану дальнего плавания, за 60. Она жила в деревне Абаша. Сын навещал её раз в несколько месяцев — как только вернётся из очередного рейса.

— В последний раз я приехал к маме, — рассказывал капитан, — в конце октября, в воскресенье. «Клементий, — сказала мама, — хочу тебе ноги вымыть». Никогда этого не говорила. В детстве купала меня, ноги мыла. И вдруг теперь говорит: «Клементий, хочу тебе ноги вымыть». Согрели воду. «Согрейте ещё, — сказала мама, — эта вода холодная»… «Швило, швило, сынок, сынок», — говорила мама и гладила дрожащими непослушными руками мне ноги. В понедельник утром она умерла, угасла без жалоб, без стонов.

— Теперь я в мире один, — капитан закурил. — Совсем один.

Чтобы вы видели счастье своих детей

Маме — семьдесят лет, а она всё думает о нас, детях своих, которым под пятьдесят. И если хочет кому сказать что-нибудь хорошее, неизменно повторяет:

— Чтобы вы видели счастье своих детей.

Маленькая хитрость

Первое января. Мама покупает у такой же старой, как и она, женщины молоко.

— За деньгами придёшь завтра, — говорит мама.

Думая, что у неё нет денег, я хочу заплатить. Мама не разрешает.

— Не вмешивайся, — останавливает она меня.

Уходит молочница, и мама мне объясняет:

— Сегодня первый день Нового года, нельзя в этот день выносить из дома деньги.

— А приносить можно?

— Приносить — хорошо.

— Поэтому надо было заплатить за молоко, чтобы молочнице тоже было хорошо.

— А ей и так будет хорошо: я её благословила и сладостей завернула, чтобы она в первый день года принесла домой сладости. В другом месте ей и денег дадут, потому как все вы теперь учёные, старые обычаи не признаёте, — укоряет меня мама.

Камушек и гвоздь

Мама достаёт из своего старого потрёпанного кошелька камушек и небольшой кривой гвоздь:

— Женщина тут приходила, говорит, держи в кошельке камушек и гвоздь. Это, говорит, хорошо.

Кто знает, может, это действительно хорошо, — скептически улыбается мама. — Камушек, смотри, как он блестит. Давно он у меня в кошельке…

Суеверие

Есть обычаи очень нелепые. Но и в них, обычаях, на первый взгляд смешных, — история борьбы человека за жизнь на земле, история того, как велико было стремление человека выжить. Человек хватался за жизнь, как утопающий за соломинку.

Председатель колхоза Бениамин Товмасян рассказывал, как ещё недавно в горах Зангезура можно было встретить крестьян, которые в засушливый год торжественно, с воздыханиями мыли драгоценной водой мордочки своим осликам.

Считалось, что мытьём ослиных морд можно вымолить дождь. Обычай, возникший, очевидно, во времена языческие, где-то до нашей эры.

Чтобы не сглазили

Карине — озорная шестилетняя девочка. Мама велит, чтобы она вымыла ноги.

— Они у меня чистые. Посмотри, чистые-чистые, как звёзды, и блестят, как звёзды.

— Нет другой такой умной и красивой девочки на свете, — говорю я Карине.

— Есть, есть! — поспешно возражает она. И тут же меня просвещает: — Надо так говорить, чтобы не сглазили.

Нельзя пользоваться ножом

В книге В. Эберхарда «Китайские праздники» я прочёл о том, что согласно поверью, «ножом или острым орудием нельзя пользоваться в день Нового года — можно отрезать счастье наступающего года».

Я понимаю, как могла родиться такая наивная, чистая мысль в старом Китае. Люди очень, очень хотели жить лучше и додумались до такой высокой мысли.

Этих простодушных, так по-человечески, так трогательно оберегающих свой дом, своё благополучие людей я чувствую как родных братьев.

Ложь, которая есть добро

Армянский философ Давид Анахт (V — VI вв.) утверждал, что добро превыше всего, даже превыше истины:

— К примеру, скажем, один человек дал другому на хранение меч, и вот в минуту гнева он пришёл его взять обратно, чтобы совершить убийство, а тот отказался и солгал, что, мол, ничего мне не давал. Вот вам ложь, которая есть добро.

Мера доброты

На одной из планет люди могут всё, но каждый может в меру своей доброты. Этот вот архитектор может выстроить сарай, в лучшем случае — гараж, а этот строит невиданной красоты дворцы.

Самую хорошую книгу, обогатившую мировую классику, написал самый добрый из писателей, а самую бездарную — самый злой.

Выше всех прыгает тот, кто добрее всех. Даже в боксе побеждает тот, кто добрее. Чемпион — самый, самый добрый боксёр.

Добрые люди, чем бы они ни занимались, всюду преуспевают.

Мерой доброты определяется мера таланта.

Такая вот слива

Выросший в городе и с детства привыкший к асфальту, я теперь пробую заняться садоводством. Три года назад высадил на участке саженцы — яблони, сливовые и абрикосовые деревья.

Саженцы выросли, окрепли. Это уже молодые деревья, но они ещё не плодоносят. И всё-таки в этом году на одном из сливовых деревьев появилась вдруг единственная во всём саду слива.

Каждое утро смотрю на сливу как на сокровище, как на чудо. Она притаилась на самой нижней ветке, там, где ветка отходит от ствола. Зелёная кожура слегка тронута прозрачным серебристым бархатом.

Такая вот слива растёт у меня в саду, наливается соками, зреет.

Любовь

— Я полюбил её внезапно, — говорил молоденький инженер о своей жене, белолицей, большеглазой красавице. — Целый месяц работали вместе, я на неё — ноль внимания. Вижу однажды, она такая грустная-грустная, а глаза молчаливые, прямо-таки кричат. Спрашиваю, в чём дело, она, значит, мне рассказывает. Оказывается, дрессированные медведи могут работать на арене пять лет, а потом они слепнут от яркого света, от огней рампы. Стоит ли, говорю, из-за этого так переживать? Говорю, самому же так стало жалко медведей. После этого случая я её полюбил. Вот уже год, как поженились.

Определение эпитета

Был пышный восточный стол с пышными восточными тостами из множества ярких, горячих эпитетов. И тамада сказал:

— Эпитет — это смягчающее вину обстоятельство.

Мне нравится это определение эпитета. Оно, это определение, единственно верное. Мне нравится, как говорит тамада:

— Если ты сел с человеком за стол, ты должен его оправдать. А чтобы оправдать человека, нужно найти эпитет этого человека.

Такой обычай

— Хорошо у вас в Армении, только вот за столом очень вы друг друга хвалите. Случается, подчинённые хвалят начальника, — сетовал гость из Москвы.

В Гарни мы обедали в доме одного из наших друзей, потомственного крестьянина, крепкого рабочего человека. Хозяин дома, впервые видевший москвича, обрадовался ему, как обрадовался бы любому другому гостю.

— Я вот смотрю на тебя, — сказал хозяин, — и вижу, что ты очень хороший человек. Ты любишь свою семью, всё делаешь для семьи, но тебя не ценят. Если ты посадишь дерево, оно вырастет, потому что у тебя добрые руки. Человек, может быть, тебя не поймёт, а дерево поймёт, земля поймёт…

Слушал гость крестьянина из Гарни и вдруг расчувствовался, прослезился даже.

— Хороший всё-таки у вас обычай. Надо, обязательно надо говорить за столом о человеке. И всё ведь действительно так — жену я очень люблю, очень… Дочка у меня, Катя, в феврале четыре года исполнилось…

Показывал нам фотокарточки жены и дочки.

Гена и Володя

В городе Иванове зашёл в ресторан пообедать. За столом двое молодых ребят. Познакомились. Живут в Иванове, работают на хлебозаводе.

— Наш хлеб попробуйте, — говорит Гена. — Мы вас любим больше, чем вы нас. У вас — грузинская природа, царица Тамара.

— Я из Армении.

— Всё равно, у вас — природа…

Спрашиваю своих новых знакомых, как живут-работают. Гена говорит — хорошо, а Володя недовольно морщится:

— Я из Краснодара. Институт окончил… Жена — с Украины. Квартира у нас двухкомнатная. Два выходных дня, а идти некуда — родных здесь нет.

Угощали меня:

— Лещ, волжский, нигде не найдёшь!

— Я рыбу не ем.

— А как же ты думаешь без фосфора-то, а?

— Я, ребята, не думаю.

— Не думаешь, а ходишь в очках, — улыбается Гена. — Давай, браток, выпьем за наше братство.

И мы пьём.

Расставаясь, обмениваемся адресами.

Лена

В гостинице маленькая девочка пяти-шести лет с апельсином в руках вошла в номер:

— Мы с мамой убирали здесь, меня зовут Лена.

— Спасибо тебе, ты такая замечательная маленькая девочка.

— Я не маленькая, мне семнадцать лет, а через год будет шесть лет.

— Вот ты какая большая и умная.

— А вы всё время забываете, как меня зовут. Меня зовут Лена.

Аннушка любит мороженое

— Папа, купи мне значок с мороженым. Когда не будет мороженого, я буду носить значок.

Настенька

Я пришёл в гости. Шестилетняя Настенька (я для неё новый человек) кричит из своей комнаты:

— Мама, можно я ещё пять минут постесняюсь, а потом приду?

— Мама, а какое мне платье надеть, с цветочками или без?

Наконец Настенька объявилась в платье с цветочками. Прелестный ребёнок с серьёзными, думающими и озорными глазами.

— Мама, я сейчас скажу, на кого похож дядя Лёва.

— Ну что ты, Настенька, — смутилась Настенькина мама, не зная, что она скажет.

— Дядя Лёва больше всего похож на человека, но толстого, — сказала Настенька.

Я был польщён. И настроение весь этот день было хорошее.

Почему в носу две дырки?

Этот вопрос задал любознательный мальчик своему нелюбознательному отцу. И так как взрослый отец не знал, почему в носу две дырки, маленький мальчик сказал:

— Дырка с правой стороны для того, чтобы дышало правое лёгкое, а с левой — для того, чтобы дышало левое лёгкое.

Отец удивился предмету раздумий пятилетнего мальчика и решил, что сын станет врачом.

Открытая душа

В Эчмиадзине крестьянин, с худым лицом, с мозолистыми, потрескавшимися пальцами, говорил приезжему русскому:

— Здесь русский каждый день бывает. Приехал профессор. Он — сорок лет, жена — двадцать год. Тонкий такой девушка. Туфли ходил высокий, высокий каблук, белка свободно бежит под каблук туда-суда… Русский — открытый душа. Я тоже открытый душа. Но если мой карман есть три рубля, спроси мне, скажу — два, а русский скажет три рубля. У меня миллиметр кривой душа. Я честно скажу, русский совсем прямой. Был я армии четыре года, ранений имею. И всегда был с русский народом.

…Крестьянин из Эчмиадзина плохо говорит по-русски, но говорит правильно.

Хачик заплатит

Гево одет бедно, но чисто. Небольшого роста, тощий, он весь какой-то мятый, скособоченный. Ходит с вытянутым вперёд лицом, словно бы высматривая опасность. Ходит осторожно. Так, поджав хвост, ходят мимо людей умные бездомные собаки.

«Божий человек», — говорят о Гево. Когда однажды вынесли ему хлеба, Гево обиделся.

— Сейчас нищих нет! — запротестовал он.

Питается Гево в единственной столовой небольшого села. Заказывает он самые дешёвые блюда, но держится независимо. Поев, подзывает официанта и говорит:

— Сако заплатит.

Сако — директор столовой. Когда однажды Гево узнал, что Сако работает теперь в городе, в большом ресторане, он пришёл в столовую, заказал себе поесть и поинтересовался:

— А кто сейчас вместо Сако?

— Хачик, — сказали ему.

— Хачик заплатит, — ответил Гево.

Никогда

Ходит Гево, считая свои шаги. Досчитает до двенадцати, затем делает небольшое усилие, словно перепрыгивает через яму, и, вместо того чтобы сказать тринадцать, говорит: «Никогда!». Сказав: «Никогда!», Гево облегчённо переводит дыхание и начинает счёт сначала, с одного. Гево считает от одного до «никогда». И делает это Гево для того, чтобы — не дай бог! — дорога его жизни не оборвалась. Дорога может оборваться на тринадцатом шаге. Гево знает об этом.

— Никогда! Никогда! — говорит Гево и ходит, ходит по этой удивительной земле, отсчитывая свои шаги от одного до «никогда».

Поэты и милиционер

Преуспевающий поэт Мурад приволок однажды в милицию Сероба, поэта непризнанного, человека чудаковатого. Волосы у Мурада были мокрые, слипшиеся. Оказалось, что Сероб целую неделю выслеживал Мурада, а выследив, разбил об его голову яйцо, которое специально для этой цели носил в кармане.

На вопрос милиционера, зачем он это сделал, Сероб ответил:

— Я почувствовал, что Мурад сам хочет разбить яйцо о мою голову, поэтому я опередил его.

— Как же ты это мог почувствовать?

— Почувствовал, — настаивал Сероб.

— Как, объясни, как ты почувствовал?

И в этот самый миг пострадавший Мурад достал из кармана яйцо и на глазах у милиционера разбил его о голову Сероба…

Милиционер долго потом рассказывал эту историю, рассказывая, жаловался, что ему трудно работать в районе, где живут поэты.

В центре невнимания

Пожилой человек много лет пишет плохие стихи, считает себя поэтом. Жалуется, что его не замечают:

— В продолжение тридцати лет нахожусь в центре невнимания.

Парадоксальное явление — ведь при полном невнимании со стороны читателя к его стихам, к нему самому, он тем не менее тридцать лет печатается, ходит на собрания, выступает, требует, добивается и жалуется, жалуется, жалуется. И всё для того, чтобы быть в центре, пусть в центре невнимания, но в центре.

Известный или неизвестный

Два мальчика шести-семи лет только познакомились, но не успели ещё поговорить, представиться друг другу — их угостили арбузом. Мальчики набросились на арбуз и быстро, быстро съели его. Тот из мальчиков, который ел быстрее другого, довольный собой и миром, в котором растут такие красные, с поблёскивающими чёрными семечками арбузы, гордо вскинул голову и сказал:

— Мой папа врач!

Мальчик, который ел арбуз не так стремительно, догадался, что сын врача хочет подчеркнуть своё превосходство над ним. Давясь и выплёвывая семечки, он мгновенно среагировал на выпад.

— Известный или неизвестный? — спросил он.

Этот мальчик знал, что врачи, как и писатели, бывают известными и неизвестными.

С мировым именем

Приехал я в большой восточный город оппонировать диссертанту. По-восточному торжественно встречала меня многочисленная родня докторанта. Прямо с вокзала пригласили на обед. Неудобно, говорят, ждут.

На обеде во главе стола сидел важный-преважный тамада. Первым делом представили меня тамаде.

— Познакомьтесь, первый оппонент, учёный с мировым именем.

Обрадовался я, приосанился. Оценили, думаю, наконец.

Стали представлять тамаду:

— Познакомьтесь, директор нашего института, учёный с мировым именем.

Так за обедом мы и познакомились: я, учёный с мировым именем, и он, учёный с мировым именем.

Плохие стихи и прекрасные розы

Приходил в Союз писателей сельский учитель из Арташата. Принёс букет чудесных роз из своего сада и папку плохих стихотворений из ящика своего письменного стола. Интересуется, нельзя ли стихи напечатать.

Я ему говорю:

— Выращивай розы, ты это умеешь делать прекрасно. Розы — это твои стихи.

Учитель сразу поскучнел, как-то обмяк.

— Стихи бы напечатать, а розы — что в них такого?

Убедившись, что со стихами ничего не получается, учитель просит устроить дочку в университет. Дочке двадцать четыре года, не замужем. Филологический факультет уже окончила, теперь хочет поступить на юридический.

— Зачем ей второй факультет кончать? Выдай её замуж. Она тебе народит внучат, а ты будешь розы разводить. Представь себе свой сад — в нём розы и дети. Знаешь, что говорил один изумительный человек, князь, которого почему-то прозвали идиотом? Через детей, говорил князь, душа лечится.

— Ты что меня разыгрываешь? — обижается учитель.

А ведь я его не разыгрываю. Я ему желаю добра.

Стихи

Молодая девушка влюбилась в знаменитого поэта.

— Я написала стихи, — говорит она поэту. — «Спала, мне снился голос твой…» А дальше не получается. Есть ещё две строчки: «Я к тебе — как с парашютом в бездну. И не знаю, близко ли земля…»

— Этих слов вполне достаточно, — говорит поэт. — Это — стихи.

Девушка не поймёт, шутит поэт или говорит серьёзно.

Вычеркнутая строчка

Амо Сагиян рассказывал, как он подарил знакомому профессору-филологу сборник своих стихов. В одном из стихотворений по ошибке была напечатана лишняя строчка. Сагиян, естественно, вычеркнул её. Профессор, как оказалось, два дня мучился, хотел прочесть именно эту, вычеркнутую строчку. Пришёл за помощью к автору: не могу, говорит, разобрать вычеркнутую строчку.

— А то, что не вычеркнуто, профессора не интересовало. Чтобы он прочёл книгу, надо было вычеркнуть все строчки, все слова, — иронизировал Сагиян.

Чтобы понять слово…

Прочёл о себе анонимку — гадкие три страницы на машинке (машинку не пожалел, подлец). Прочёл и заглянул в «Словарь русского языка» Ожегова. Дай, думаю, посмотрю, как здесь толкуется это трусливое, грязное существо. «Анонимщик — тот, кто пишет анонимные письма». Очевидно, на Ожегова никогда не писали анонимок. Поэтому он и дал такое безобидное, недостаточное определение.

Чтобы понять слово, надо пережить слово.

Как я работаю

Вы, конечно, видели, как работают львы на арене. В тот самый момент, когда надо сделать то, что от них требует дрессировщик, львы лениво и нарочито расслабленно смотрят по сторонам. Это уловка, хитрость. Они хотят обмануть дрессировщика, мол, я не я и лошадь не моя. Но при деланной рассеянности львы внутренне напряжены. Уши нервно следят за дрессировщиком и выдают напряжение. Дрессировщик щёлкает кнутом, лев степенно поворачивает голову и нехотя огрызается. Он это делает исключительно из приличия, чтобы не уронить себя, своего львиного достоинства.

Понимая, что не обмануть дрессировщика, лев наконец выполняет свой номер, но так, словно бы его и не понукали, словно бы это он сам так захотел.

Подчиняясь дрессировщику, лев игнорирует дрессировщика.

Дискуссия

Много лет назад, когда я ещё не был знаком с литературными нравами, присутствовал на обсуждении армянского перевода «Былого и дум» Герцена.

Докладчик говорил около двух часов. Он пришёл к двум убийственным выводам:

1. Переводчик не владеет русским языком. В подтверждение критик привёл пятьдесят примеров, а затем показал аудитории тетрадь, в которой было ещё триста других, столь же разительных примеров.

2. Переводчик не владеет армянским языком. В подтверждение критик привёл пятьдесят примеров, а затем показал аудитории тетрадь, в которой было ещё триста столь же разительных примеров.

Я был возмущён! Человек переводит с русского на армянский великую книгу и не владеет ни русским, ни армянским!..

Сразу после докладчика взял слово переводчик. Как же теперь он будет говорить, думал я, этот невежда, не владеющий языками? Но переводчик говорил и по-русски, и по-армянски свободно.

Он говорил два часа и пришёл к двум убийственным выводам:

1. Докладчик не владеет русским языком. В подтверждение он привёл пятьдесят примеров, взятых из книг докладчика, а затем показал аудитории тетрадь, в которой было ещё пятьсот других, столь же разительных примеров.

2. Докладчик не владеет армянским языком. В подтверждение…

Я был растерян, я ничего не мог понять.

— Это же дискуссия, — сказал мне сидевший рядом старый литератор, — понимаешь, это — дискуссия.

Теперь я, слава богу, знаю, что это такое — дискуссия.

Слова и человек

Мужчина средних лет, врач, одет до слащавости модно. Говорит заученными, банальными фразами. Не говорит — выстреливает одну банальность за другой.

— Что такое жизнь? Жизнь это для мужчины — женщина, и то, что он о ней думает. А для женщины — это мужчина и то, что она о нём думает.

Любовь, может, начинается идеалом, а кончается одеялом.

Но вот врач вспомнил своего отца, и в его голосе появились живые человеческие интонации:

— Отец мой был грузчиком в порту. Раньше подъёмных кранов не было. Ставили вместо лестницы широкие доски с прибитыми на них рейками, чтобы не поскользнуться. Другие грузчики брали по одному мешку, мой отец брал по два мешка. Потом он работал пильщиком. Придумал пилу, чтобы один человек мог пилить. Работал с восьми утра до восьми вечера. Мать в два часа шла к нему — тогда не носили трусы и майки — с чистой рубашкой и кальсонами. Отец умывался, надевал чистые кальсоны и рубашку, ел большую тарелку мацони с буханкой хлеба и продолжал работу. Вечером он приходил домой, мать его купала, он ещё раз менял бельё, надевал чистые кальсоны и рубашку, ел лук, сыр с хлебом, пил чай вприкуску и ложился спать. Так каждый день. Отец собрал деньги и дал мне, своему сыну, образование. Когда он умер, мама плакала и говорила: «Сын проживёт без отца, а как я без него буду жить?» Мать моя была необразованная, но любовь была.

Так трогательно человек вспоминал отца и мать. В самом конце рассказа его опять занесло:

— Когда уходит любовь? Тогда, когда приходит образование.

Кто самый счастливый человек? Тот, кто не любил вовек…

Словно бы подменили человека.

Жорик и я

В приёмную председателя мы вошли одновременно — модно одетый, весь отутюженный, тщательно выбритый молодой человек и я, однофамилец председателя.

Секретарша спросила, как о нас доложить.

— Скажи, Жорик из обувной, — коротко представился молодой человек.

— Скажите, его однофамилец, профессор, заведующий кафедрой университета, — представился я, уверенный, что произвёл впечатление на Жорика и на секретаршу.

Секретарша пошла докладывать, а я прошёл вперёд, встал впереди Жорика. Сейчас, думаю, пригласят меня в председательский кабинет. Когда я войду, председатель встанет

из-за стола, пойдёт мне навстречу, и где-то в середине кабинета встретимся мы, два Левоняна, и я со всей горячностью пожму его председательскую руку, а он — мою, профессорскую.

И пока я рисовал себе картину встречи с должностным однофамильцем (я всегда испытываю к однофамильцам нежное, почти родственное чувство), пришла секретарша и широко улыбнулась не мне, а Жорику из обувной.

— Товарищ Жорик, председатель вас ждёт.

Преподаватель консерватории

Жил я в люксе, в громадном номере столичной гостиницы. В мои комфортабельные апартаменты то и дело подселяли командированных, которые долго не задерживались в дорогом номере. В один из дней рано утром разбудил меня очередной постоялец.

— Будем знакомы, — протянул он руку, — преподаватель консерватории.

— Очень рад, — ответил я, — но в музыке, к сожалению, не разбираюсь.

— Я, знаете, тоже не разбираюсь.

— То есть как?

— Я преподаю в консерватории физкультуру. Профессора — люди капризные, первые часы не берут, всё мне, значит, подсовывают, а я как дам с утра пораньше нагрузку, студенты, значит, на скрипках не могут играть — руки дрожат, — заулыбался мой новый знакомый.

Так я узнал, что не все преподаватели консерватории разбираются в музыке. И те, которые не разбираются, не уважают тех, которые знают музыку и живут ею.

В больнице

Сын укоряет отца, старого человека с жёлтыми горящими глазами:

— Папа, почему ты не принимаешь лекарства, врачи жалуются.

— Что вы мне суёте порошки да таблетки? Восемнадцать таблеток в день! Я читал статью академика. В аптеке здоровье не купишь, говорит академик. Ты бы мне фруктов каких принёс, — сердится старик.

«Штучный человек»

Человек стал профессором, никудышным, но профессором. Прошло десять лет, а он всё не может забыть, что он профессор. Всё удивляется себе, профессору, и ждёт (который год!), чтобы удивлялась ему, профессору, общественность.

— Каждый из нас, — говорит он о себе и о профессорах, — штучный человек. Это как штучный товар, понимаешь? Не станет кого-нибудь из нас — и уже другого такого народ не родит. Мы — люди штучные, единственные.

Профессор всюду развивает эту мысль, чтобы его берегли-оберегали.

Мозг и коробки

Тариэл Цитлидзе, давний мой друг, инженер, объяснил мне, как устроен человеческий мозг.

— У человека (теперь это установлено) в голове четыре мозговые коробки. Рождается человек, и каждые десять лет заполняется одна коробка. В сорок заполнены все четыре. Это пора зрелости. Затем каждые десять лет пустеет одна коробка. После пятидесяти человек живёт на трёх коробках, после шестидесяти — на двух, после семидесяти — на одной, а после восьмидесяти — без коробок.

По теории Тариэла я сейчас прожигаю вторую из четырёх коробок. Есть ещё порох в пороховницах.

Думающий аспирант

Я знал аспиранта, который тщетно пробовал заниматься армянской литературой. Он то и дело заверял своего руководителя:

— Профессор, я не о себе думаю, я думаю об армянской литературе.

Дома жена аспиранта вздыхала:

— Он совсем о себе не думает, он думает об армянской литературе.

Соседи вздыхали, родственники вздыхали…

Аспирант ничего путного так и не написал. Но слухи о том, что аспирант думает, и думает не о себе, а об армянской литературе, помогли ему защитить диссертацию.

Несчастный

Сентябрь. Берег Чёрного моря. Отдыхающих — не счесть. Но этот краснощёкий упитанный молодой человек выделяется из общей массы — держится уверенно и шумно, одет модно, богато. Всем своим видом и манерой поведения подчёркивает некую свою исключительность. На левой руке (руки сильные, молодые) золотые часы с браслетом. Чуть выше часов наколка: «Несчастным родился, несчастным умру».

Вот какого «несчастного» человека довелось мне видеть нынешним летом.

Жанна Артуровна

Это она, Жанна Артуровна, молодая женщина в сверхдорогой и в сверхмодной одежде, сказала мне:

— Вы что не носите ничего из серебра? Я теперь ношу только серебро. Физики говорят, что есть люди с сильной биологической активностью. Так вот, чтобы они не поглощали вашу энергию (а они даже сами не замечают, как выкачивают у окружения энергию), надо носить серебряные вещи. Это обязательно. Вы мужчина. Купите себе кольцо из серебра. Вам это необходимо.

Кольцо я так и не купил. Живу, как жил, не защищённый от людей с сильной биологической активностью.

Примечания

Женщина средних лет, полная, вся она в каких-то нарядах и кольцах. Подчёркнуто довольна собой и своими нарядами. Просит за дочь, неуспевающую студентку:

— Я понимаю, что есть закон, но есть и примечания к закону. Подведите мою дочь под примечания. Я вас прошу. Только вы можете воспользоваться примечаниями.

Убедившись, что профессор не хочет подводить её дочь под примечания, она бросает на него томный, обиженный взгляд, криво улыбается и уходит.

Перевод

Приехал испанский писатель, немного говорит по-русски.

— Как называется ваш новый роман?

— Не могу перевести, смысл вот каков: когда не знаешь, как жить, что делать.

— А-а, понятно, — говорит собеседник, — это будет так: дороги, которые мы выбираем.

От дурной головы…

Мой попутчик, длинный костлявый молодой человек с пышной шевелюрой и пышными усами, спал на верхней полке. Утром, когда он проснулся и свесил ноги, я прочёл то, что было вытатуировано на ногах. На левой ноге (ноги белые, бескровные) чуть выше пальцев было написано: «Они устали», на правой: «Им нужен покой».

Человек решил на теле своём (ноги — это ведь тоже тело) навечно запечатлеть волнующую его мысль.

Мой странный попутчик иллюстрировал собою известный афоризм: «От дурной головы ногам покоя нет».

Закон по-монреальски

— Какие у нас законы для бедного человека! — говорил монреальский таксист. — Закон что аккордеон: растянешь-удлинишь — одна музыка, сожмёшь-укоротишь — другая. У кого деньги, тот и заказывает музыку. Так вот и живём. По закону.

Должность такая

Кайсын Кулиев рассказывал, что где-то за рубежом ему довелось говорить с бывшим палачом. Он всё интересовался, как живётся этому человеку теперь, всё расспрашивал его про угрызения, про совесть.

— Должность у меня была такая, — невозмутимо ответил бывший палач.

Как был человек палачом, так и остался им.

Заклинатель змей

Старый человек Сарсора, заклинатель змей, сказал однажды журналисту:

— Я счастлив, что мне было дано общаться со змеями. Это редкая привилегия. Что же до моей жизни, она была полна радостей и печалей. Но змеи всегда были добры ко мне.

Это текст. В подтексте — укор людям.

Предостережение

Отец предостерегает сына:

— Будь осторожен, сынок. Будь осторожен. В городе, знаешь, что за люди. Они телегами лис ловят. Телега едет, а лиса сама бежит в телегу.

Подменили в колыбели

Епраксия — одинокая, больная женщина. Говорила, что она была красивым, ангелоподобным ребёнком.

— Меня подменили в колыбели, подбросили уродину, а меня забрали. Вот я и выросла такой безобразной.

Требовала уважительного отношения к себе.

— Плохо говорить о человеке — всё равно что разрушить храм, — наставляла она.

Честный человек

— Человеку надо верить. Особенно если это честный человек. Именно честный человек часто оказывается в дураках, — говорил Акоп Аршамян, пожилой врач. В годы войны он служил в Персии. Как человек, владеющий персидским и английским, Аршамян выступал однажды на суде в роли переводчика.

Была украдена машина. Один из подозреваемых как правоверный магометанин должен был положить руку на Коран и сказать: «Клянусь, я ничего не воровал». Рука была уже на Коране, подозреваемый готов был произнести клятву, как вдруг он отдёрнул руку, словно обжёгся: «Нет, нет, не могу!»

Судьи решили, что это и есть вор. Его могли расстрелять. Оказалось, что подозреваемый не мог поклясться, так как вспомнил, как мальчиком семи лет он украл у соседки курицу, но к машине отношения не имеет. Позже грабители были арестованы.

— Звали этого честного, но суеверного человека (никогда не забуду его имя!) Маамад Гусейн Каабелан, — закончил свой рассказ Акоп Аршамян.

Буфетчик

Худющий носатый буфетчик рассказывал своим друзьям:

— Вчера, ребята, пришла на пляж новенькая. Подтянутая, стильная такая. Груди из-под купальника вырываются. Но груди небольшие. Тугие, видно. Спрашиваю, ты что, спортсменка? Да, говорит, я по гимнастике. Вижу, действительно подходит под гимнастку — тело такое, нет лишнего веса. Значит, думаю, не обманывает. Вечером, говорю, придёшь. Нет, говорит, не приду.

И не пришла.

Деньги должны быть чистыми

Поэт Амо Сагиян рассказывал, как купцы приходили к зангезурским кузнецам и просили обменять тридцать рублей на те же тридцать рублей. Купеческие деньги меняли на заработанные честным трудом кузнецкие. И только на эти, кузнецкие деньги покупался баран для жертвоприношений.

— Богу будут угодны эти праведные, чистые деньги, — замаливали богобоязненные купцы свои грехи.

Как поступить с найденными деньгами

Я никогда не задумывался над этим вопросом — не было такого случая, чтобы я нашёл деньги.

— А если вдруг найдёшь? — спросил меня Шукри, молодой аджарец, шофёр.

— Да, если вдруг найду, — задумался я, не зная, как ответить на вопрос. И тогда Шукри, словно он не шофёр, а мусульманский проповедник, сказал:

— Чужие деньги — грех. Если кто потерял деньги, я не хочу их найти. Пусть найдёт потерявший… Первый мулла, испытывая второго, спросил у него: «Что ты сделаешь, если найдёшь деньги?» Второй мулла ответил: «Отнесу их в мечеть». Первый мулла был недоволен: «Ты поступишь неправильно, пока ты будешь идти, может, ты умрёшь и великий грех возьмёшь на свою душу. Деньги надо оставить там, где они были. И если каждый будет так поступать, то всякий потерявший деньги вернётся и найдёт их».

Мне очень понравилась притча, рассказанная Шукри. Но многие, увы, ещё не знают, как следует поступать с найденными деньгами. Очень может быть, что, потеряв кошелёк, вы его не найдёте. Однако вы сами, слава богу, уже знаете, как следует поступать с чужим кошельком.

Милость на гнев

Он переводчик, человек, можно сказать, известный. Странная у него манера благодарить людей за добро, которое они ему сделали.

— Знаешь, — говорит он, — я хочу пригласить тебя с твоей женой в ресторан. Но сейчас у меня болеет жена. Как жена выздоровеет — ресторан за мной. Посидим, познакомимся семьями.

Проходят дни, месяцы, он всем говорит, что хочет пригласить вас и вашу жену в ресторан и дать в вашу честь хороший обед, говорит и присматривается к вам, изучает, ищет в вас какие-то недостатки и постепенно меняет о вас своё мнение:

— Вы знаете, как я к нему относился, в ресторан хотел пригласить, и не только его, но и жену, а он, оказывается, не тот человек. Я разочаровался в нём. Очень разочаровался. Сегодня встретил — не поздоровался.

В его душе возникают сразу два чувства: благодарности человеку за доброе дело и пока ещё подспудная вражда. Вражда с каждым днём крепнет в нём, он подкармливает это своё чувство сплетнями, низостью, ложью.

Всех, кого когда-либо он хотел пригласить в ресторан, в конце концов он возненавидел. И делал это так искусно, будто сам, человек столь высоких правил, пострадал.

— Я потерял друга, понимаешь, друга потерял, — то и дело жалуется он.

Недавно я имел неосторожность хорошо написать об одном его переводе. Он позвонил мне и сказал, что хочет пригласить меня с женой в ресторан.

Лучшая в мире песня

Мы с Левоном земляки, оба родились и выросли в Грузии.

Пришёл я однажды навестить больного Левона.

— Я тут немного прихворнул, вроде бы собрался на тот свет, и знаешь, я как бы прозрел, — сказал Левон. — Только теперь я понял, что значит грузинская песня «Цоцхали вар, цоцхали…» — «Живой я, живой…». Это — лучшая в мире песня. Самая мудрая песня. Что бы ни случилось, что бы мы ни делали, мы должны кричать об этом. «Цоцхали вар, цоцхали…» Остальное — пустяки. Мелочи жизни.

«Портрет того животного…»

Уильям Сароян гостил в Ереване. Его номер в гостинице «Армения» был завален книгами с пространными дарственными надписями. Книги в большинстве своём на армянском языке. Сароян же по-армянски не читает. Он рассматривает книги и удивляется фотографиям авторов. Фотографии во весь лист напечатаны на особой меловой бумаге. Даже в небольших книжках-брошюрах — огромные фотографии.

— Левон, кто печатает эти фотографии? — спрашивает Сароян.

В это самое время приходит к Сарояну сотрудник сатирического журнала «Возни» («Ёжик»). Он тоже надписывает Сарояну свою книгу со своей внушительной фотографией.

— Это, значит, ты, — рассматривает Сароян фотокарточку. — А ты не принёс мэгэзин, журнал, в котором ты работаешь? Я хочу видеть портрет того животного, именем которого назван наш мэгэзин.

Представитель сатирического журнала говорит, что у него с собой нет ни одного номера, но он просит Сарояна дать интервью для журнала.

— Хорошо, — отвечает Сароян. — Только ты напиши, что я очень люблю это животное… А теперь задавай вопросы.

— У меня, — говорит журналист-сатирик, — нет вопросов. Я хочу, чтобы интервью было необычным и смешным. Интервью без вопросов. Понимаете? Такого ещё не было.

— У тебя нет вопросов, — встаёт Сароян, — у меня нет ответов.

Незадачливый журналист-сатирик был огорчён. Он был уверен, что его не поняли, не оценили.

Самый лучший день нашей жизни

Был месяц, когда чуть ли не ежедневно встречался я с американским писателем Уильямом Сарояном. В хороший, удавшийся день Сароян счастливо улыбался:

— Может оказаться, что сегодняшний день был лучшим днём нашей жизни.

Сароян словно бы искал лучший свой день, хотел запомнить его. Когда мы встретились спустя два года и вместе с друзьями провели у подножия Арарата весёлый солнечный день, Сароян произнёс знакомую фразу:

— Может оказаться, что сегодняшний день был лучшим днём нашей жизни.

Сароян — человек и писатель, известный своим неиссякаемым жизнелюбием. Поэтому стоит ему назвать один из дней лучшим, как вдруг ему кажется, что другой, вот этот, сегодняшний день был бесподобным, самым, самым лучшим.

И так всегда — каждый новый день, дарованный нам судьбой, тем и хорош, что может оказаться не последним, а лучшим днём нашей жизни.

Согласный человек

Знаменитый актёр Борис Петрович Чирков подарил однажды мне свою книгу. Его удивила моя фамилия — одна гласная на шесть согласных, и он решил надписать книгу на армянский лад: «Л. Мкртчяну от новообращённого армянина Брса Птра Чрква».

Если бы Чирков опустил согласные, у него ничего бы не вышло: Оиа Еоиа Иоа. Согласные — опора слова, и придают они мне, носителю такой согласной фамилии, некий согласный смысл.

Горная фамилия

В Финляндии, на одном симпозиуме (финны говорят на мягком, певучем языке), никак не могли произнести мою фамилию. «Как сказал с трудной фамилией», — говорили финны. Обилие согласных в армянском я объяснил финнам тем, что Армения страна горная, каменистая и что согласные — это наши камни, наши горы. Гостеприимные финны не стали возражать, но всё-таки заметили:

— Очень уж горная у вас фамилия!

Почему я пишу Я

С фамилией, что и говорить, мне повезло: можно прославиться из-за одной только фамилии, усиленной в моём случае ещё и отчеством: отца звали Мкртыч, а я, значит, Мкртычевич.

Очень я дорожу буквой *Я*, единственной гласной в моей безгласной фамилии. Иным кажется, что, согласно русской орфографии, *я* после шипящего *ч* надо заменить на *а*. Но вот в «Современной русской орфографии» А. И. Кайдаловой и И. К. Калининой (М., 1983) специально оговорено, что после шипящих буквы *я, ю, ы, э* пишутся, в частности «в иноязычных именах собственных: Жюль Верн, Чюн, Сен Жюст, Щютц, Шэн Ли, И. Авижюс, Чюрлёнис, Ю. Марцинкявичюс, Левон Мкртчян и др.».

Так вот и получается, что я пишу *я*, и вся ответственность ложится на меня, так как, благодаря всё тому же *я*, оказался я в компании таких знаменитых людей.

Не стану скрывать, это меня радует, это льстит мне и моему я. Но и тревожит — ответственность-то какая!

Содержание

Я написал эту книгу… *(Вместо вступления)* 3

1. Аттестат зрелости

Как я хотел стать человеком 5
В сапожной мастерской 11
Дядя Яша 17
О Генрихе Гейне, Александре Дейче и о себе 19
Аттестат зрелости 25
Напечатанная фамилия 38
Горе от ума 42
Птица тоски 47

2. Люди, которым я многим обязан

Поэзия и дружба 52
Каким я знал Арутюна Галенца 62
Илья Эренбург. Две встречи 75
Уроки Чуковского 85
Ему всегда радовались, с ним искали встреч… 101
Поэт Армении 109
Один день с Цирилом Космачем 138
Удивительный друг 142
Краски — это жизнь 149
Однажды в мастерской Минаса 154
Уильям Сароян вблизи 156
«…И, как песня, молодой» 187

3. Все мы дети одной семьи

Апрель, май… 203
Пригоршня живой воды 218
В стране шестидесяти тысяч озёр 248
Глоток Ниагары 256
Ветка кизила 268
«Во-первых, любить друг друга…» 275

4. Этот удивительный человек

(Из записной книжки) 288

Левон Мкртычевич Мкртчян

БАШМАЧНИК РОСТОМ,
УИЛЬЯМ САРОЯН
И ДРУГИЕ

М., «Советский писатель», 1985, 320 стр.
План выпуска 1985 г. № 261

Редактор *М. Э. Кузанян*
Худож. редактор *А. В. Ерёмин*
Техн. редактор *Е. П. Румянцева*
Корректор *А. В. Полякова*

ИБ № 4973

Сдано в набор 16.11.84. Подписано в печать 26.04.85. А 06445. Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,16. Тираж 30 000 экз. Заказ № 181. Цена 1 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. 340015, Донецк, ул. газеты Социалистический Донбасс, 4.

Сканирование, OCR — Айвазьян Владимир